

Р2  
Классификация 55

О. Глушкин  
РЪЕР

Б

Б

РЪЕР







О.Глушкин

БАРЬЕР

84Р7—4  
Г 55

Художник **В. 3. Клюквин**

Глушкин О. Б.  
Г 55 Барьер: [Рассказы. Повести]. — Калинин-  
град: Кн. изд-во, 1989. — 384 с.

Г 4702010200—021  
Н1144(03)89

84Р7—4

ТБВХ 5-85500—060-5

© Калининградское книжное  
издательство, 1989

## КАНТОВАТЕЛЬ

Завод, куда после окончания института распределили Андрея Стахова, располагался в небольшом прибалтийском городке. Впрочем, заводом его можно было назвать чисто условно: слишком мала территория, стесненная с одной стороны широкой илистой рекой, а с другой — старинным кирпичным зданием элеватора. Строили здесь малые рыболовные боты и ежемесячно спускали по одному такому боту с наклонного стапеля.

Перспектив для роста явно не было, поэтому Андрей считал себя на заводе человеком временным: пройдут обязательные для молодого специалиста три года — и до свидания! Хотя, в принципе, все было вполне пристойно: ему дали крохотную комнату в общежитии, назначили сразу начальником корпусного цеха. Правда, в цехе том — всего две бригады, да и в тех не хватает сварщиков...

Город и общежитие жили своей, непонятной Андрею жизнью: вокруг спорили, отмечали праздники или просто веселились, шумно болели за местную футбольную команду, справляли свадьбы. Он же старался ни с кем не сходиться и, оставшись в одиночестве, вечерами подолгу читал, лежа на потертом диване, который подарил ему старший мастер цеха, общительный и разворотливый Гусенков. Мас-

тер этот до приезда Стахова командовал цехом, да и сейчас фактически оставался в нем главным человеком, четко знавшим, когда и на какую сумму надо закрыть наряды, как выполнить план, где достать ацетилен и электроды. От всего этого Андрей был еще весьма далек.

В институте он аккуратно вел конспекты лекций — в них было, казалось, все, что нужно судостроителю: и как сделать теоретический чертеж судна, и как рассчитать качку при любом волнении, и диаграммы остойчивости, наглядно показывавшие, от чего опрокидывается корабль. Не было там только описания тех ситуаций, с которыми сразу пришлось столкнуться на заводе. Как управляться с людьми, как их убедить остаться на сверхурочные работы, как подобрать к каждому свой ключ — об этом даже, видимо, не задумывались седовласые сведущие в своей области науки люди, чьи слова он, Стахов, старался не пропускать и запоминать.

Андрея мучили угрызения совести, сомнения в дни оформления премий, нарядов, заказов и отчетов — все эти бесконечные денежные дела, от которых зависел заработок его рабочих. А Гусенков при этом постоянно просил: «Вы пока не мешайте, не все сразу».

Как-то случайно он услышал разговор своих рабочих:

— Бродит инженер, как муха по стеклу...

Он не разобрал, кто сказал эти обидные слова.

И говорящему откликнулся голос бригадира, глухой и хриплый:

— Разве у нас с высшим образованием кто держался больше года! Побродит, побродит, да и слиняет.

И тот, другой голос, поддакнул:

— А не так, так этак. Все одно — Гусенков и

главный от него наверняка избавятся. У нас завод — семейный.

От этих слов стало как-то нехорошо, смутно на душе. Неужели так ошибся?.. Ведь он, Стахов, считал бригадира человеком основательным: руки цепкие, все сам может — и сварку сделать, и на станке деталь проточить, и такелажник отменный. И сейчас, надо полагать, не со зла сказал: не первый он, Стахов, после вуза здесь оказался, не первый и улетит отсюда в большой город. Конечно, там лаборатории, конструкторские бюро — устроиться не проблема, да и жизнь другая, не затхлая. А здесь, действительно, семейный завод: Гусенков, говорят, двоюродный брат главного инженера, жена у главного — в плановом отделе. Яркая женщина, ничего не скажешь. Андрей сразу ее приметил. Да и директор с главным тоже каким-то дальним родством связаны.

И поделиться своими сомнениями, поговорить — не с кем! Просил же на распределении послать на работу вместе с другом, и вроде все утряслось, так нет, встал на своем председатель комиссии: вместе только в район Игарки, и они как-то растерялись, не стали настаивать. Уж лучше бы в Игарку, чем сюда одному...

Завод здесь назывался судостроительным, но строили отнюдь не океанские суда и лайнеры, а совсем маломерный флот — боты. Стыковали эти боты из секций, подтаскивали эти секции к стапелю вручную. Бригадир, звали его Василий Иванович, собирав своих сварщиков, прилаживался плечом, кричал зычно: «Ух-а!» Наваливались дружно — и страгивали. Иногда и один сварщик секцию кантовал — но это уж не каждому было под силу.

Андрей, видя, как мучаются сварщики на тяжелых секциях, придумал специальное устройство,



чтобы не перевертывать секции вручную, а при сварке вращать в кантователе.

Потом уже, почувствовав одобрение Гусенкова и видя перемену отношения к нему, Стахову, остальных рабочих, он собрал нехитрое устройство для подачи проволоки в сварочный автомат. Работал взахлеб, радостно. Думалось: «Ведь могу и я что-то! Не просто слоняюсь здесь. Подождите — увидите!»

Гусенков уговорил оформить все эти нововведения как рационализаторские предложения, и главный инженер Семен Петрович Завадин, который, как выяснилось, окончил тот же институт, что и Андрей, тоже одобрил, сказал даже: рад, мол, что в вас не ошибся. Мало этого, согласился стать соавтором. И через две недели Андрей Стахов неожиданно получил солидное, на его взгляд, вознаграждение — больше пятидесяти рублей.

— Ну, Андрей, надо отметить это событие! — предложил Семен Петрович.

Он был само обаяние: рослый, светловолосый, с узкой бородкой клинышком, в модном кожаном пиджаке, говорил мягко, не повышая тона, и все его движения были уверенны и неторопливы.

Стахов охотно принял его предложение и в один из осенних вечеров, когда так тоскливо оставаться одному, очутился в просторном коттедже главного инженера. Уют, царивший здесь, буквально ошеломил его. Да ко всему еще жена Семена Петровича — очень миловидная женщина, с высокой грудью и томными глазами, любезно ухаживала за гостем и не прерывала плавной речи мужа.

Потрескивали березовые чурки в камине, тихая ненавязчивая музыка лилась из динамиков стереомагнитофона, мягко светились настенные бра, стены украшали ковры с изящным орнаментом, и ветер,

гнувший деревья за окном, лишь подчеркивал защищенность этого уютного семейного очага от любой непогоды.

— Вот так, дорогой мой однокашник,— говорил Семен Петрович,— вижу, вы — человек не без технической сноровки, остальному жизнь научит, да и я не оставлю вас... Заведите себе жену, дадим квартиру, а захотите — на берегу реки, в любом месте, постройте свой дом. Дадим ссуду. Сами сделаете проект! У нас может состояться прекрасная компания — я ведь тоже скучаю по достойному обществу. Летом еще ничего — у меня своя яхта, здесь прекрасная рыбалка, чудный грибной лес, а вот в такие вечера—одна забава: цветной телевизор да книги.

И когда после кофе Семен Петрович провел гостя в кабинет, Андрей увидел наяву вдруг такое обилие редчайших книг, что просто окаменел у полок. Сам он тоже уже начал собирать библиотеку и гордился ею, но по сравнению с этими полками все его книжное богатство выглядело просто убожеством... Такое могло только присниться!..

— Не удивляйтесь,— заметив его восторженный взгляд, улыбнулся Семен Петрович,— я собираю книги уже много лет. Кстати, могу познакомить с директором местного книжного магазина, а пока — моя библиотека в вашем распоряжении, хотя я и не имею привычки давать книги. Но для вас попытаюсь сделать исключение.

Жена Семена Петровича тоже ласково смотрела на гостя и, когда Андрей вышел на кухню покурить, почему-то подошла совсем близко, вытирая тарелку. От нее, казалось, исходило такое тепло, даже жар, что Андрей вдруг глупо покраснел, а она, улыбнувшись, сказала:

— Вы приходите к нам почаще, пожалуйста. Так не хватает здесь интеллигентных людей!..

Теперь ему по вечерам как-то остро не хотелось возвращаться в тесную прокуренную комнату общежития. В конце октября утихли ветры, дующие с залива, и на недолгое время перед зимними непогодами все успокоилось в природе.

Плотный туман окутал городок, и вечерами, когда Андрей уходил из общежития куда-нибудь побродить, пройтись перед сном, ему казалось, что он сам исчезает, растворяется в этом тумане. Городок, и до этого тихий, впал в первозданное безмолвие. Будто вымерло все окрест, лишь слышались изредка птичьи крики да сигналы наутофона. Настойчивые гудки, предупреждающие суда, идущие по фарватеру, о близости береговых отмелей, то затухали, то вновь нарастали. Над белой пеленой смутно проступали островерхие крыши домов, и они, и верхушки деревьев, внизу скрытых туманом, будто повисали в небе и вот-вот были готовы стронуться и поплыть, навсегда покинув тихий городок. Ни ветерка. Шаги глухо отдавались в напряженном воздухе. Одежда пропитывалась сыростью и становилась тяжелой.

В одну из таких прогулок Андрей остановился и вдруг понял, что потерял всякие ориентиры. Ничего, кроме клочка земли вокруг его ног, все остальное — белая мгла! Проблуждав несколько часов, наконец по какому-то наитию он вышел к набережной. Глухо плескалась о берег невидимая вода. Едва различимо светились бакены вдоль фарватера. Лучи маяка, обычно стригущие небо широкими полосами, едва пробивались во мгле. Что было бы, если б этот туман остался всегда и повсюду, как воздух? Что тогда? Как все-таки легко человек может запутаться, заблудиться! Вот муравей и тот совершеннее: у него четкие ориентиры, инстинкт... А здесь стоит только остановиться, растеряться... и все...

И он опять, в который раз, остро ощутил, что

надо менять жизнь, надо уезжать отсюда... Куда? Он пока четко не представлял. Но вот так жить в тиши, в безнадежном спокойствии, просто ожидая перемен и ничем не приближая их — какое он имеет право?

Вспомнился опять институт, друзья, споры по ночам и дипломная работа — им самим рассчитанный проект корабля. Ведь верил же в себя! А мог как большинство сокурсников взять старый диплом, что-нибудь в нем изменить, а то и один к одному перечертить — и такое проходило! Он же семь месяцев не отрывался тогда от чертежной доски... Неужели только на бумаге и можно создавать что-то истинно свое? Если остаться здесь — то кому они нужны, его инженерные способности, его знания? Впрочем, вот Завадин — умнейший мужик и инженер опытный, нашел же себя. И жить умеет, и работать — с ходу в любой чертеж вникает, да и организовать все может. Выход из любого положения находит! И жена у него — такую поискать. Вот ведь удастся человеку — и на работе, и дома все отлично крутится!.. А не завидую ли ему? Разве дело в уюте, в обстановке... просто он умеет жить полной жизнью, жить, а не мучиться мыслями о том, как жить...

Андрей стал частым гостем в уютном коттедже Завадина. Он приходил сюда обычно по пятницам, говорил подолгу, смотрел телевизор, листал журналы, книги.

Семен Петрович охотно беседовал с ним на различные темы, но когда заходила речь о заводских делах, отшучивался:

— Стоп. Нынче, брат, потехи час, и на работе достаточно тратим нервы, слишком много времени у нас там на дискуссии уходит.

— Но ведь нельзя же так, кустарщина кругом! Станки допотопные! — не успокаивался Андрей.

— Это все эмоции,— охлаждал его пыл Завадин.— Никто лимитов нам не выделит, не жди.

— Ну хорошо, лимиты от нас не зависят, а то, что происходит у меня в цехе, например, со снабжением?

— Ну, здесь, батенька, вы — хозяин, здесь вам и карты в руки. Дерзайте...

Однажды Андрей, всерьез озабоченный хитрыми ходами Гусенкова, уж слишком активно закрывавшего наряды вперед, в кабинете у Завадина не выдержал, стал говорить резко. Семен Петрович, улыбнувшись, остановил его:

— Вы преувеличиваете, он старается для рабочих. Вообще, у него широкая, добрая душа! Помните, как он заботился о вас — мебель вам раздобыл, да и сейчас, знаете, он при вас вроде Савельича из «Капитанской дочки». У него, надо сказать, врожденная доброта!

— Не за счет ли государства она? — попытался возразить Андрей, но вдруг почувствовал неуверенность: а прав ли он?

Вечером, после работы, сомнения не покидали Андрея. Он клял себя за то, что не может поставить на место Гусенкова, что совсем неубедительно говорил о нем с Завадиным...

Однажды зашел разговор о придуманном Андреем кантователе, и Семен Петрович попросил сделать чертежи на это устройство.

Андрей раздобыл кульман, притащил его в общежитие и вечерами не без удовольствия изобразил свое детище на бумаге. Правда, мысль, что он делает это совершенно напрасно, иногда возникала у него: кантователь давно работает, к чему теперь все это? Но Семен Петрович просил — значит, так, наверно, надо, да и стоит повозиться с расчетами, почертить, а то ведь здесь все, чему учили, забудешь...

Андрей довольно-таки быстро сделал чертежи, отдал Семену Петровичу и забыл про них: шел конец квартала и приходилось денно и ночью торчать в цехе. Дули жесткие холодные ветры, дождь попережку со снегом шквально обрушивался на городок, и с работы Андрей возвращался промокший и до предела уставший.

План цеха висел на волоске, никакие уловки Гусенкова не помогали. К тому же эта непогода. Сборщикам приходилось работать под открытым небом, ветер и дождь пронизывали насквозь. Секции ржавели, сварщики тыкали в металл промокшими электродами и крыли на чем свет стоит заводское начальство. Гусенков их успокаивал, уверял, что все идет нормально и заработок в этом месяце он всем сделает максимальный.

— Лучше бы навес достроили! — кричал бригадир Василий Иванович и, обращаясь к Стахову, требовал: — Пора уже перетряхнуть здесь кое-кого!

Потом в конторке, когда они остались одни, Андрей спросил, кого имел в виду Василий Иванович.

— А это я так ляпнул,— отмахнулся бригадир.— Не лезьте вы никуда, рот раскроете — сотрут. Материалы-то для навеса давно в дачу Гусенков превратил!

— Если это так,— почти выкрикнул Андрей,— почему же молчите до сих пор, почему не вскрыли все это?

— А вы попробуйте, вам сподручнее,— кинул бригадир и пошел своим размашистым шагом к стапелям.

— Пойдите, куда же вы? — Стахов выбежал из конторки.

Но Василий Иванович явно не хотел продолжать разговор — сразу же у стапеля накинудся на молодого сборщика, неправильно закреплявшего строп, и



что-то стал громко объяснять тому. Шел промозглый холодный дождь, небо, казалось, опустилось на самые крыши цехов, и было так сумрачно, как будто и не день стоял, а поздний осенний вечер.

...После Нового года стало поспокойнее: план выполнили, напряжение спало. К тому же Гусенков слово свое сдержал: даже ученики получили около двухсот рублей. И Андрею выписали большую премию. Он сразу же отослал часть денег в Куйбышев матери — она жила там у сестры, была совсем слаба — почти не вставала. Теперь появились даже такие планы: дождаться здесь квартиры, взять мать к себе — пусть дышит свежим воздухом, отдохнет от суеты; у сестры своя семья — мал мала меньше, какой там покой?

Омрачали эти думы только становившиеся все более натянутыми отношения с Гусенковым. Вдобавок ко всему однажды в разговоре Гусенков сказал: «Значит, считаете, что за счет государства я доброту проявляю?» И Андрей понял, что Завадин передал его слова. От этого стало не по себе. «Ну и поделом,— подумал он,— не будешь говорить то, в чем и сам еще не разобрался».

Разговор этот произошел утром в коптерке, где Андрей подписывал заявки на прокат, а вечером того же дня Гусенков принес еще несколько накладных — на бакелит и пластик. Стахов сразу подумал: а зачем они? Вспомнился разговор о даче Гусенкова: кто-то из рабочих рассказывал, что это чуть ли не дворец и что рядом с ней бассейн, выложенный голубыми плитками... Стахов подписывать накладные категорически отказался.

— Ах, мы такие принципиальные! — зло сказал Гусенков. — А припомните, как в конце года я вам, принципиальным, полособульб привез. Его что, мне за красивые глазки дали? И вы не знаете разве, что

не только у нас на складе, но и в снабе такого добра давно нету? Когда премию получаете, вы тоже об этом не задумываетесь: пусть Гусенков рискует, а я, мол, чистеньким буду, так?

И опять Гусенков был по-своему прав: действительно, попробуй достань хоть что-нибудь необходимое на заводском складе — по всему городу приходится рыскать! Если уж быть принципиальным до конца, то надо было его тогда с этим полособульбом назад отправить: мол, откуда взял, где накладные? А кто бы это понял? Отказался от металла, когда бригада стоит, когда не только премию, зарплату люди могут не получить!

— Ладно, давайте накладные,— сказал Андрей, не поднимая глаз.

...Теперь Андрей редко забредал к Завадиным. Его все больше стесняла некоторая двойственность в их отношениях: с одной стороны, полнейшая благорасположенность на словах, а с другой — конечно же, поддержка всех действий Гусенкова, это уже на деле. К тому же еще жена главного инженера — Анна...

Он старался отогнать мысли, рожденные ее улыбками, мимолетными прикосновениями, ее мягким голосом, и бывали дни, когда давал себе слово не переступать порога этого уютного чужого дома. Зачем все это? Конечно же, Анне он совершенно ни к чему, да и сам себе он не может ничего позволить по отношению к ней. И все эти визиты только все больше и больше запутывают его. Не в домашней обстановке надо, а на работе, в кабинете у Завадина, поговорить с ним откровенно, поставить все точки над «і... Но стоило главному или Анне позвать в свой дом или даже намекнуть о желательности его прихода, как он шел вопреки своим благим намерениям.

Так и в этот раз: Семен Петрович пообещал показать новые книги, которые ему прислали друзья из Москвы, и Андрей сразу после работы присоединился к нему. По дороге они шутили, смеялись, и можно было со стороны подумать, что это идут не начальник с подчиненным, а два закадычных приятеля. И дома, за столом, когда Анна подала изготовленную ею кулебяку, продолжался тот же легкий, перескакивающий с одного на другое разговор, просто треп, в котором, как и договорились, — о работе ни слова.

Но на этот раз уговор нарушил Семен Петрович. У него в кабинете, когда рассматривали роскошный альбом репродукций художников голландской школы, он вдруг предложил:

— А не съездить ли тебе, Андрюша, в главк? Пока у нас здесь все спокойно и план не поджигает. Начало года, в городе сейчас благодать!

— Хорошо было бы, — сразу согласился Андрей, представив себя теперь уже, как казалось ему, солидного, с деньгами — в большом городе, все-таки областной центр, не что-нибудь...

— Дело там несложное, но тонкое, — продолжал Семен Петрович. — Собираются к нам послать что-то вроде ревизии. Понимаешь, Гусенков несколько опрометчиво договаривался насчет материалов со всеми встречными и поперечными, в обход, децентрализованно, так сказать. Старался, естественно, не для себя — для завода, а теперь чуть ли не дело собираются против него выстроить...

— Вряд ли я смогу что-либо доказать, — замялся Стахов, — я сам не уверен, прав ли Гусенков. Левачество какое-то, я давно хотел с вами поговорить об этом...

— Видите ли, Андрей Михайлович, — Завадин впервые назвал его так официально, — на многих

накладных есть и ваша подпись, и моя забота, поверьте, не только о Гусенкове — он мне не кум, не сват. Конечно, за ним есть грешок, не без этого... Но я о вас в первую очередь пекусь. Вы мне, как личность, крайне импонируете.

Андрей собрался было ответить, но только раскрыл рот, вошла Анна, капризно повела плечом и произнесла:

— Опять секреты производства! Мальчики, это никуда не годится, кофе стынет...

Завадин тотчас поднялся, плавным жестом руки пригласил к столу и широко улыбнулся.

Андрею стало как-то не по себе от этой улыбки. Как же, уверен теперь, что ему, Стахову, деваться некуда, привык, что все разыгрывается по его нотам...

— Извините, но я пойду,— твердо сказал Андрей,— и так уже засиделся.

В большом городе, очутившись среди широких улиц, реклам, шума, постоянного движения, Андрей особенно остро почувствовал неопределенность своего положения. Ему опять захотелось, чтобы быстрее прошли положенные три года, чтобы смог он раз и навсегда покинуть этот семейный, как он мысленно называл его теперь, завод. На новом месте можно будет все начать иначе, да и какой простор в любом конструкторском бюро для инженера: делать проект, в котором зарождается весь корабль, это не наряды закрывать! И другая обстановка вокруг, общение на равных, театры, споры, настоящие друзья... Правда, в этот приезд ему не захотелось идти ни к кому из своих сокурсников — немного не то настроение, да и как рассказать обо всем, что происходит на заводе, если сам ни в чем не разобрался да к тому же выступаешь в качестве ходатая

за человека, в котором сомневаешься. А на поверку — приехал выгораживать и себя. Это было самым противным, самым противоестественным. Проще всего было бы прийти в главк, изложить все как есть, и если виноват — пусть наказывают. Но с другой стороны: попробуй, поработай, если действительно то того нет, то другого — и кто виноват в этом? Аза тобой люди, их семьи, заработок. Предположим, не было бы Гусенкова, тогда пришлось бы самому искать пути, как выкрутиться, как достать нужные электроды, ацетилен, полособульбы. Детальки небольшой не будет — и то работа остановится. И если Завадин прав и Гусенков старался для завода, всем рисковал — то надо отстаивать человека...

Именно так настроив себя, Стахов переступил порог главка. В просторном здании по широким лестницам передвигалось множество людей: одни бежали, зажав папки под мышкой, другие шли осторожно, стараясь уступить дорогу, третьи вышагивали неспешно — с независимым начальственным видом.

Стахову в канцелярии указали кабинет, где его ждал проверяющий — инженер из министерства. Это был пожилой человек в очках, с седыми лохматыми бровями. Инженер этот хоть и держался с ним официально, без панибратства, но видно было, что настроен он вполне нормально и просто старается во всем разобраться.

Когда Стахов стал рассказывать, как трудно бывает, как тяжело смотреть, если бригады простаивают, как готов тогда к кому хочешь обратиться, чтобы достать нужные материалы, министерский инженер поднялся из-за стола, полистал пухлую папку, отложил ее и задал всего один вопрос:

— Вы уверены, что все эти материалы пошли на постройку ботов?

Вопрос был нацелен в самую болевую точку, именно здесь полной уверенности у Стахова не было, но он, отбросив сомнения, произнес:

— Да, уверен.

Представитель министерства окинул его изучающим взглядом, потом закрыл папку и сказал:

— Ну что ж, может быть, вы и искренне заблуждаетесь, я тоже так думал, хотя были, правда, и сомнения... Я ведь тоже начинал с завода, еще до войны, потом — опять завод, знаю я все ваши проблемы изнутри... Всякое бывало... Но теперь, теперь-то, к сожалению, зачастую другое получается. Иные, знаете, за счет казны норовят свое благополучие устроить... А вам смотреть надо, вы молодой специалист, вы только начинаете...

Стахов спускался по лестнице и пытался привести в порядок свои мысли. После разговора у него не появилось чувства облегчения, хотя он, вроде, и выполнил указание Завадина—отвел грозу от Гусенкова, да и сам вышел незапятнанным,— в его-то честности представитель министерства не усомнился...

Надо было отметить командировку, и он зашел в хозяйственный отдел. Оттуда его послали в канцелярию, где пришлось ждать секретаршу, а ему очень хотелось поскорее покинуть это здание и почувствовать себя совершенно свободным человеком на целых два дня — на сегодня и завтра...

Он стоял у пустого стола: трезвонили телефоны, в приемную вбегали люди, открывалась и закрывалась массивная дверь — вокруг шла непонятная ему управленческая жизнь... В коридоре, напротив приемной, можно было разглядеть несколько стендов с какими-то чертежами. Один из них показался Андрею очень знакомым — он пригляделся внимательно, не веря еще своим глазам, подошел вплотную



к стенду и остановился как вкопанный. Это был его чертеж, его детище, которое он с таким тщанием делал по вечерам, а подпись под ним была четкая, ясная: «Кантователь Завадина». Андрея эта подпись не просто удивила, неприятно кольнула. Хотя... Ведь сам же предложил Семену Петровичу быть соавтором, значит, все нормально — просто для краткости написали: Завадина. И тут он увидел — под этой надписью—прикрепленную кнопками фотокопию авторского свидетельства, и выдано оно было именно изобретателю Завадину, только одному Завадину. Еще там было написано, что экономия от внедрения — десять тысяч рублей, огромная единица и за ней нули поменьше.

Теперь он понял, зачем главному потребовались чертежи и что все это не ошибка, не случайность, а итог продуманного плана. Вот каким путем, оказывается, все делается!

И по логике выходит: если решился Завадин здесь получить сполна, то вполне мог и в других делах не постесняться...

— Молодой человек,— позвала секретарша. Он и не заметил, как она появилась.— Возьмите вашу командировку.

Он машинально поблагодарил и пошел по бесконечному темному коридору. Шел медленно, и захотелось пока не поздно вернуться в кабинет к представителю министерства, рассказать все, что накопилось на душе за этот год. Но ведь получится тогда так: пока не задевало тебя лично, ты молчал, а тронули — недополучил за свой кантователь,— сразу виновные появились... Кто? Почему? Сам окажешься человеком подозрительным, которому доверять нельзя, — ведь подписывал заявки, подписывал накладные... Надо вернуться на завод и там во всем досконально разобраться, там выступить открыто!..

Стахов успел только на вечерний автобус. Иного транспорта до их городка не было. Дорога петляла вдоль кромки залива. За соснами просматривалось бескрайнее ледяное поле, вокруг намело сугробы, и казалось, всё затаилось, затихло в этом белом окружении. Но тишина обманчива в природе, да и в человеке. Андрей понимал, что жизнь его вступила в новый виток, за которым останется мягкий, податливый человек — в детстве Андрюша, а здесь на заводе что-то вроде начальника, а если точнее, прост подопечный «доброего» Гусенкова...

Завтра все должно свершиться. Ему представилось холеное лицо Семена Петровича, его испуганные глаза и то, как начнет Завадин изворачиваться. Только не попасться на его улыбочки. Только бы честно и прямо выяснить все до конца, чтобы не быть противным самому себе! А если найдется какой-нибудь еще его, Андрея, промах, какая-нибудь подпись не там, где нужно? Ведь, наверное, все предусмотрено у Завадина, пожалуй, кроме стенда в главке: и эту командировку ловко устроил, и вроде теперь выходит — сообщники! Что ж, пусть будет, что будет...

У входа в общежитие Андрей долго стряхивал снег, налипший на пальто и ботинки, потом заглянул к вахтерше. Та сразу встала ему навстречу:

— Андрей Михайлович, счастье-то у нас какое, вам квартиру выделили!

Он вздрогнул и удивленно посмотрел на светящееся лицо вахтерши.

— Дайте ключ от моей комнаты, тетя Люба...

— Какой ключ,— запричитала она,— уж и вещи туда, в новый дом, перенесли. Здесь недалеко, я покажу...

«Не ходить, ни за что не ходить»,— появилась первая мысль... Но как же сейчас, ночью, объяснить.

тете Любе свое решение? Нелепо, да и место его в общежитии наверняка уже занято... Ладно, утро вечера мудренее... Завадин, наверно, думает, что этой квартирой снимаются все вопросы, что теперь он окончательно заставит замолчать его, Стахова. Завадин мерит всех на свой аршин, но это мы еще посмотрим...

Вслед за вахтершей Андрей пошел по тропинке, вытопанной в глубоком снегу. Тетя Люба сама открыла ему дверь — и перед ним предстала просторная комната, пустая и теплая, рядом — уютная кухня. «Прекрасный, наверно, здесь вид на залив из окна!» — подумал он.

Пахло свежей краской, и уже стоял одиноко в углу диван, подаренный когда-то Гусенковым. Андрей сел на диван, огляделся, мысленно поставил у стенки стеллажи с книгами, в нише — магнитофон. Все как у людей! А за ширмой — кровать для матери. Свой дом, наконец-то! Свой угол, свое место на земле!.. И все это принадлежит ему лишь на мгновение, дано на одну эту ночь, в которую, он уже понял — заснуть ему не удастся.

## СВЕТ И ТЕНЬ

Я первым из сокурсников узнал о смерти Сергея Карпеко и первым добрался до небольшого городка, где он работал последние несколько лет.

Родственников у Карпеко не было. Он был одинок. Потом его сослуживцы рассказали мне, что в опустевшей квартире Карпеко первое, что они увидели — записную книжку на столе, раскрытую в том месте, где была моя фамилия и мой рабочий телефон. Не знаю, что хотел сказать этим мой друг. Может быть, перед тем как лечь в больницу задумал написать мне письмо, да так и не успел, но вернее всего знал, что его ждет, и надеялся, что меня сразу вызовут...

Когда мне позвонила сотрудница Карпеко, некая Евгения Федоровна, и очень убедительно попросила приехать как можно быстрее, потому что осталось много его живописных работ и неизвестно, что с ними делать, так как родственников никаких отыскать пока не удалось — я сразу же помчался в аэропорт. Было только непонятно — почему позвонила сотрудница, а не наш однокурсник Палецкий, работавший с ним вместе: ведь у Палецкого был мой адрес, и собрать нашу бывшую студенческую группу должен был именно он. К тому же Карпеко и Палецкого объединяла не только инженерная рабо-

та, но и общая страсть — живопись: оба они еще в студенческие годы довольно успешно занимались в изостудии, которой славился наш сугубо технический институт.

И когда я приехал и разыскал Евгению Федоровну, первое, о чем я спросил, было: «Где же Палецкий?» Она смутилась, постаралась перевести разговор на другое, стала предлагать мне передохнуть с дороги, а под конец, не выдержав, заметила, что лучше мне не разыскивать Палецкого. Тогда я пошел звонить по междугородному телефону-автомату в Ленинград и сумел дозвониться до бывшего старосты нашей институтской группы Вали Юхно, которому сообщил печальное известие.

От Ленинграда до городка было два часа езды электричкой. Но первыми приехали не ленинградцы, а Витя Лобанов из Москвы — гордость нашей группы, занимавший теперь довольно высокий пост в министерстве. Положение однако совсем не изменило его: он остался таким же непосредственным и подвижным, и даже рот поблескивал стальными зубами, вставленными еще в студенческие времена.

Витя сразу взял все хлопоты на себя, и я лишь повсюду следовал за ним, предоставляя ему возможность решать все проблемы и с венками, и с поминками, во всем соглашаясь с его разумными и практичными действиями.

А на следующий день прибыли наши ленинградцы во главе с Юхно, прилетела из Ташкента и племянница Карпеко — нашлась все-таки родственница. И это сразу сняло еще один груз: есть наследница, значит, картины Сергея не пропадут, не будут растащены, а соединятся в одних руках. Племянница оказалась совсем молодой и неразговорчивой. Она курила на кухне сигарету за сигаретой и ни на кого не обращала внимания.

Квартира Карпеко была буквально забита людьми — женщинами-соседками, его сослуживцами; все о чем-то хлопотали, входили, выходили, готовили на кухне в больших кастрюлях картошку, носились с сумками, постоянно звонили на работу насчет машин...

Здесь мы встретились с первой красавицей нашего курса Юлькой Смирновой — она только что прибыла вместе с Женей Заком, редактором и хранителем студенческого журнала «Сигма», неизменным оформителем которого был Карпеко.

Юлька, когда-то огонь-девка, отличная волейболистка, теперь предстала перед нами яркой солидной дамой в норковой шубе. Неторопливая и властная, она сразу же принялась командовать. Правда, никто ее почти не слушал — все мы как-то потерялись в общей суете. Помощь наша не требовалась, и мы решили отыскать Палецкого, а потом где-нибудь перекусить.

Все та же Евгения Федоровна подвела нас прямо к дому Палецкого, но подниматься к нему наотрез отказалась.

— Я и вам не советую,— сказала она.— Проснет-ся, очухается — сам придет, а так — не стоит...

На звонки никто не реагировал. Тогда Юлька подошла к двери и резко забарабанила в нее кулаком.

— Семен,— крикнула она,— немедленно открой! Мы все равно никуда не уйдем, пока не откроешь!

За дверью послышался шорох, потом тяжелые шаги и глухой голос Семена:

— Подождите немного...

Наконец дверь приоткрылась, и застоявшийся пивной запах ударил навстречу. Семен, взлохмаченный, с округлившимися мутными глазами предстал перед нами. Что сделало с ним время! Когда-то не-



отразимый красавец превратился в пожилого морщинистого человека, и только волнистая густая шевелюра была прежней — и ни одной сединки!.. Взгляд его остановился на мне, и я тут же очутился в его объятиях.

— Кеша,— сказал он. Раньше он всегда именно так меня называл — не Кирилл, а Кеша.— Господи, милый, только ты меня поймешь!

— Что же ты, Семен, — сказала Юлька.— Как же ты? Ты в стороне от всего, что ли? Легче всего напиться и заснуть, так, что ли?

— Не ругай меня, королева,— сказал он,— не ругай, ты ничего не представляешь... Меня не ругать, меня убить мало!

Мы столпились у двери — в комнату зайти никто не решался. Через раскрытую дверь было видно, как внутри там все разбросано и грязно: на столе стояла батарея пивных бутылок, в углу тоже навалены бутылки, мусор, грязная одежда. Да и сам Семен стоял перед нами в линялой майке и замызганных шароварах.

— Ребята,— сказал он растерянно,— войдите же, давайте пивка поьем — я быстро в магазин сбегая! Что же вы, ребята?!

— Ты не обижайся, Семен, но здесь мы не будем,— сказал Юхно.— Если хочешь, мойся, приводи себя в божеский вид и приходи в ближайшую столовую, мы там посидим...

В столовую Палецкий так и не пришел. Мы расположились за столиком в совершенно пустом зале. Было здесь очень неуютно и прохладно. Единственная официантка долго не подходила к нам. Я сидел молча, углубленный в свои мысли, и не прислушивался к тому, о чем говорили мои друзья.

Не верилось, что никогда уже ни для меня, ни для них не будет Сергея Карпеко. Не хотелось в

это верить... Мне отчетливо вспомнились наши студенческие годы. Как увлеченно и без оглядки жили мы тогда! Сергей заразил и меня своей тягой к искусству, и мы сбегали с лекций даже по сопромату и теромеху, чтобы попасть на выставки... Простаивали ночами за билетами в театр, не пропускали ни одной дискуссии в Доме художника... Я тогда был уверен в таланте Карпеко и Палецкого, полагал, что их ждут признание и слава, и по-хорошему завидовал им. У меня никаких талантов к живописи не обнаруживалось, и я в то же время увлекся сопротивлением пластмасс на изгиб, что было много прозаичнее. Это мое увлечение несколько разъединило нас. Правда, потом, к пятому курсу, и Палецкий, и Карпеко тоже нажали на науки и запросто наверстали упущенное.

Жили мы в те времена более чем скромно. Сергею материально никто не помогал, и я старался незаметно, чтобы не задеть самолюбия, подсунуть ему талоны на обед в студенческой столовой, делился с ним батоном, купленным на ужин. Еда его несколько не заботила — он вообще умел не замечать житейских трудностей. Худущий, с воспаленным румянцем, он мог ночами просиживать за мольбертом, яростно, до хрипоты спорить о картинах известных художников. Здесь он был непреклонен в своих суждениях. Мысли, высказываемые им, не были взяты напрокат, до всего он доходил собственным чутьем, а главное, душой. Иногда находило на него и такое: застрянет после лекции в аудитории и часами пытается решить какое-нибудь немислимо сложное уравнение...

После института наши пути разошлись. Я долгое время ходил в рейсы на рыбацких траулерах. Сергей уехал в Ярославль на завод, потом перевелся в Волгоград... Рассказывали ребята, что он и рабо-

те много сил отдавал, и живопись не оставлял, за собой же не следил. У него открылась язва, он запустил эту болезнь, и пришлось делать сложную операцию. Я часто сожалел, что на распределении не уговорил его попроситься в Прибалтику — возможность такая была, да вот в последипломной суете я как-то не настоял на этом, был занят своими делами... А было бы здорово поехать вместе! Пошли бы в Атлантику — там, на просторе, он бы и как художник смог раскрыться еще полнее, да и режим на судах во всем стабильный...

Юлька, заметив, что я все время молчу, сказала:

— Ты ведь ближе всех к нему, Сереже, был... Я понимаю... Но теперь уже ничем не поможешь, да и можно ли было уберечь его?

Южно подсел ко мне и предложил сказать речь на кладбище. Он так и выразился — речь. От слова этого пахнуло холодом официальности. Я наотрез отказался: все знают мое косноязычье, объяснил я, разволнуюсь, никто меня не поймет... Тогда порешили, что прощальное слово скажет Витя Лобанов.

Конечно, у него это лучше получится. Не найдется у меня сейчас таких слов, чтобы произнести их громко в толпе, слов, достойных памяти Сергея... К тому же пришлось бы говорить не просто от себя лично, а от имени всего нашего курса. Мои же мысли и то, что хотели бы услышать от меня, вряд ли совпадало.

Я это почувствовал, прислушавшись к разговору за столом. Шел спор: надо ли беречь себя или, напротив, следует жить так, как Сергей, — без оглядки. Женя Зак вспомнил великих, говорил о том, что все они рано уходили из жизни и никогда не заботились о себе, и время, отпущенное на земле человеку, нельзя механически измерять количеством прожитых лет ибо бывает — человек существует долго и ничего

после себя не оставляет, как будто и не было его, а гений блеснет, как метеор, а кажется, жил он века. Валя Юхно, напротив, утверждал, что человек является частью природы, что в самих клетках заложены генные часы, которые заведены на определенный период, и разрушать организм, не заботиться о нем — значит варварски ломать эти часы, а следовательно — делать нечто противоестественное, и что те же великие, такие столпы, как Толстой и Гете, доказали, что можно творить до глубокой старости, и не гнушались заботами о своем здоровье. А прожигание жизни — есть не что иное, как самоубийство, и люди не зря хоронили самоубийц за пределами кладбищенских оград...

Слова его были убедительны, и я во многом соглашался с нашим старостой, хотя и знал, что Толстой и Гете не правило, а скорее исключение; применительно же к Сергею — никак не мог представить его соблюдающим различные режимы, отдыхающим на курортах и постоянно пекущемся о своем здоровье — тогда это был бы другой человек, который сейчас сидел бы среди нас, но может быть, он был бы уже не моим другом, а, скажем, Юхно или Вити...

Да, Палецкого мы так и не дождались. Что задержало его, почему он не пришел — можно было только догадываться.

Принесенные нам вторые блюда — котлеты с макаронами — остались почти нетронутыми, чай был безвкусный и холодный.

Время близилось к двум часам пополудни, когда мы двинулись к дому Карпеко. Там уже скапливались люди: мужчины курили, у женщин на глаза набегали слезы. Все молчали.

Сюда, к дому Сергея, гроб решили не везти. Настаивать на чем-либо здесь мы не могли. Были бы

родные, была бы у него семья — тогда бы все шло как и положено. И это нарушение ритуала еще раз подчеркивало, что своего дома, в том смысле, какой вкладывают в это понятие обычно, у Карпеко не было... Так, временное пристанище, а не дом.

Отсюда до больницы было минут десять ходьбы, и вскоре все мы очутились около одноэтажного кирпичного здания, примыкающего к больничному корпусу.

Мы столпились у входа, и никто не решался ступить туда, где стоял гроб. Ведь пока не увидишь мертвым, все еще не веришь, что больше нет дорогого тебе человека. Увидишь — и все, оборвется, словно струна, связь с живым. И это страшно тем еще, что необратимо.

Я наконец первым из своих товарищей решился войти в пристройку. С виду казавшаяся такой небольшой, она вмещала в себя довольно-таки просторный зал, стены которого были увешаны лозунгами, и я понял, что в обычные дни помещение это служит для собраний и совещаний больничных работников. В зале я сразу увидел Евгению Федоровну, племянницу Карпеко, и еще одну молодую женщину небольшого роста с красным шмыгающим носиком и большими глазами, наполненными какой-то удивительной голубизной. Как я узнал позже — это была врач, лечившая нашего друга.

Он же лежал в гробу среди цветов. Почти неизменившийся. Я ожидал, что длительная болезнь наложит отпечаток на его лицо, но нет — это был тот Сергей, которого мы знали. Сережка студенческих лет... Только еще больше заострился его тонкий, с небольшой горбинкой нос, да всегда искрящиеся живые глаза были прикрыты тяжелыми веками. Выражение, застывшее на лице, было свойственно ему и при жизни, особенно в те моменты, когда он удив-

лялся чему-нибудь или сам сообщал что-то интересное: у него вот так же складывались губы, и после того, как он высказывал поразившую его мысль, всегда задорно хохотал...

Люди все подходили и подходили. День выдался ясный, от вчерашней оттепели не осталось и следа. С утра слегка подморозило, и теперь держалась несмотря на солнце небольшая минусовая температура. Появился и Палецкий. Он подошел ко мне гладко выбритый, в модном приталенном пальто, в коричневой шляпе. С ним все здоровались, ему кивали какие-то крупные начальники в шубах, валяжные и неторопливые. Подошел и председатель местного худфонда — морщинистый высокий старик с резной тростью в жилистых руках. Когда Палецкий познакомил нас, председатель этот сказал мне, что сделает все, чтобы открыть выставку картин Карпеко, и что друг мой был по-настоящему талантливым человеком, искренне любящим искусство. И еще добавил, что живопись, идущая от сердца, никогда и нигде не должна исчезать бесследно...

Дело теперь оставалось за малым — получить согласие племянницы Сергея. Но тут сразу возникали вопросы: что она из себя представляет? Захочет ли оставить худфонду картины? После похорон нам всем надо будет уезжать, довести все дело с выставкой до конца никто из нас не сможет, для этого надо здесь жить. Бот если бы Палецкий... Хотя что-то странное с ним творится. Из отдельных обмолвок в письмах Сергея я знал, что живопись Палецкий давно забросил. Впрочем, видно, что на работе он не простой инженер, и, хотя и тяготела надо мной наша утренняя встреча, я понимал, что все-таки крест на нем ставить рано: вот сейчас же пришел как человек — ведь главный технолог всей станции, это я узнал от его сослуживцев. Причем быстро и заслу-

женно продвинулся. Он всегда не терпел вторых ролей...

И вот поплыла в морозном воздухе траурная мелодия, машина с гробом медленно двинулась от больницы. Дорога вела в гору, и потому нам, идущим за машиной, все время был виден одинокий гроб и множество белых цветов в нем. Обычно в машину садятся близкие родственники — у Сергея их нет, только племянница, да и та идет где-то в толпе. Как все-таки он был одинок, наш друг, и как резко говорят об этом его последние картины, написанные тогда, когда он уже точно знал, что отпущенный ему судьбой для жизни срок на пределе. Сумасшедшие переплетения деревьев, дрожащие напряженные сосны, кусты, похожие на тени измученных людей, петляющие среди сосен дороги и скорая помощь, мчащаяся по дороге с крутыми поворотами. И все это перемешано, взвихрено ветром. Портретов людей почти нет, хотя именно они ему раньше более всего удавались: Сергей умел несколькими штрихами схватить характер... Портреты студенческих лет!.. Они есть почти у всех из нашей группы. Он щедро раздавал свои работы, словно стараясь сделать так, чтобы в каждом из нас подольше сохранилась память о нем...

Кладбище открылось за поворотом. Тихое, запорошенное снегом, ровные ряды могил, и среди них на возвышении яма со свежей черно-желтой землей по краям. И все стройное шествие, натолкнувшись на нее, вдруг разрушилось. Люди обтекали, окружали со всех сторон эту вставшую на пути яму. И могильщики, привычно делающие свое повседневное дело, уже командовали, куда заносить гроб, куда крышку, где поставить венки. Молча уплотнились ряды людей, снег поскрипывал под ногами. И когда прекратилось всякое движение, начались речи.

Постепенно смысл слов стал доходить до меня.

И мне показалось, что говорят не о Карпеко, а о совсем другом человеке. Оказалось, что он руководил сектором проектирования главных турбин, о чем никогда не писал мне, и конструкторское бюро, где он работал, держалось исключительно на нем. Конечно, о мертвом принято говорить только хорошее, но факты — их нельзя выдумать! И суммируя их, я все больше понимал, что совершенно не знал этой другой жизни Сергея. Однако все, что говорилось, очевидно, было на самом деле, ведь если в человеке есть творческая жилка, он привносит элемент творчества во все, к чему бы ни прикоснулся...

Племянница стояла у гроба, опустив голову. Никто не плакал, не причитал... И только я подумало том, что вот, не успел он ни жениться, ни детей завести и некому оплакать его, как услышал совсем рядом всхлипывания и увидел, что рыдает докторша. Маленький ее нос еще больше покраснел, и смотрела она вокруг явно невидящим взглядом. Именно она первой подошла к гробу, склонилась и поцеловала холодный лоб нашего друга. Я встал рядом с ней и дотронулся до затвердевших неподвижных рук Сергея, рук, из которых навсегда ушло живое тепло...

В автобусе ко мне подседа Юлька Смирнова. Путь с кладбища был недолгий, разговор у нас с Юлькой получился отрывистый, скачущий с третьего на десятое, но все время возвращался он к Сергею, к его судьбе. Юлька была уверена, что если бы Сергей был женат, жизнь его не оборвалась бы так рано, что жена заставила бы его вовремя начать лечение, не позволила бы так запустить себя.

— Я узнала от Евгении Федоровны, — продолжала Юлька, — он не женился из-за Палецкого! Мало того, что наш красавец спаивал Сергея, он и здесь сумел подставить ножку. У Сергея в Ленинграде



была девушка, он собирался на ней жениться, привез ее в этот городок, ну и устроили по этому поводу небольшую пирушку. И в тот же вечер — представляешь! — Палецкий уволок к себе эту девушку. Ясно, внешне-то что его сравнивать с Сережей, на вид-то он король! А чтобы разобраться, что у него внутри — на это годы нужны. Мы-то ведь тоже его за чистое золото принимали, прощали все. И понимаешь, гад какой, и не нужна была ему та девчушка, просто свое превосходство доказать хотел!..

В квартире Карпеко был накрыт длинный стол, но нам с Юлькой не удалось сесть вместе: я и Витя Лобанов очутились за одним концом стола рядом с племянницей Сергея и докторшей, а Юхно, Женя Зак и Юлька сумели занять место поближе к двери — мы заранее сговорились не задерживаться и все вместе уехать в Ленинград. Люди сидели плотно, касаясь плечом друг друга. Встать со своего места, перебраться поближе к кому-то было невозможно. Никто почти не притронулся к еде.

Я пытался завести разговор с племянницей Сергея, но она отвечала па мои вопросы односложно, либо вообще оставляла их без ответа.

Я понимал, что горе утраты тяготит ее, что, вероятно, чувствует она себя здесь чужой, думает о чем-то своем и ее раздражает моя назойливость, но мне хотелось узнать, как она поступит с картинами: увезет ли к себе в далекий Ташкент, где они наверняка будут пылиться в какой-нибудь кладовке, или согласится оставить здесь, поймет, что надо добиться выставки...

Внезапно, когда все стихли, она поднялась и заговорила. Она сказала, что в ее тяжелой жизни Сергей был той светлой отдушиной, которая помогала выдержать все: и раннюю потерю родителей, и неудачное замужество, и что те дни, которые она прове-

ла с ним, когда приезжала в Ленинград, дали ей, как человеку, больше, чем все долгие годы учебы. Это была настоящая школа, и она благодарна дяде за эту школу...

Ее слова тронули всех, было видно — ей действительно больно и страшно, что Сергей ушел из жизни. Я решил, что после нее сразу надо сказать мне, сказать всем о художнике, который был моим другом, и убедить всех, что мы должны добиться открытия выставки его картин. Но только я поднялся, как на другом конце стола встал Палецкий и сразу начал говорить своим звонким, хорошо поставленным голосом.

— Карпеко,— сказал он,— был моим самым близким другом. После института мы встретились в Москве — он тогда еще не определил направления своей жизни, он был на распутье. Я убедил его в том, что мы в первую очередь инженеры — и жизнь подтвердила это. Вы все знаете, каким толковым он был инженером. Я помог ему перевестись к нам. Я добился выделения ему квартиры, где — взгляните на стены! — он мог писать свои картины... Надо, чтобы каждый из нас взял по одной, как память о нем. Суть не в их достоинствах, но каждый будет, глядя на них, вспоминать о Сергее. И меня в этом, я уверен, поддержит Танюша, его племянница, его наследница... Я хорошо помню, как начинался третий блок, своими руками мы его возводили. И Сергей тогда увлекся работой, а все это искусство всегда только мешало ему... Я хочу еще сказать, он был специалист настоящий, это я без всяких сантиментов, вернее, он мог стать еще большим специалистом...

Палецкий говорил еще долго, и каждое его слово коробило меня, хотелось остановить его, крикнуть: «Прекрати, да что же ты!» Я видел, что большинст-

ву сидящих за столом тоже нелегко сдержаться. Женя Зак густо покраснел, Евгения Федоровна сдвинула брови и, казалось, вот-вот вскочит из-за стола и накинется на Палецкого. Юлька Смирнова делала мне какие-то знаки, видимо, просила, чтобы я остановил Палецкого. Юхно нервно постукивал кулаком по краю стола. Палецкий между тем продолжал свою речь и каждым словом как бы подтапывал Сергея, предавал его... И тогда почти одновременно встали Женя Зак и Юхно, я тоже поднялся. Нельзя было допустить, чтобы согласились с Палецким, чтобы сейчас разобрали картины, унесли с собой...

— Погоди,— остановил я поток его слов,— дай мне сказать!

— Да, да, пусть Кирилл говорит! — поддержал меня Юхно.

Начал я несколько путано — все внутри меня кипело и каждое слово приходило не сразу. Я рассказал о выставках, в которых участвовал Карпеко, и о том, как настоящие художники-профессионалы ценили его. Я сказал, что Палецкий не имеет права перечеркивать талант Сергея. Да, мы все инженеры, говорил я, и здесь тоже нужно призвание. Нам, его друзьям, лестно было слышать о том, каким толковым конструктором был Сергей, но это не должно заслонять главное дело его жизни — живопись. Он до последнего дня был верен этому делу, он творил, потому что не мог не творить. Пусть мы не можем оценить профессионально его полотна, но наша обязанность сделать так, чтобы их увидели и оценили другие люди! Здесь, среди нас, председатель художфонда, и мы просим его выбрать картины для выставки. Нельзя, глупо сейчас растаскивать эти картины по разным городам, надо оставить их здесь, где знают Сергея как художника...

Слова мои, видимо, нашли отклик у всех. О вы-

ставке заговорили все сразу, и главное — племянница тоже была за выставку, я напрасно в ней сомневался...

Через несколько часов мы стали собираться в дорогу. Сотрудники Сергея уговаривали нас остаться, но ленинградцы твердо решили уехать. Я колебался. Надо было бы задержаться, переночевать в городке, а завтра переговорить в деловой обстановке с местными художниками. Но оставаться здесь одному, без ребят, было очень уж тоскливо...

Я надеялся, что Палецкий не поедет, но он нагнал нас, когда мы выходили на шоссе, ведущее к вокзалу. Вместе с ним, едва поспевая, не шла, а почти бежала докторша, лечившая Сергея. Сразу поняв, что старшим в нашей компании признан Юхно, она стала объяснять ему, что непременно хочет поближе узнать друзей Карпеко, что он часто вспоминал всех нас, часто спрашивал, когда лежал в больнице, нет ли от кого вестей, и что оставаться здесь, в своем городке, ей сейчас просто невыносимо.

В переполненную электричку садились почти на ходу и поначалу потеряли друг друга из виду, но через некоторое время сумели собраться в одном вагоне и даже найти свободные места, чтобы усадить Юльку и докторшу. В дороге мы и познакомились. Звали ее Варварой Степановной, но когда мы стали обращаться к ней по имени и отчеству, она запротестовала и попросила называть ее просто Варей. Действительно, получалось не совсем логично: друг к другу мы обращались просто по имени, а к ней, которая была лет на семь моложе, — столь обстоятельно.

В Ленинграде порешили не расходиться, а пойти всем вместе к Юльке. Варя горячо поддержала эту идею. Еще в электричке она начала рассказывать, как в больнице пыталась спасти Сергея. И по ее то-

ну, по тому, с какой болью она говорила о нашем друге, мы сразу почувствовали, что она любила его. Да и разве могло быть иначе, если общались они почти ежедневно, и она, конечно, должна была понять, что это за человек!

В доме у Юльки Варя продолжила свой рассказ, и мы слушали ее почти не перебивая. По мере того как она говорила, лицо ее все больше оживлялось, глаза, весь день подернутые пеленой слез, заголубели, наполнились каким-то внутренним светом.

В последние годы жизни Сергея она делала для его выздоровления все, что могла, чем вооружила ее медицина, но организм его был запущен начисто. Почки начали отказывать сразу после резекции желудка. Он съездил в Ленинград к какому-то крупному профессору и в результате этого визита узнал, что жить ему осталось полгода. Помочь этот довольно-таки известный в медицинских кругах профессор уже ничем не мог. Сергей настоял на выписке из больницы, привел в порядок все дела, накопившиеся на работе, и взял отпуск. В этот отпуск он, видимо, решил проститься со всем, что было дорого ему на земле. Сначала они с Варей договорились поехать по путевкам в Ялту, но в последний момент Варвара Степановна поняла, что его больше не устроят чисто приятельские отношения. Она умела скрывать свои чувства и, по ее словам, держала Сергея на расстоянии. Перед его отъездом произошла размолвка. Сергею, видимо, не просто было пережить все это, но плана своего он не изменил. Сначала поехал в Крым, а потом неожиданно отправился в Кизи, где за несколько дней сделал больше десяти пейзажей, далее — в Тарусу, куда мечтал попасть еще в студенческие годы. В Москве, когда перебирался с одного вокзала на другой, на станции метро он потерял сознание. И опять-таки планов

своих не изменил и на последнем пределе поехал в Тарусу— остались и от этой поездки наброски вето альбоме, но их было немного.

После всего этого он слег окончательно и уже в больнице, видимо, осознал, что в его распоряжении остались считанные дни. Варвара Степановна принесла в палату по его просьбе мольберт и краски, упростила дежурных врачей не препятствовать его занятиям, и Сергей лихорадочно писал, терял сознание, приходил в себя и снова тянулся к краскам. Варвара Степановна не отходила от него, и месяца за два до его смерти съездила в Москву, чтобы добиться пересадки искусственной почки, так как в Ленинграде от этой операции отказались, ссылаясь на то, что уже поздно, что это надо было делать года три-четыре назад. В столице светила медицины, ознакомившись с историей болезни, тоже разводили руками.

Когда она вернулась, Сергей был в реанимации — в безнадежном состоянии, как сообщил дежурный врач. И первое, что она предприняла,— это подняла полуживого, уже почти ни на что не реагиовавшего Сергея, и буквально на себе оттащила в туалет...

— Я знала,— пояснила Варвара Степановна,— насколько стеснительным был Сергей. Представляете, ему неудобно было позвать санитарку!.. Вообще, он и раньше не любил никого ни о чем просить...

Говорила она тихо, с трудом произнося каждое слово. Мы сидели не шелохнувшись. Южно сжал виски руками, Юлька нервно теребила бахрому ска-терти. Каждый почти физически ощущал сейчас — насколько тяжело было Сергею, как он страдал от своей беспомощности.

— В день моего приезда,— продолжала Варвара Степановна,— наступило временное улучшение, но потом опять кризис. Ничто не помогало, почки отка-

зались работать. Сергей почти не реагировал даже на мое присутствие, только иногда едва ощутимым движением прикасался к руке. Это было прощание...

Тогда она решила во что бы то ни стало продлить ему жизнь: стала делать так называемое «прямое» переливание, при котором кровь, поступающая в организм больного, тотчас удаляется. В современной медицине такой способ почти не применяется, но только он может на какие-то часы оттянуть развязку. И действительно, неожиданно на полдня наступило облегчение. Сергей заговорил, просил не делать вскрытия после смерти. Она дала слово. Потом опять наступил резкий спад — начался бред. Очнувшись, всякий раз он спрашивал: «На том я свете или на этом?»

Умер Сергей у нее на руках, рано утром, когда за окнами чуть брезжил рассвет.

Слова Варвары Степановны, ее искренность, ее боль проникали в душу. Я с горечью подумал, что — вот, не судьба ведь! Встреться они с Сергеем лет на пять-шесть раньше, и он был бы спасен, спасен ее любовью... А так вышло, что соединило их в самом конце его пути, и досталась ей только борьба за его жизнь, за дни, часы ее продления, часы последних мучений, когда наступает предел человеческим силам. И он, совершенно точно знающий, что за пределом этим лишь тление, вдруг обращающийся с вопросом: «На том я свете или на этом?!»

Легче, наверное, все-таки было умирать в те века, когда люди были уверены, что существует загробная жизнь. Наверное, на грани бытия любому человеку хочется верить, что он не исчезнет бесследно... И это ведь, по существу, действительно так: прах наш превращается в почву для растений, он питает живое, а вот наши мысли, наши стремления...

В этот вечер, а вернее, ночь, мы все старались на-

полнить друг друга этой памятью об ушедшем, каждый добавлял что-то к знакомому облику Сергея. О нем все вспоминали с нежностью, душевно. Варвара Степановна не раз всхлипывала, слушая наши рассказы.

И когда заговорили о его одиночестве, о том, что вот, не сумел он завести семью, не было жены, никого вокруг, она возразила:

— Я была рядом,— и продолжила после некоторого молчания: — Господи, как я виновата перед ним, как виновата! В последний год его жизни — ведь уже знала, что это последний год — я продолжала держать его на расстоянии. Никогда себе не прошу! Помню, тем летом, когда он в очередной раз выписался из больницы, позвал меня в гости... Я понимала зачем. Он, видимо, долго готовился к встрече: в комнате все блестело, развесил по стенам картины, на столе стояло шампанское, большой торт,— красивый такой, с башенкой... Даже починил цветной телевизор, который не работал чуть ли не со дня приобретения: вызывать мастера ему было лень, да и не для него это — телевизор. Был очень теплый вечер. Не знаю, что случилось со мной, но когда он поцеловал меня, я бросилась к двери — дверь была заперта! Это почему-то прямо взбесило меня. Я стала кричать: «Открой сейчас же или я брошусь в окно!» Окно было растворено, и вид, наверное, у меня был такой, что он испугался... Жалела потом, а что поделаешь — все так хрупко в этом мире, так хрупко...

Плечи у нее вздрагивали. Валька Южно налил стакан минеральной, она отпила немного, вытерла слезы.

— Успокойтесь, Варя,— сказал Южно,— Каждый из нас чем-либо виноват перед ним. Мы ведь сейчас тоже понимаем, что слишком редко вспоминали о



том, что рядом с Ленинградом, в полутора часах езды, живет наш друг, что он тяжело болен. И именно вы были ему поддержкой, и все, что вы сделали для него — могли сделать только вы, и никто из нас даже малой толики подобного не предпринял...

— Ах, что я сделала! — прервала его Варвара Степановна.— Была врачом, не больше... Могла, да не решилась... Почему? Не пойму, наверно, никогда, как это все вышло!

— И не поймешь,— вмешался Палецкий. Он уже изрядно выпил, и теперь был в той стадии опьянения, когда или лезут с объятиями ко всем, или начинают выяснять отношения.— Думаешь, нужна была ему? Серега — он не всех допускал к себе в душу. Он был гордый. Помнишь, Кеша? — Палецкий подвинулся ко мне и положил руку на плечо.— Помнишь выставку, еще в институте: как он тогда понес по кочкам мои картины, и вот за это я его полюбил. Но я не благоговел перед ним, я тоже раздалбывал его. Но кто помог ему с устройством? Только я! Нет, никто из вас не знал Карпеко, никто!

— Ладно, успокойся,— сказал ему Южно.— Ты конечно благодетель, но почему не написал нам ничего? Мы могли бы успеть приехать к нему живому, повидаться в последний раз!

— А он хотел вас видеть?! Вспомните десятилетие выпуска! — отрезал Палецкий.

Действительно, тогда, на десятилетие выпуска, я надеялся увидеться с Сергеем, но он не приехал в Ленинград. По традиции мы собрались в ресторане «Европейский», было весело, все были рады встрече и потом, после застолья, стояли на улице толпой перед метро и долго не могли разойтись. На следующий день Палецкий, я и еще несколько человек из нашей группы рано утром сели на электричку и отправились на поиски Сергея. Поездка наша ока-

залась безрезультатной. Палецкий уже тогда пытался убедить нас, что Карпеко теперь не тот, что, мол, вообразил себя гением и никого из нас, кроме него, Палецкого, знать не хочет...

Тогда я даже обиделся на Сергея: как это так, не повидаться с друзьями?! А сейчас понимаю — ему было не до веселья, он не хотел расспросов, не хотел шумных застолий.

Через месяц после той поездки я получил от Сергея большую посылку, в ней тщательно были упакованы три картины. На одной была изображена Киммерия: рваные тучи над морем, тоска природы в ожидании шторма; на другой — пустынный, фантастический какой-то мир, а третья — был мой портрет, сделанный им еще в студенческие годы. Я тогда, — это было на втором курсе, — раскритиковал свое изображение, ведь на портрете был изображен не студент, каким я тогда был, а много переживший и усталый человек. А теперь произошло чудо: портрет очень точно отображал меня сегодняшнего. Значит, Карпеко как бы предугадал мое будущее. Никто из нынешних моих друзей не верит, что писал этот портрет мой однокурсник и писал очень давно...

Палецкий порывался что-то еще сказать — какая-то боль, быть может, раскаяние бились в нем, но обычно тактичный Женя Зак, обладающий хорошо поставленным баритоном, взял инициативу в свои руки и стал очень эмоционально рассказывать, как затевали они с Карпеко студенческий журнал, каким отличным организатором был Сергей и как они ходили к ректору за разрешением на издание журнала, а тот выгнал их из кабинета, сказав, что ему по горло хватает того, что из выпусков прошлых лет уже четверо стали писателями, один — предводителем цыганского табора, еще один ухитрился

даже устроиться директором московской бани-сауны. Задача же вуза несколько иная...

Они все-таки пошли еще раз, и пока он, Зак, пытался переубедить ректора, Карпеко набросал на страничке из блокнота шарж, да так уморительно схватил манеру ректора почесывать затылок, его вздернутый носик на толстом лице, что тот, увидев этот набросок, расхохотался, а когда человек смеется, он добрее...

— И он был прав, наш ректор, когда не разрешал, и дурак, что согласился! — опять вмешался Палецкий.

— Ну это ты брось, Семен,— обиделся Женя Зак,— мы же все любили журнал, вспомни, да ты и сам иллюстрировал несколько номеров.

— Ия был дурак,— сказал Палецкий.— Нечего множить двойников-неудачников! Надо сразу сказать себе — ты инженер! Что нужнее: журнал или третий блок станции? Я на своем горбу этот третий блок вынес. И Серега тоже. Этот третий блок — память о нас! А чего ты, Зак, добился? Несколько статей в журналах напечатал... Читал я их и, извини, скажу прямо: пустые статьи! Куда ты лезешь? В Достоевские? Что ты можешь о нем объяснить? А где твой третий блок? Что ты создал? Ответь!

— Ты, Семен, возьми на полтона ниже, — одернул его Юхно.— А для себя пойми: интеллигентный человек не может замкнуться только в одном, жить только производством, неинтересно ему так жить! Сам же картины свои выставлял, не вижу в этом ничего плохого. Они жизнь высвечивали. Посмотри на картины Сергея — они ведь продолжение его — свет его! А ты тенью хочешь закрыть и их, и свои работы. Что они у тебя отняли?

— Да мне эта наша самодеятельность вот где сидит! Да если бы не она! — опять повысил голос

Палецкий.— Да я бы сейчас знаешь кем бы был! Меня сам Маркушин к себе главным инженером звал. Я же и расти по службе стал только тогда, когда малевать бросил, и Карпеко я вытягивал. Жаль только, не прислушивался он к моим советам!

— Жаль, что он жил с тобой рядом,— сказала вдруг Юлька,— спаивал ты его, а зачем — не пойму!

После этих слов Палецкий неожиданно сник и попросил налить еще водки, пообещав, что выпьет — и сразу уйдет.

Но получилось так, что первыми ушли ленинградцы — был уже шестой час утра, светало, началось движение городского транспорта. Мне же, Вите Лобанову, Палецкому и Варваре Степановне уходить было рано. Я не хотел появляться у родственников спозаранку, будить их, Вите Лобанову на поезд до Москвы нужно было к десяти, Палецкому и Варваре Степановне предстояла дорога в свой городок электричкой.

Мы распрощались с ленинградцами, обещая писать и встречаться не по таким печальным случаям, а при любой возможности обязательно находить друг друга.

Юлька предложила мне и Вите Лобанову немного вздремнуть и постелила нам на диване в большой комнате, где стоял стол, за которым мы провели эту ночь. Сама же она спать не хотела и кровать в комнате дочки уступила Варваре Степановне, а дочку перенесла на стоящую рядом кушетку. Палецкий заснул, сидя в глубоком кресле.

Мы с Виктором как-то сразу задремали, утомленные долгим днем и столь же долгой ночью. И проснулись мы тоже одновременно от какого-то шума в соседней комнате. В растворенную дверь я увидел Палецкого, мечущегося по комнате, мелькнул силуэт Варвары Степановны, которая почему-то накинула

на себя одеяло, тут же рядом с ней возникла Юлька, что-то зло выговаривавшая Палецкому. Потом Юлька вихрем промчалась по комнате, где мы спали, и загрохотала посудой на кухне.

Я взял из кармана пиджака сигареты и вышел на кухню. Юлька была вне себя от гнева.

— Ты представляешь,— сказала она, голос у нее дрожал,— этот хам полез к Варе! Я случайно вошла в комнату,— нет, это уму непостижимо... Там же дочка, она уже проснулась! Это черт знает что!

— Не может быть, это невозможно! — не поверил я.

На кухню почти одновременно вошли Лобанов и Палецкий.

— Ну что ты, Юлька, не злись,— протянул Палецкий,— да ничего тут такого, вот клянусь, ничего не было!

— Да как ты смел, да ты хоть понимаешь, что вчера произошло?! — закричала Юлька.— У тебя хоть смерть, хоть свадьба—одно на уме! Я видеть тебя не могу! Убирайся!

И тут Витя Лобанов, тихий наш Витя, неожиданно развернулся и вlepил Палецкому пощечину. Удар был нехлесткий, неумелый. Палецкому ничего не стоило при его силе и росте ответить. Но он только закрыл лицо руками и бросился вон из кухни.

Через несколько минут резко хлопнула дверь. Мы с Лобановым тоже заспешили и стали прощаться с Юлькой.

Вышли на улицу. Настроение было ужасное, к тому же моросила какая-то смесь дождя и снега, голова раскалывалась, казалось, даже воздуха не хватает.

— Не переживай так, старик, и пиши,— сказал на прощание Виктор.— А будешь в Москве, обязательно заходи, если что надо — помогу.

Я вернулся в свой город и вскоре получил письмо от Варвары Степановны. В конверт была также вложена статья из газеты. В ней сообщалось, что готовится выставка работ Сергея Карпеко, на которой будет представлено сто шестьдесят полотен талантливому самодеятельному художнику. Были и другие лестные оценки его живописи, и это принесло мне какое-то внутреннее облегчение, так как я долгое время корил себя тем, что уехал, ничего не решив с выставкой. Кроме статьи было и письмо — длинное, на шести страницах. Варвара Степановна писала обо всех трудностях, которые ей пришлось преодолеть, чтобы найти зал, выхлопотать разрешение, заказать рамки. Сквозила в письме тоска по Сергею. О Палецком она писала: «Тогда, в вашем кругу» я хотела узнать — кто же они, друзья Сережи, — раньше ревновала его к вам, но быстро поняла, что вы не знали его. И о Палецком я тогда думала как о его друге. Как это ужасно! Евгения Федоровна рассказывает, что он сейчас мечется, завербовался на Таймыр, ждет вызова, может, что-то проснулось в нем?.. И все-таки Сергей правильно называл его «жлобом» — не верится, что он был когда-то вашим другом... Когда вспоминаю Сережу, холодеет сердце. Живу только выставкой.»

Так заканчивала она свое письмо.

Через год, в Москве, когда после очередного рейса в Атлантику я отчитывался об испытаниях новой лебедки, встретил в конференц-зале министерства Витю Лобанова. После отчета мы приехали к нему домой, он показал мне фотографии с выставки и эскиз памятника на могилу Карпеко — плита и на ней кисть, перекрещенная с рейсфедером.

## ОСТАВЛЕННЫЙ БЕРЕГ

Балтика встретила прохладой и морозящим дождем. Траулер с трюмами, до отказа набитыми рыбой, зарывался носом в волну, к тому же встречный ветер сдерживал его движение. Утром на горизонте обозначилась синяя полоска берега, и темнеющие вдаль деревья угадывались на ней.

На судне, во всех каютах царили беспокойство и радостное настроение, какое обычно бывает в день прихода.

Когда остановили главный двигатель, старший механик Гамин поднялся на палубу. Теперь уже буксиры вели траулер, и берег рос, надвигался. Прошли канал, и открылась акватория порта. Среди корпусов судов, стоящих у причала, темнел разрыв — место у пирса, приготовленное траулеру. Там, подле этого разрыва, толпились люди, и можно было различить женщин с букетами цветов, а чуть в стороне от общей суеты, у вишневой «Волги» — портowych начальников.

Жены среди встречающих Гамин не увидел. Это, впрочем, не удивило его. Раньше он даже обрадовался бы такому обстоятельству: нет — так нет, значит, свобода, не надо ни перед кем отчитываться. И впереди встреча с Татьяной.

Но теперь такая встреча была исключена. В рей-

се Гамин получил от нее радиограмму и понял: всё кончено и кончено безвозвратно. Она сообщала, что выходит замуж. Весть эта не расстроила его, была даже добрая радость за Таню: наконец-то решилась ее судьба. Он всегда чувствовал, что был виноват в том, что отношения их затянулись на долгие годы, хотя и он, и Татьяна давно уже поняли, что счастливого исхода не будет... И из-за этой связи рушилась жизнь Тани, его жизнь и жизнь неповинного во всем этом человека — его жены.

Неожиданного ничего в решении Татьяны не было, еще перед рейсом все оборвалось...

Впервые мирно и спокойно он провел отпуск с женой, и была единственная встреча с Таней — в рабочем поселке, в просторном доме ее бабушки, гостившей в это время где-то на Волге.

Стемнело, но света они не зажигали. Таня стояла у окна, скрестив руки. Отблески уличных фонарей освещали ее зябкие плечи. Какая-то тягучая тишина таилась в полутьме.

Именно тогда он сказал: «Тебе пора замуж, Та-та, так больше продолжаться не может. Мы оба слишком устали...»

Впервые она не возразила. Очень медленно отстранилась от подоконника, медленно повернулась.

В теплом вечернем сумраке он увидел ее продолговатые глаза темно-орехового цвета и почувствовал напряженность и печаль ее взгляда. Он привстал, протянул к ней руки, но она испуганно отпрянула:

— Знаешь, я сама хотела тебе это сказать, я знала, что так когда-нибудь будет, я тоже устала... не умру, от этого не умирают.

Он притянул ее к себе, осторожно, как слепой, провел ладонью по ее телу... И потому что оба понимали, что это в последний раз, было какое-то томительное отчаяние в каждом прикосновении...



И все ушло, закончилось тем вечером.

И теперь берег без нее... Есть семья — жена, дочка, все войдет в колею. Ведь были же счастливы, хотя и не было своего угла, и заработки были не ахти какие, да как-то не задумывался никто в те годы о деньгах — ни у кого их не было и это никого не волновало. И жили бездумно — в бараках, в коммуналах. И радовались просто жизни. Это уж потом, лет через двадцать после войны, под счастьем стали понимать иное: ковры, японские стереомагнитофоны, мебель под старину, импортные обои. И многие, в том числе и они, даже не уловили — в какой же год исчезли та прежняя убогость и простота их быта! Откуда возникли эти постоянные заботы о том, где и что можно достать, кому и сколько доплатить за это...

И Татьяна вдруг появилась из той, прежней, нерасчетливой жизни. Появилась и заполнила всё — а теперь вот и она исчезла...

Несмотря на обложной дождь люди не уходили с палуб, и там, на берегу, тоже стояли и ждали, выставив навстречу дождю разноцветные зонтики.

Когда швартовка закончилась и были оформлены все документы, связанные с приходом, дождь внезапно прекратился и весеннее солнце пробилось сквозь пелену туч. Матросы сходили по трапу, их встречали радостные возгласы, объятия, поцелуи...

Гамин покинул борт траулера одним из последних.

...В квартире стоял нежилой запах, мебель покрылась слоем пыли, было затхло и неудобно. Гамин с силой растворил окно и прошел на кухню. В холодильнике кроме двух бутылок шампанского ничего не было. На кухонном столе он нашел пожелтевшую записку, всего три слова: «Мы уехали к маме».

Значит, они уже давно в Ленинграде... Это ведь была заветная цель Елены — десятый класс дочка

должна закончить только там, в какой-то спецшколе для избранных. Теща давно приманивала их именно этой школой, из которой открывался прямой путь по меньшей мере в университет... Значит, теперь один. Можно спать сколько угодно — спать и быть уверенным в том, что среди ночи тебя никто не поднимет, никто не вызовет на аврал! Рейс позади, дома нет никаких помех...

Гамин не спеша разделся, свернул брюки и свитер, пропахшие рыбой и аммиаком, отнес их в кладовку, потом долго стоял в ванной под теплым освежающим потоком. И заснул сразу, как в яму провалился...

Разбудил телефонный звонок. Он долго не снимал трубку. Не хотелось даже пошевелинуться — какого черта, кому он опять понадобился?..

— С приходом! Ну и спишь же ты! — голос Тани зазвучал так близко, словно она говорила из соседней комнаты.— Я уже несколько раз звонила. Мы ждем тебя в «Океане»...

— Это что, свадьба? — спросил Гамин.— Почему в кафе?

— Нет, не свадьба,— ответила Таня и замолчала..

Он тоже молчал.

— Нет, — повторила она,— свадьба завтра. Я тебя очень прошу, приди. Только сделай вид, что ты влюблен в Полину...

— Какую еще Полину?

— Ты ее прекрасно знаешь, тебе она всегда нравилась. Помнишь, мы были у нее в Нелидове, помнишь?

— Мы у многих были,— сказал он.— Слушай,. Тата, я тебя очень прошу, не надо нам встречаться. И еще, я тебя от всей души поздравляю. Будь счастлива! Все!

— Не бросай трубку,— почти выкрикнула она,—

сегодня мой день, понимаешь, мой день! Давай, хоть простимся по-человечески!

Голос ее прервался. Она замолчала, и Гамин, воспользовавшись паузой, резко опустил трубку.

В молодежном кафе «Океан» витражи, мебель, монументальная роспись — все соответствовало названию. У входа — нити с желтыми наплавами, нечто вроде занавеса, на одной из стен — огромная географическая карта с обозначением путей каравелл Колумба и Магеллана, на столиках — резные старинные фонари. Музыканты небольшого оркестрика сидели на бочках, а у официантов под пиджаками были не накрахмаленные рубашки, а флотские тельники.

Уже в вестибюле Гамин понял, что Татьяна явно неудачно выбрала место для встречи. Шум и грохот оркестра сразу оглушили его. В зале все находилось в непрерывном движении: музыканты старались вовсю, усилители у них были современные, сверхзвуковые. Пары танцевали в каком-то бешеном ритме. Гамин с трудом протолкнулся среди танцующих и, наконец, у дальней стенки, увидел столик, за которым сидела Таня в белом платье с большим декольте, а рядом с ней — подстриженная под мальчика миниатюрная девушка в мохнатом сиреновом свитере, — очевидно, та самая Полина. Мужчина лет тридцати пяти с рыжеватой взлохмаченной бородкой что-то оживленно им объяснял. Какие-то знакомые черты мелькнули в его облике... Он повернулся, в упор взглянул на Гамина — Антон! Неужели? Вот так встреча...

В самом начале рейса было от него письмо — какое-то странное, тревожное. Расстались они уже очень давно и не по-доброму, и письмо это было такой же неожиданностью, как и встреча вот сей-

час. Не откликнуться на то письмо было нельзя, и он, Гамин, написал: что же, коли необходимо — приезжай. Приду из рейса — помогу с устройством. И даже сообщил адрес Татьяны, чтобы помогла, свела с художниками. Только не к месту теперь эта встреча, не до него...

Антон, между тем, как всегда быстрый в движениях, ринулся навстречу, расставляя руки для объятий. Вскочила из-за стола и Полина. Она почему-то оказалась впереди Антона и успела даже прильнуть плечом к Гамину.

— Толя! Наконец-то! Ну сколько можно ждать!

Татьяна сидела неподвижно и смотрела на Гамину немигающими глазами.

— Это мой старый дружище! — сказала Полина, обращаясь к Антону.— Морской волк, он только сегодня сошел на берег, он пришел из океана!

— И снова попал в «Океан»! — подхватил Антон. — Приветствую тебя, морской скиталец!

— Здравствуй, это я,— сказал Гамин и протянул руку Татьяне. Так всегда он говорил ей, когда звонил по телефону. Пальцы их на мгновение соприкоснулись и вздрогнули. Она покраснела, но взгляд ее по-прежнему оставался неподвижным.

— Толян! Ну что же ты, Толян,— засуетился Антон.— Это ведь надо! В такой день, чтобы и еще больше повезло! Ведь я же не знаю никого кроме тебя в этом городе! Это так замечательно, старик, что ты пригреб!

Гамин продолжал стоять у столика неподвижно... Вот это жених! Антон и Татьяна... Чушь, какой-то глупый сон... Надо найти повод, чтобы уйти, уйти сразу, не затягивая.

— Вы уж извините,— начал он,— извините... Полина, ты должна понять, и ты, Антон. Сегодня день прихода, мне надо отметить возвращение с

парнями нашего траулера, я зашел только на мину-  
ту...

— Какие парни! Они что тебе в рейсе не обрыд-  
ли? — удивился Антон.

— Смотри, я обижусь,— поддержала его Поли-  
на.— Это ведь даже не по-товарищески!

На них стали оглядываться с соседних столиков.  
Полина буквально повисла на руке у Гамина, ему  
пришлось сесть.

Антон был в ударе и говорил не переставая —  
об их былой дружбе, про небывало удачное стечение  
обстоятельств, про свое вечное везение.

Оркестр сменил вдруг современную оглушающую  
музыку на вальс, и, чтобы хоть ненадолго, но уйти от  
Антон и Татьяны, не разговаривать с ними, Гамин  
пригласил Полину.

Но Танина верная подруга хитро улыбнулась и  
сказала:

— Толик, ты совсем забыл этикет в своих морях!  
Вальс — это танец невесты! Ты просто обязан при-  
гласить ее! С тобой мы еще натанцуемся!

— Да, конечно! — поддержал Антон, обнял По-  
лину за талию, приподнял ее и захохотал. А потом  
закружил прямо у столика.

Гамин протянул руку Татьяне, она медленно  
поднялась из-за стола. Музыка звучала совсем тихо.  
Были в ней какие-то отголоски далекой школьной  
поры... Тогда танцевали исключительно вальсы. Его  
первой партнершей, его учительницей была пионер-  
вожатая Лариса Громова. Они были одни в пустом  
зале, где стояла принаряженная елка. Несмотря на  
полумрак ноги не слушались его, мучительно сму-  
щало каждое прикосновение... Именно после этого  
вечера он надолго и безответно влюбился в Громову,  
которая совсем не замечала его или делала вид, что  
не замечает. А его любовь жила теми сладостными

мгновениями соприкосновения рук, ощущениями дозволенных объятий, прекрасной музыкой. Она, наконец, так ни о чем и не догадалась...

С Татьяной ему никогда не доводилось танцевать вальсов — наступили времена других ритмов, да и не было у них времени на танцы. Ни к чему были они. И сегодня близость в танце уже не была сладостной, прикосновения, волновавшие когда-то, сегодня были столь обычны. Если решено расстаться, раз теперь есть муж, почти есть — завтра это будет узаконено, то что же может нарушить старый, почти забытый вальс? Интересно только, знает ли она все об Антоне, и если знает, — как решилась стать женой этого человека? Нет, наверняка не знает. Надо раскрыть ей глаза. Но как? Ведь это будет воспринято как попытка удержать, вернуть, возможно, просто как вспышка ревности. И можно ли поручиться, что тот Антон, которого он знал, сегодня остался таким же? Прошло ведь слишком много времени со дня их последней встречи... Но Татьяна! Что с ней происходит? Какой-то странный остановившийся взгляд. Совсем рядом, глаза в глаза, и в то же время так далека. Все такое знакомое: каждое движение, каждый жест, золотистые волосы, вздрагивающие тонкие пальцы, гибкое тело...

— Ну, что же ты молчишь? — спросила она тихо, почти одними губами, и в ее глазах появилось страдальческое выражение — или это просто ему показалось, а вернее, хотелось, чтобы было так...

— Поздно о чем-либо говорить, — ответил он. — К тому же я ведь еще и «влюблен» в Полину, так, что ли?

Татьяна усмехнулась и произнесла уже громко:

— Я все рассказала о тебе Антону. Я решила сделать это сама раньше, чем это сделают другие. Я не хотела лгать. Единственная моя невинная вы-

думка — твоя симпатия к Полине. Надо же было как-то оправдать твой приход сюда... Хотя, кстати, он сам тоже захотел с тобой встретиться.

— Странно, как все может переплестись в жизни. С Антоном мы когда-то были друзьями. Если бы не я, он сейчас не приехал бы сюда...

— Какое это имеет значение? — удивленно спросила она.

Гамин не ответил. Они сбились с тактов вальса и теперь просто стояли среди танцующих.

— Странно,— сказал Гамин.— Это так не похоже на тебя... Ты твердо все решила?

Она кивнула.

— Как получится, так получится, я устала от всего, а ему нужна поддержка, нужна помощь... Понимаешь, хоть раз в жизни я кому-то нужна! Не в отдельные дни, как тебе, а чисто по-человечески...

Оборвалась музыка, а они продолжали стоять друг перед другом.

Гамин опомнился первым, отстранился, взял Татьяну под руку и подвел к столику. Он галантно подвинул ей стул, посадил, раскланялся и попытался изобразить на лице улыбку.

Антон подмигнул ему и продолжал оживленно говорить с Полиной, оба хохотали. Он был всегда мастером по части анекдотов.

Гамин помнил, как шутил и острил Антон в своих компаниях... Но почему, почему он попросил о помощи, зачем покинул свой большой город? Ведь был же когда-то его другом и все было понятно между ними даже без слов... Как давно все это было...

Впервые жизнь столкнула их на малом рыболовном траулере лет пятнадцать назад. Гамин только начинал тогда свои хождения в моря. Девятнадцатилетний восторженный юнец... Первые самостоя-

тельные вахты, когда вдруг осознаешь, что именно тебе повинуется корабль и его путь в безбрежном море зависит от тебя... Антон был на год старше, уже отслужил в армии и считался опытным матросом. На малом траулере очень небольшой экипаж, поэтому они, несмотря на разницу в положении, — механик и матрос — как-то легко сошлись и подружились.

Работа в те годы была тяжелой — почти все делали вручную и надо было иметь крепкие мускулы и выдержку, чтобы сутками во время больших уловов не покидать палубы, чтобы вынести постоянные штормы и леденящие ветры. Выдался им в тот раз очень тяжелый рейс. Снег перемежался дождем, и лед гирляндами нависал на снастях. Море безостановочно вздымало свинцовые валы, резко раскачивающие небольшой траулер. Неизвестно, откуда и силы брались чтобы встать, натянуть не успевшую высохнуть телогрейку — и на палубу, на очередной аврал. А к концу рейса циклон с необычайной яростью накинудся на промысловый район. Мир превратился в вихрь из воды и снежных зарядов. Был дан приказ всем судам уйти в укрытие к ближайшему берегу. Но они слишком затянули игру с циклоном, а их капитан Стельмашенко — горячая голова — ни за что не хотел уходить с рыбных мест. Рыбы было столько, что часть ее, не вместившуюся в заполненные до отказа трюма, пришлось оставить на палубе. А лед глыбами нарастал на судне. Окалывать, дробить, сбрасывать — от этого зависела тогда их судьба. С рыбой тоже пришлось расстаться. Руки, истертые в кровь, обмороженные, потерявшие чувствительность пальцы, нескончаемый дикий свист ветра... Накат очередной волны — и твоя одежда превращается в ледовый панцирь. Лом поднимаешь и опускаешь как во сне, сил уже нет.



Нарастающий лед не дает выпрямиться судну, палуба уходит из-под ног...

Они работали тогда рядом. Антон легче выдерживал напряжение — сказывалась армейская закалка. Гамину казалось — еще минута и силы окончательно покинут его. Тогда это все и случилось.

Антон сбивал лед у фальшборта, когда резкая волна накрыла его и выбросила за борт. Гамин рванулся к шлюпке, но все тали смерзлись, он с трудом буквально отодрал от переборки спасательный круг. В этот миг судно резко накренилось, удар новой волны — и Гамин тоже очутился в бешеном водовороте. Ледяная вода обожгла его, ужас сковал движения, но у него был круг, а у Антона и этого не было. И в этом смерче, на пороге смерти они вдруг оказались рядом. Дальше оба ничего не помнили. Рассказывали, что когда их вытащили, они настолько цепко держались друг за друга, что сразу рассоединить их руки оказалось невозможно...

Чудом вырвавшись из лап смерти, как они были уверены в том, что ледяная купель навсегда породнила их, на всю жизнь связала друг с другом. Оба решили тогда, даже поклялись, не бросать морской службы, доказать себе, что не сломились, не испугались моря!

Как давно это было! Пути их быстро разошлись...

Никто не осудил Антона, когда тот остался на берегу и неожиданно занялся столярной работой. И Гамин никогда не напоминал ему о той клятве...

Вскоре Антон перебрался в большой город, далекий от моря, там сумел купить кооперативную квартиру, женился и присылал длинные подробные письма, на которые Гамин отвечал чаще всего короткими радиограммами из разных районов Атлантики. Как-то в один из отпусков Гамин приехал к Антону. Поначалу, помнится, радовался даже за

друга, сумевшего найти свое призвание, не затеряться в огромном городе. Антон и внешне здорово преобразился: выющаяся борода, длинные волосы. Встретил он Гамина на новеньком «жигуленке», в простенькой на вид, но самой дорогой одежде, и было заметно сразу, как горд тем, что может с шиком принять своего старого друга, как приятно ему сжимать руль своей машины и как не терпится показать весь этот большой город и свою устроенную жизнь в нем.

Деньги у Гамина были — получил перед самым отъездом расчет за рейс, причем за удачный рейс — но Антон не позволил ему нигде расплачиваться. Всюду опережал его, вытаскивая из бумажника пачки крупных купюр, и при этом хохотал ни с того, ни с сего. Швырял он деньгами легко и непринужденно: милиционеру, остановившему машину, швейцару у входа в ресторан, администратору театра — и эти деньги открывали перед ними все пути. Для них находились билеты на спектакли, о которых другие могли только мечтать, заворачивались дефицитные вещи в директорских кабинетах универмагов, и официанты, обслуживавшие их, моментально ловили каждый жест...

Вокруг Антона крутился мир доселе неведомый Гамину: с ходу составлялись компании, люди в кожаных и замшевых пиджаках, в штруксах и джинсах ловко скользили по просторной квартире Антона. Они умно и вовремя острили, умели выпить, знали не только цены стоящих товаров, но и латынь, и философию, и, конечно, современную литературу. Рассуждали о писателях так, будто с каждым из них были близко знакомы. Они могли целыми днями сидеть у Антона, и вначале было непонятно, как это у нас могут люди жить, нигде не работая, но в разговорах выяснилось, что все они числятся в штатах

контор и даже институтов, а работу свою называют старинным словом — «присутствие». Иногда называют в это «присутствие» и могут решать, судя по телефонным разговорам, непростые вопросы. Вышло, что не зря начисляют им зарплату в их терпеливых учреждениях... Но кроме зарплаты у них были и другие доходы. Гамин сразу понял это, потому что говорили постоянно о каких-то золотых жилах, о злых местах, куда можно устроиться только за большие деньги, о выгодных перепродажах икон и картин.

И как-то ночью, когда Гамин наконец-то остался с Антоном наедине — жена его уехала отдыхать в крымский санаторий — Антон разоткровенничался:

— Вот так, мой дорогой пахарь Атлантики,— сказал он.— Как видишь, многие хотят жить красиво, а для этого нужна прежде всего мебель. Не те стандартные стенки и столы, что в магазинах, и даже не импортная, которая теперь тоже серовата стала, а мебель оригинальная, в стиле прошлых веков! Витиеватая роскошь ампира, точность готики... Не ширпотреб нужен для счастья, а образцы, единственные в своем роде. И в этом у меня нет конкурентов, можешь поверить!

Гамин действительно видел в мастерской Антона удивительную по тонкости рисунка конторку, письменный стол необычной формы, кресла, спинки которых были причудливо изогнуты, и ни одно из них не повторяло другое.

На следующий день Антон затащил Гамина в комиссионный магазин и подвел к ломберному столику. Изящный, почти воздушный предмет роскоши с желтой крышкой и затейливым рисунком на ней, гнутые ножки и великолепная цена — пять с половиной тысяч.

— Вот, старик,— сказал Антон, любовно погла-

живая полировку стола,— это тебе наглядный пример, как можно и нужно жить. Обнаружил я его в одном из подвалов — крышка с потрясающим рисунком была буквально иссечена, но работы было на неделю, не больше. Я потратил на восстановление дней двадцать, и вот — надо совершить теперь два хороших рейса в твои моря, чтобы поставить это чудо в своей гостиной. И мне каждая такая работа не только денег, мастерства прибавляет! Это же класс! Мы ведь многое утратили из того, что знали старинные умельцы.,.

У себя в кооперативной квартире Антон в эти дни оставался редко, даже ночевал в мастерской. Обычно утром Гамин приходил в мастерскую, заваленную досками, фанерой, всяческими заготовками, мебелью. Здесь же в мастерской была уютная спальня и маленькая кухонька.

Антон старался как мог ублажить своего старого друга, но в их отношениях возникла какая-то трещина. А перед отъездом Гамина из-за пустяка вроде бы произошел разрыв.

Он хорошо запомнил тот вечер...

Весь день до этого они мотались по городу — Антон проворачивал свое очередное дело: добивался, чтобы ему разрешили участвовать в реставрации старинной усадьбы. Как выяснилось, работать там он не собирался. Хотел только устроиться в группу, направляемую туда, так как высмотрел среди хлама в подвале старинную конторку очень искусной работы, а вывезти ее оттуда никак не мог: попался несговорчивый сторож.

К концу дня Антон достиг своего: оформился реставратором, и это везение решено было отметить. Поехали в мастерскую. Компания составила из деятеля худфонда, молоденькой яркой девицы, его подруги, и молодого бородатого парня, оказавшего-

ся реставратором икон. Антон суетился, юлил вокруг представителя худфонда, реставратор язвил, подкалывал всех, демонстративно обращался только к Гамину, объяснял:

— Мне перед ними клонить голову не след, меня звали Покровскую церковь расписывать! Они жуки, они не стесняются, рвут, где могут, а нам с вами пахать надо за те же деньги годами, мы из породы российских мастеровых, кои извечно в работе, а что наработано — в кабак, и среди скоморохов слезу пускать, да рубаху на груди рвать. А у них — гены кабатчиков, мы их не перешибем, а когда запьем, они тут как тут, дадут пару сотен в рост, и ты — в кабале, как в петле. Вот и хозяин наш — он почему меня при себе держит?.. Я ведь любой колорит, любой орнамент старинный душой понимаю, а ему это не дано. Вот руки у него есть, руки золотые, а это не дано!.. Он думает как? — купил меня с потрохами, а я ведь душу вкладываю — пусть, не жалко, пусть торгует моей душой! Как это там, у поэта... В век ширпотреба нет его, неба. Доля художников хуже калек. Давать им серебреники нелепо — небом единым жив человек!.. Так и я, мне все едино, были бы кисти!

Антон пропускал мимо ушей насмешки и ёрничество молодого реставратора и являл собою образец хлебосольного хозяина, но когда в разговор вступила подруга деятеля из худфонда и стала высоким резким голосом говорить о том, что истинный художник должен быть выше всего, что это безнравственно — купля, продажа, махинации, если есть дар божий, искра таланта, что надо жить в искусстве и для искусства...— Антон вдруг взорвался. Гамин даже не заметил перехода от шуток и насмешек к очевидному скандалу. Только что мирно говорили, изредка поддевая друг друга, а тут девица, закан-

чивая свой патетический монолог, встала, и театрально заломив руки в браслетах, провозгласила:

— Мы славу России оберегать должны, а не растаскивать да в коммиссионках продавать!

Антон тогда вдруг тоже вскочил, схватил стул и закричал:

— А ну пошли вон отсюда! Привыкли к легкому хлебу, привыкли нашармака! Чуете, где можно урвать, а сами на что способны? На красивые слова? Какое право имеете судить нас? Вы бы в море побарахтались, как мы с Толяном! Я сам всего достиг! Сам, вот этими руками! Сам, а не дух святой. Ясно? А ты, дрянь, — он подступил вплотную к девице, — вспомни, сколько мне должна? В Пицунде на чьи деньги грелась? А что они из коммиссионки — вспоминала?

— Уходим, немедленно уходим! — крикнула девица и схватила за руку представителя худфонда.

Тот попытался свести все к шутке, заговорил быстро:

— Ну что вы, братья, что нам делить? Из одной чаши потребляем, не один год друг друга знаем, держимся в мире контактом нашим...

— Заткнись, Лука несчастный, — завизжала девица и плеснула из рюмки прямо в лицо Антону.

Антон молча вытер лоб платком, схватил девицу за плечо и с силой швырнул к двери. Гамин рванулся к нему, попытался удержать.

Антон оттолкнул и его:

— Ты не мешай, катись отсюда, чистоплюй, проветри! Здесь не море, здесь другие законы! Ты этого никогда не поймешь — у меня с ними свои счета!

— Я не хочу знать этих твоих счетов и твоей жизни! — крикнул Гамин.

Так они и расстались в ту ночь. Гамин ушел в

темноту незнакомых улиц и долго блуждал, пока перед ним не открылся широкий проспект, ведущий к высотному зданию гостиницы.

...И вот получается — пути людей неисповедимы. Это ведь Антон сидит сейчас рядом за столиком, жених, и свадьба у него будет не с какой-то незнакомой женщиной, а с Татьяной, с той, с которой столько связывало, столько было всего, было и ушло, растворилось в прошлом. Растворилось ли? Почему же он несколько раз уже ловит себя на мысли — что все надо пересилить, надо забыть все...

Гамин встал, оглядел танцующий мельтешащий зал, изобразил на лице улыбку и пригласил Полину.

Она была много меньше его ростом, задирала голову, когда говорила, пыталась развеселить его:

— Ну что, моряк, сбился с курса? Нельзя надолго оставлять берег. Это мое твердое убеждение! Что с вами произошло? Я помню, когда вы с Татьяной приезжали ко мне — само обаяние, рассказывали все так интересно — просто кладезь морских историй!

Гамин молчал. Оркестранты несколько раз меняли темп: пары то приостанавливались, то все вокруг начинало ходить ходуном, и каждый вертелся в одном ему понятном ритме. Полина — маленькая, гибкая, ускользала в глубину зала, терялась среди других, потом внезапно обнаруживалась рядом. «Славная она», — подумал Гамин и вспомнил, как были у нее в поселке, где Полина учительствовала в сельской школе. Приехали вечером — тишина вокруг, темень. Ночью долго говорили... И какое прекрасное было утро — простор кругом первозданный, речка прохладная и чистая и белая колокольня вдали на фоне березовой рощи... Как давно все это было! И не дано возвратиться в то время.

«Но для души еще страшней следить как вымирают в ней все лучшие воспоминания»... Откуда эти строчки? Спросить у Полины? Нет, бесполезно,— вряд ли она знает... Преподаватель химии.

Это Татьяна научила его любить стихи. Раньше они казались ему пустой забавой, рифмоплетством. А теперь, теперь в долгие ночи океанских рейсов он и сам пробовал сочинять, и рифмы иногда отыскивались легко, и строчки рождались как бы сами собой. Татьяне эти стихи нравились, другим он их не показывал. Зачем? Каждый призван в мир для своего дела: он добывает рыбу, кто-то — уголь, кто-то валит лес. А есть и те, кто занят только добычей денег, любым путем. С детства приучили относиться к таким презрительно... Хотя, если разобраться, ведь Антон не только зашибает деньги, но и делает нужное дело. Есть паверняка и талант, не без этого. Что-то ведь нашла в нем Таня... И встретился он ей сейчас, когда невмоготу без своего очага, и главное — нужен ребенок...

Сам он ничего этого дать Татьяне не смог. В короткие промежутки между рейсами метался между двух домов. Были разрывы с женой, длинные томительные дни, когда они не разговаривали друг с другом и тягостная пустота заполняла квартиру. Уж лучше выкричаться, выговорить все, чем вот так копить злость в душе. Тогда он вырывался из дома, уже не выдумывая предлога, уезжал за город, в лес... На заливе инспектором рыбоохраны работал его друг, Валька Растегаев, сокурсник по училищу,— парень простой, никогда не лезущий в душу. С ним легко все забывалось...

Можно было остаться наедине с собой, уйти в густоту сосняка, к далеким заброшенным озерам. Зеркальная поверхность, окруженная темно-зеленым кустарником, притягивала, очаровывала безмолвным



покоем. Озера, неведомые еще браконьерам, кишели рыбой, уха получалась наваристой, светлые легкие облака плыли над головой, на рассвете дивно пели птицы, а ночью яркие блески звезд отражались в озере. Так легко проходило несколько дней, что казалось, ничего больше не нужно в этом мире, но это только казалось... Еще пара деньков — и вот они уже мчались с Валькой на мотоцикле до ближайшего телефона.

Татьяна приезжала сразу: работа у нее была более или менее вольная — вела кружок на станции юннатов, читала лекции в политехникуме. Он встречал ее на автобусной остановке, затерянной в роще на стыке лесных дорог. Не было здесь ни расписания, ни гарантии появления автобуса в определенное время. Только чудом могло занести ее сюда. И чудо свершалось — издали слышался шум мотора, потом вздымалась и оседала пыль на дороге, и из скрипучих дверей маленького расхлябанного автобуса выпрыгивала она.

Валька Растегаев уезжал на залив ловить браконьеров, а они устраивали пиршество, отыскивая в его запущенном холостяцком доме банки с маринованными грибами, вяленых лещей, янтарный свежий мед. Они были совершенно одни на десятки километров вокруг: можно было бегать к небольшой речке почти не одеваясь, ложиться в чистую прозрачную воду и медленно плыть по течению. В каких-то ста метрах от дома начинались заросли малинника, а за ними открывалась солнечная поляна. Посреди поляны был шалаш, где на душистом сене валялась лосиная шкура. Это был рай. Но у всего на свете есть конец, и в какой-то миг наступало самое тяжелое — надо было оставлять все это. Татьяна не хотела уезжать одна, а он не мог ехать с ней вместе в автобусе, где можно было случайно столкнуть-

ся с кем-либо из знакомых. Начинались уговоры, Татьяна сникала. Он давал себе слово, что не будет искать новых встреч...

Дома его начинало угнетать чувство вины: получалось так, что всякий раз в его отсутствие что-нибудь происходило. В последний раз Елена была просто в панике — оказалось, дочка не ночевала дома. Вся вина за это возлагалась на него, как же: дурной пример, наследственность, чего еще ждать, если отца у нее фактически нет и так далее. Отношения, впрочем, выяснять было некогда — оба бросились на поиски. На такси объездили всех девочек из ее класса, передумали невесть что, и он опять — в который раз! — давал себе клятву, что если все обойдется, если отыщется Ксана живая и здоровая, то он будет заниматься только дочкой и никаких встреч с Татьяной.

Возьмет отпуск, в конце концов, просто встанет в резерв, и никаких длительных рейсов, пока Ксана не закончит школу. Мысли были одна другой страшнее: девочке шестнадцатый год, сколько бывает ужасных случаев! Они обзвонили все больницы, побывали в милиции, издергали друг друга упреками, а оказалось все проще простого — девочка поехала к подруге в пионерский лагерь на взморье и там отлично провела время. Оправдывалась, что позвониться домой не могла — телефон не отвечал, и потому написала записку, передала с какой-то Соней, а эта Соня куда-то, видимо, захала, забыла отнести...

Он понимал, что произошла эта сумятица именно из-за того, что его не было дома, опять кругом был виноват он один. После этого случая до самого отхода в рейс он везде неотступно сопровождал дочку. Ему льстило, что на них оглядываются. Он был еще сравнительно молод для того, чтобы в нем

признали отца, а в ней уже видна была женская стать: высокая, стройная, густые волосы... Французская куртка, модная сумка — ей все так шло! Он пытался найти с ней общий язык, понять ее интересы... Оказалось, что дочка много взрослее, чем он думал, и самое тяжелое было то, что она не только догадывается, а знает наверняка, что у него есть другая женщина, и это знание давало ей право поглядывать на него словно бы со стороны, как на чужого. Кроме того, девочка вращалась в кругу ребят, у которых отцы тоже ходили в море, и поразительно точно знала, что и в каком порту можно приобрести, даже цены называла, и теперь не просто просила, а давала наставления, что и откуда привезти. В другой раз подобный тон, да и сама тема разговора взбесили бы его, но теперь он играл роль друга-отца, понимающего и терпимого, и поэтому пообещал выполнить в точности все ее просьбы. Глупо, но в какой-то момент даже практичность дочки показалась залогом того, что она научится добиваться своего, понимает сегодняшний мир лучше других, что его Ксана в этом мире не пропадет. Это потом в рейсе, вспоминая их беседы, Гамин усомнился в тех прежних своих надеждах и начал понимать, что очень скоро может потерять и того единственного родного человека, из-за которого так и не решался разрушить семью.

И после того случая началось сближение с женой. Он ничего не обещал, не клялся, но казалось, ему поверили...

И вот почему-то теперь вдруг и сразу разрушилось то, что было хоть и непрочной, но семьей. Уговаривать жену возвращаться он не будет, да и она — раз решившись, уже не станет искать путей для примирения. Что же остается ему в этом мире? Снова море, море как единственный выход, и в то же

время, если бы не его дальние рейсы, может быть, все сложилось бы иначе?.. Жизнь отдана морю, и ничего в ней не было кроме двух женщин, которых он любил и предал — одну давно, а другую...

Оркестр смолк, его сменил гул оживленных голосов. Полина взяла его под руку, и они возвратились за столик. Потом Татьяна неожиданно встала и позвала Полину. Когда они ушли, Гамин тоже поднялся, но Антон задержал его.

— Постой,— сказал он,— нам надо побеседовать...

Гамин сел на место Татьяны, и теперь бородатое лицо Антона было совсем рядом. Он увидел вдруг глубокие морщины на лбу, волосы, тронутые сединой... Да, жизнь прошла и по нему.

— Как ты очутился здесь? — спросил Гамин.— И где твоя жена?

— Понимаешь,— ответил Антон после долгого молчания,— с той жизнью я завязал, а жена... Ей я был нужен, пока все было гладко, сто рублей в день — это ее устраивало, но потом... Как ни странно, все началось с той древней конторки, помнишь? Вывез все-таки ее из усадьбы, и с тем типом, помнишь, парень-святоша, который все за искусство ратовал, так вот, с ним сделали из нее игрушку, а он, никчемный человек, капнул на меня, что живу не по закону... Я его где нашел, дурака, заработать давал... Ему же все самому обошлось боком! Но когда человек хочет насолить другому,— он обо всем забывает, даже о собственном благополучии, и что сам тоже не ангел... В общем, оба попали под следствие. Считаю, легко отделался — только год... но полная конфискация. Оставили то, что на мне...

Антон замолчал, глаза его повлажнели — то ли ждал сочувствия, то ли просто сказалось выпитое.

— Ты получил свое,— сказал Гамин.

— Дела-а! И это говорит мой друг, крестник по

морской купели,— обиженно хмыкнул Антон и неожиданно засмеялся.— Ну, да ладно! Этого стоило ожидать...

— Чего же ты ищешь теперь, неужели по-новой начнешь опять копить свои тысячи? — спросил Гамин напряженно и почти вплотную придвинулся к Антону.

Антон не заметил или сделал вид, что не заметил резкости вопроса.

— А ничего! Небольшой город, без суеты, толкотни... и без конкурентов. Я же тебе писал,— сказал он, растягивая слова.— Здесь не хуже и не лучше, чем в других городах. Помнишь, как мы гудели в этой же харчевне, когда отмечали свое воскрешение, после рейса...

Антон расстегнул замшевый пиджак, откинулся на спинку стула, потом потянулся к графину, и, нечаянно задев рюмку, опрокинул ее.

— Пардон, старик,— сказал он и снова наполнил рюмку.

— И все-таки этот город не для тебя, я все равно не могу понять, почему ты именно здесь?

— Трудный вопрос,— Антон улыбнулся.— Я и сам себе вряд ли смогу ответить. Как тебе объяснить... Полная потеря всего и год под стражей... Это все не так просто... Шаль, конечно, и машины, и коллекции икон, и той мастерской в самом центре. Но надо уметь сжигать мосты. Да, это красиво произносится со сцены, а когда дело происходит в жизни — то чувствуешь и неприятный запах гари, и отсутствие брода. Все отворачиваются! Все, кто кормился за твой счет. И особенно те, кто должен тебе в прямом и переносном смысле. Но я знаю, что ты из другого круга и нос воротить не будешь. И должник твой — я. Теперь опять мне нужен спасательный круг, рука твоя нужна... Старик, ты должен

помочь мне устроиться. Ты свой город знаешь, тебе доверяют, а я человек пришлый...

— И куда бы ты хотел?

— Куда — не важно, главное, чтобы работа не очень связывала меня, чтобы было свободное время, хоть немного... Например, диспетчером в порт. Сутки через трое, это бы меня устроило...

— Значит, все сначала?

— Нет, все будет о'кей! Ты это должен понять! Руки должны работу знать. Думаю, здесь найдутся ценители красивой мебели. Да и много проще будет жить без всяких умннков-экспертов, без завистников...

— Чтобы стать диспетчером, надо знать флот, а ты сейчас далек от этого. Не думай, что все так просто в жизни!

— Я знаю, что не просто, но готов дать два куска за устройство,— Антон прищурился и весь напрягся в ожидании реакции Гамина на свое предложение.

Гамин не сразу осознал смысл, а поняв, улыбнулся, потом отодвинул блюдце и засмеялся.

— Да не такой уж ты и наивняк! — обиделся Антон.— Все путем. Когда-то ты спас меня, а теперь я ведь тоже выручаю тебя... Небось на седьмом небе, что узел твой развязался. Чего притворяться? А мне ее жалко. Хорошая баба. Так что радуйся открыто, а не изображай праведника!

— Радоваться? — переспросил Гамин.— Тебя не пугает, что я сейчас же расскажу Татьяне все, что знаю о тебе, о твоей прежней жизни? Что тогда?

— Тогда ничего,— спокойно ответил Антон.— Поздно, старик. Ты ничем ее не удивишь, она уже поняла, чем я хорош и чем плох. Женщины, особенно у нас на Руси, испокон веков любят не победителей, а побежденных, это запомни, на всякий

случай. Исключением была моя прежняя жена, но в ней брало верх мужское начало. А вообще, они, понимаешь, любят помогать нашему брату, воскрешать заблудшую душу, так сказать. А Татьяна увидела берег — бе-рег — и пойдет ради меня на все!.. Не то, что старый друг, красиво любящий отказываться от денег и разрушать чужие жизни. Что ты дал ей, кроме комплексов? Она же ни во что не верит уже и в себя не верит. А ведь ты себя хорошим считаешь, чистеньким! Зато мы сейчас с ней очень нужны друг другу, оба от разбитого корыта будем начинать!

Все рассчитал, на все точки надавил... Сидеть рядом, выслушивать все это — не было никаких сил.

Гамин поднялся, виски сжимало, ноги казались ватными. Вокруг вертелись в танце, шумно спорили, задорно хохотали... А ему не хватало воздуха... Было такое чувство, будто занырнул слишком глубоко и никак не можешь выбраться на поверхность. Он с трудом, как во сне, пробрался через гудящий зал.

В вестибюле было накурено, у гардероба толпились люди. Надо было уходить. Он вдруг остро осознал, как необратимы события, поздно — уже поздно!.. Надо возвращаться к себе, возвращаться в пустую квартиру, начинать иную жизнь, а какова эта жизнь — представлялось смутно. Самый простой выход — с утра пойти в контору, отказаться от отгулов и отпусков, взять направление на первый же уходящий в Атлантику траулер. Бежать? А Татьяна останется навсегда с этим дельцом, пока тот опять не погорит в погоне за рублем. Переубедить ее? Но где найти нужные слова? Она может понять его доводы как наговор, как запоздалую ревность. И вообще, жизнь будет крутить свой механизм и без него, и он, Гамин, сейчас просто лишний на берегу...

И кто знает, может быть Татьяна действительно поможет Антону, изменит его. Она всегда была слишком добра и терпима к людям, всегда стремилась оправдать любой поступок, да и он сам не раз внушал ей, что людей надо воспринимать такими, какие есть, и любить не только за достоинства, а иногда и вопреки им. Что людям надо уметь прощать. И не за это ли всепрощение любил он Татьяну?

Теперь уже ничего не изменить, теперь только в Атлантику, где все предельно ясно, где он привык брать ответственность на себя и принимать решения, которые выполнялись его механиками беспрекословно. Там, в море, были моменты, когда от его решения зависели не только отношения между людьми, но и судьба всего судна, жизнь каждого лежала на весах судьбы. Там был настоящий мужской труд, и каждая сложная ситуация оставляла все меньше места раздвоенности в душе.

Так всегда казалось ему, и всякий раз, когда Гамин уходил в рейс и оставлял на берегу тех, кто любил его, он обретал в море и самоуважение и свое, как он считал, настоящее «я». Берег же всегда рождал в нем неуверенность. Теперь на берегу вообще пустота, уходить не от кого и не к кому возвращаться, никто не будет ждать его приходов в порт. Рассыпалось, оборвалось все. Если бы можно было вернуть годы, начать по-другому, если бы... Осколки не собрать.

Гамин взял куртку в гардеробе и медленно двинулся к выходу. В вестибюль в этот момент выбежала Татьяна.

— Толя, ты обиделся? Куда ты? — Окликнула она Гамина.

Он повернулся. Вокруг толпились люди, о чем-то спорили, а ему казалось, что все стихло, замерло.



— Я, кажется, наделал столько ерунды, Татьяна,— сказал он.

— Зачем об этом говорить сейчас, себя ты не переделаешь,— сказала она и с каким-то сожалением посмотрела на него.

— Уйдем,— сказал он,— я не могу потерять тебя.

И вдруг осознал, что не этих слов она ждала от него весь вечер, что любой его довод сейчас фальшив для нее, что любая его правда об Антоне обернется против него же, Гамина, и единственное, что может остановить ее — это его искренний порыв, твердое решение раз и навсегда быть вместе. И он понял, что не найдет слов, для произнесения которых нужна предельная искренность.

— О чем ты говоришь! Ты давно потерял меня. Я так измучилась за эти годы,— сказала она тихо, почти шепотом и отошла в сторону, к зашторенному окну.— Ты даже не представляешь,— продолжала Татьяна,— ты никогда не поймешь, как я тебя любила, как ждала твоих приходов, как не находила себе места в дни твоего возвращения, понимая, что не имею на тебя никакого права... Ты с женой, и это не мои дни, а я должна терпеливо ждать, ждать и страдать — это был мой удел. Как вздрагивала и замирала я при каждом телефонном звонке!.. Ты даже не представляешь, сколько унижений перетерпела моя любовь, прежде чем я решилась запретить себе ее... Ты хоть понимаешь, как это ужасно — убивать в себе смысл жизни?! Ты же был для меня всем, всем...

Гампн почувствовал, что сейчас она разрыдается. Он и сам с трудом сдерживал какой-то ком, сдавливающий горло.

— Не надо,— сказал он и взял ее за руку.

В это время в дверях холла появилась Полина и стала подавать ему какие-то знаки рукой — то ли

звала к себе, то ли, наоборот, торопила их: уходите, чего же стоите, чего еще ждете?..

— Таня, сейчас я найду такси,— сказал он.

Татьяна вдруг испуганно отстранилась и ничего не ответила.

Гамин выбежал из кафе. На улице хлестал дождь, почти ливень, и, как назло, ни одной машины... Дождь заполнил все пространство, и площадь перед кафе превратилась в озеро. Вокруг был привычный мир воды.

Гамин промок насквозь, пока отыскивал машину. Он попросил шофера немного подождать и рванулся к дверям кафе. В кафе было пусто — никого из тех, кто еще совсем недавно танцевал и шумел здесь. Только официанты убирали посуду, да швейцар дремал в уголке.

## СТАЖЕР

В глазах обитателей рабочего поселка Федя был обычным бездельником. Мало кто из его окружения понимал, какой поэтический вихрь рос в нем, не находя выхода. Стихи его лишь изредка появлялись в заводской многотиражке «Новатор»...

Хозяйничали в газете в те времена два Петра. Петр Никандрович был главным. Человек весьма осторожный, он боялся не только начальства, но и своей жены, а потому каждый год с томлением ждал очередного отпуска, чтобы в отдалении от родных пенатов позволить себе пожить раскованно и без оглядки. Во время отпусков, командировок и других отлучек Петра Никандровича замещал Петр Евгеньевич — прямая его противоположность, человек, не таящий в темных глубинах души своей сути, многоженец, не раз проклятый с амвона товарищеских судов, к тому же выпивоха, однако очень ловко слагающий строки о передовиках даже в дни самого жуткого похмелья.

Конечно, стихи Феди по сравнению с этими его строками выглядели шедеврами. И оба Петра разом хвалили Федю, а Петр Евгеньевич лез с объятиями и восторженно кричал: «Вот это выдача, вот это огонь! Поэзия! Истинная поэзия!»

И как упоительно было Феде верить сразу двум

Петрам! После смены, убежав из цеха от оглушительного грохота и сопенья паровых молотов, от едких испарений электролитов, он приносил в редакцию стихи и заметки. Простота и наивность его творений были превозданны. Именно такие как он рыбаки во времена явления Сына божьего из Вифлеема сразу и безоговорочно приняли все его проповеди и покорно брели по раскаленной пустыне за учителем. Вера вполне заменяла им реальный мир, она потрафляла самым фантастическим иллюзиям и наполняла смыслом постылое бытие. И когда здание веры рушилось, они, наивные, первыми гибли под обломками, даже не помышляя об отречении...

Наивности Феде, казалось, ничто не может поколебать! Даже два Петра не сумели разочаровать его в том выдуманном мире, который он создавал в своих виршах. Но все же событиям дано было принять трагический оборот. Молодой поэт начал пить.

Сколько людей погубила водка! Случалось ведь, и большие поэты растворяли в ней свой дар, будь она трижды проклята! А здесь человек только-только вступил на тернистый путь...

Пил он с двумя Петрами. С главным пил тихо и благопристойно в ресторане «Причал», расположенном на берегу загородного озера, куда никто из заводских и городских начальников не заглядывал, с другим же Петром начинал возлияния у первого от проходной завода чепка, где все свои, где протягивают бокалы через головы, передавая их друг другу, где в дыму и толчее так пенисто пиво и так резок ерш, когда в бокал с пивом доливают из чекушек. Здесь было все просто, и властвовала надо всеми некоронованная императрица застолий буфетчица Екатерина, вырастающая как тесто в узком окошке. И когда она захлопывала это окошко, на-

род перебирался за синий забор, отгораживающий чепок от парка, и здесь, подле брошенных гипсовых скульптур, сооружались столики из кирпича...

Когда Федя напивался, его относили домой. За-всегдаги пивных любили своего поэта. Конечно, человек, слагающий стихи, был для них странен, но так уж повелось, что его оберегали. Федя был маленький и легкий, нести его не представляло никакого труда. Его аккуратно клали у порога дома и спешили поскорее ретироваться, ибо жена Феда унаследовала от своей мамы не только двухкомнатный домишко в рабочем поселке, но и несносный характер. По утрам она могла вывести из себя невинного ангела, не говоря уж о человеке, мучимом похмельем. Федя убежал на работу, напутствуемый стенаниями и проклятиями. Если бы кто-нибудь вздумал составить о нем представление с ее слов, то вообразил бы личность весьма гнусную — тирана, погубившего прекрасную девичью жизнь, растоптавшего цветок любви, тунеядца, недостойного иметь семью и занятого маранием бумаги, то есть сочинительством никому не нужных стихов, от коих нет никакого толка. Картина к тому же усугублялась неприспособленностью к жизни этого «нахлебника и притворы».

Особенно жену возмущало то обстоятельство, что Федя не просто не хочет, а действительно ничего не умеет сделать по хозяйству. Так, он совершенно не представлял, как, например, прирезать курицу, а тем более заколоть поросенка. Естественно, дело это не женское, и обида была понятна: ведь приходилось в таких случаях специально звать троюродного брата — мужика ловкого и опытного, но большого любителя выпить «на шару», так что помощь этого родственника обходилась недешево.

Недовольство жены вызревало долго, и наконец

семейные баталии завершились тем, что Федя был вышвырнут на улицу, а вслед ему полетел потерянный портфель и кипа листов, исписанных рифмованными строчками.

В растерянности Федя побрел в редакцию. Главный Петр, конечно, помог ему. Он выхлопотал место в общежитии, и там-то, в большом кирпичном здании, Федя познал, что такое настоящие запои. Комната, куда его поселили, насквозь пропахла испарениями дешевого вина, так называемой «бормотухи», перемешанными с едким запахом нестиранных носков и пота. Федины стихи пришлось по вкусу обитателям комнаты, и он стал самым желанным участником застолий. Все было хорошо. По утрам теперь никто не зудел над ухом, не пилил и не читал моралей. И Федю не покидали творческие позывы, так как он был молод, еще крепок, мог писать в любой обстановке, и когда приходило вдохновение, то не слышал ни храпа соседа, ни галдежа компаний по вечерам — все исчезало.

Три его стихотворения поместили в центральном журнале, а над стихами портрет автора, на котором он выглядел прямо царевичем со светлыми, словно нимб, кудрями вокруг благостного лика. После публикации этих стихов он получил даже письмо от одной почитательницы поэзии из далекой деревушки со странным названием Чикино. Та заочно влюбилась в него, приклеила портрет в избе и обещала, если он не против, приехать к нему, так как в деревне у них не только поэтов, но и вообще мужиков нет.

После этой памятной публикации Федя совсем прекратил ходить на работу. Ему уже не вмоготу стало по утрам штурмовать переполненные автобусы. Он устал от бессмысленности и однообразия своей работы. Федя был гильотинщиком. Громкое

название могло несведущего озадачить, но на деле все было вполне обычно: Федя подтаскивал металлические листы к огромному ножу, нажимал на кнопку, и нож этот, массивный и неостановимый, с сипеньем и уханьем полосовал металл. Если же приходилось резать профильный прокат — бульбы, швеллеры или уголки, то нередко небольшие кусочки металла отскакивали с треском и крутились в воздухе, и тогда на мгновение работа обретала иную суть, и Феде виделись казнь Марии Антуанетты и нелепые аристократы, в память о тех событиях подбрывающие свои затылки... С похмелья иногда хотелось самому сунуть голову в пространство между столом и ножом — желание это было заманчивым и неотвратимым. И тогда Федя убежал в соседний пролет пить газировку. Но сколько можно бороться с самим собой и выполнять работу, достойную робота! Всею есть свой предел. Он же в конце концов поэт!

В первую неделю жить без работы казалось здорово. Это был просто праздник — утром нежиться в постели, когда другие вскакивают, торкаются по углам, ищут свои спецовки, торопятя и матерятся. А чего стоило ощутить себя свободным человеком, личностью, а не придатком гильотины, подтаскивающим ненасытному ножу все новые и новые порции металла!

Но жить в неге и ощущать себя свободным творцом ему позволили недолго, возникли обычные житейские сложности: грозили выселением из общежития, обвинили в тунеядстве, к тому же кончились деньги и занять их было уже не у кого.

Оказалось, что публиковать стихи много сложнее, чем писать. Журналы и издательства никак не реагировали на его письма, а может быть, там вообще и не читали посылаемые творения, а просто за-

полняли ими некую бездонную редакционную корзину. Надежды на гонорары таяли.

И тут весьма благородно проявил себя Петр Никандрович. Его усилиями Федя был вызволен из жизненного тупика. Молодой поэт был снабжен средствами к существованию и посажен за стол в сером двухэтажном здании заводууправления, где располагалась редакция «Новатора».

Штатных единиц не было, но Петр Никандрович сумел уговорить директора где-то кого-то сократить, куда-то ввести его, Федю, и доказать в отделе кадров: мол, талантище, из рабочих, готов воспеть трудовые будни, это необходимо, это поможет в борьбе с текучкой, его стихи — рычаг, который все повернет: отбоя не будет от жаждущих встать к станкам. И, конечно, Феде в редакции он тоже наговорил, напел дифирамбов, увлекая всеми этими проблемами. И ему бы, Феде, отпихнуть благодетеля, ударить бы по его жирным безволосым рукам да сказать пару простых слов, но, святая наивность,— Федя всему поверил...

И через неделю, обмывая первый его редакционный заработок в тихом ресторане у озера, они лобызались как братья, и Федя лез губами к пухлой щеке Петра Никандровича, а тот вытирался шелковым платочком и возвещал на весь зал:

— Федюша, ты наша звезда, наша заводская гордость, ты будущий создатель фабричной истории, ты неопишемое достояние!..

В газете Федя работал с охотой — брался за любой материал, сидел вечерами. Многотиражка была малоформатной, выходила всего три раза в неделю, но чтобы насытить ее полосы приходилось писать, не разгибая спины. Первый месяц проскочил быстро, и весь он был радостным, потому что заполнен был впервые для Феде только творчеством. И все, что



он писал, казалось, зависело только от него. Листки, испещренные его крупным размашистым почерком, поначалу строго просматривал сам Петр Никандрович, вставляя в текст такие веские фразы, как «вдохновенные общим порывом», «рапортуя в честь славной годовщины», «встав на трудовую вахту», «вскрыв внутренние резервы» и так далее, но вскоре Федя осознал свои «промахи», и Петр Никандрович уже не правил его заметок, а даже частенько, читая их, одобрительно цокал и похмыкивал.

И теперь не успевали просохнуть чернила на листках бумаги, где он, Федя, старательно описывал заводские дела, как эти листки уже перепечатывала машинистка, а затем Петр Евгеньевич, на ходу набросав макет будущего номера, совал все это в портфель и вез в городскую типографию, чтобы утром получить кипы сладко пахнущих наборной краской газет, в каждой из которых был повторен текст, сочиненный только вчера им, Федей Картавщиковым. В награду за все эти статьи Петр Никандрович разрешал ему в каждом номере помещать стихотворение. Стихи набирались жирным шрифтом и окантовывались затейливой рамкой. И под ними красовалось крупно и ярко: Федор Картавщиков.

И Петр Никандрович теперь повсюду гордо заявлял, что отыскал самородок из самой что ни на есть рабочей среды, что найти такого человека ему помогло редакторское чутье и сейчас газета на подъеме и наверняка на конкурсе ко Дню печати займет самое высокое место.

Несколько месяцев работы в «Новаторе» заметно изменили Федю. Во-первых, по мнению Петра Никандровича, стихи его стали намного ближе к жизни — из них исчезли всякие томления, неопределенность позиции и усилились мотивы радости заводского труда. Во-вторых, и внешне Федя стал по-

этом. Неожиданно из рабочего парня с растрепанными рыжими кудрями он превратился в истинного джентльмена. Белая сорочка, галстук, подобранный в тон туфлям и носкам, замшевый пиджак — во всем сказалось влияние второго его покровителя — Петра Евгеньевича, вхожего во многие культурные очаги города. В этой творческой среде, пока еще не совсем понятной Феде, Петр Евгеньевич ориентировался легко, так как был знаком с различными деятелями искусства. Теперь он повсюду водил с собой Федю, не без самодовольства знакомил его со всеми местными знаменитостями и постоянно восхвалял его талант.

В какой-то момент Федя вдруг осознал, что «друзья» Петра Евгеньевича знакомятся с ним, Федей, в общем-то охотно, а вот от его покровителя держатся как-то на расстоянии. И получилось неожиданно так, что он, Федя Картавщиков, оказался той единственной нитью, что теперь связывала Петра Евгеньевича со знаменитостями. Работник многотиражки, сошедший с круга, был им не интересен. Таков был этот безжалостный мир местной «элиты», где человек ценился не по душевным свойствам, а по положению в литературных кругах...

Какой газетчик в начале своего пути не мечтает стать писателем! Но давно прошли те времена, когда Петр Евгеньевич, собрав в папку свои фельетоны, носился по издательствам и жаждал признания своих творений. Теперь жизнь его вошла в иную колею — перо скользило бездумно по листу, статьи для газет он лепил одну за другой без всякого напряжения, статьи-временки, приносящие не славу, а гонорары, которые легко утаивались от жены и давали возможность весело провести время.

Федя же все более испытывал гордость от своей растущей поэтической славы, и уже представлялись

ему корешки книг, где по темно-зеленому фону вязью тянулось: Картавщиков.

Он стал участником семинара молодых поэтов. Неделя семинара прошла как чудесный сон — встречи с людьми из недоступного мира столичных мэтров, с поэтами, от одного имени которых сладко щемило в горле. Бородатые юноши, его ровесники, и томные девушки с широко распахнутыми глазами сразу приняли Федю в свой круг — и все завертелось, завихрилось. Взахлеб читали свои стихи, стихи Рембо и Бодлера, говорили, перебивая друг друга, заумные фразы, спорили о той прививке, что сделал русскому стиху Мандельштам, о неслыханной простоте позднего Пастернака, о звукописи Бальмонта.

Для Феде все это стало открытием, он слышал обо всем впервые.

И самое удивительное было в том, что руководитель семинара, известный поэт, из всех участников выделил именно его, Федю, заявив на одном из занятий, что остальные зарылись в эстетстве, а здесь явление — горловые ритмы, идущие от живота, от станка, от первозданной самости. «Скажите, значит, я поэт?» — осмелился Федя спросить у мэтра. Тот изучающе посмотрел на него и изрек: «Ты пока стажер поэта, но как ты напоминаешь мне мою молодость! Костер поэзии уже озарил твою душу!» Федя был польщен словами руководителя и после этого занятия ходил за знаменитым поэтом по пятам, впитывая каждое его слово и все более очаровывался тайнами творчества.

Федя оказался и единственным счастливецом, кому дано было право после окончания семинара проводить столичного гостя: именно ему и никому больше известный поэт сообщил дату и час отъезда.

Они присели на дорожку в огромном и пустом гостиничном номере, и поэт слушал внимательно

Федины стихи и даже в ответ прочел свои, и читал он их впервые только ему, Феде. Стихи были неизвестные, еще неопубликованные. А когда подошло время уходить и они поднялись, Федин кумир взял с кресла свой изящный портфель, и как-то так вышло, что они разом посмотрели на диван, где свалены были в кучу подаренные ему книги местных поэтов и прозаиков. И Федя вдруг понял, что поэт не возьмет их с собой и что в этой груде наверняка лежат и номера газеты «Новатор», где над стихами написано: «Учителю, самому близкому поэту, истинному творцу от Картавщикова». И гость, видимо, вспомнив про газеты, подошел к дивану, ловко вытащил их из общей кучи, махнул на остальное изящной ручкой и сказал: «Суета, скопление провинциальной суеты!»

Этот эпизод несколько ошарашил Федю, но не уменьшил его надежд и стремлений к поэтической стезе, подогреваемых Петром Евгеньевичем. А тот умел возбудить самые сокровенные мечты. «Райские сады издательств,— предрекал он,— вот-вот распахнут свои ворота, и стражники их — многочисленные рецензенты и утомленные графоманами редакторши поднесут тебе сочные яблоки! И настанет время считать строчки и стричь купоны, ибо каждому воздается в меру его таланта и объема в печатных листах!»

Он-то, Петр Евгеньевич, сам не пробившийся через заслоны на пути к изданиям, теперь жаждал, чтобы заводской поэт, взращенный им, опрокинул преграды и тем самым как бы отомстил за его собственные неудачи. Петр Евгеньевич был уверен, что Федин час близок, и когда пришла на стихи отрицательная рецензия из столицы, он написал жалобу в Госкомиздат, в которой говорилось о том, что эстетствующие снобы затирают талантливого рабочего

поэта. Жалоба осталась без ответа. Потом появились и другие рецензии, обидные и злые. Казалось, их сочиняли неудавшиеся писатели, истекающие завистью: они умели ехидно уколоть и унижить начинающего поэта.

— Снобы и заплочных дел мастера! Они не понимают твоих стихов, им своих прихлебателей издавать надо, и любой конкурент вызывает у них неприязнь и желание раздавить его! — витийствовал Петр Евгеньевич в садике у пивного ларька. К его словам прислушивались мужики, сдувавшие пену с граненых кружек. Завязывался разговор о несправедливости, о засилпи чинуш, не желающих знать простых людей...

В одном из таких разговоров, после всяких советов и обид, было решено, что издаваться надо в Москве. Но посылать рукопись просто так, по почте, чтобы она поступила в издательство самотеком — это пустое занятие, надо Феде ехать самому! К тому же в столице живет большой поэт, который признал Федю, и в крайнем случае он всегда не откажется помочь...

Столица встретила дождями и слякотью, толпы народа и незнакомые улицы очень осложняли передвижение в нужном направлении, но это не омрачало Федино настроение. В столичных издательствах за редакторскими столами сидели отличные парни — веселые, остроумные, знатоки поэзии всех времен и народов и любители шумных застолий. Федя никогда еще так весело не проводил время. ЦДЛ — так называли дом, где собирались знаменитые поэты и редакторы, сменялся Домом актера, а тот домжуром, то есть Домом журналиста, еще более шумным и веселым. Повсюду велись значительные разговоры и дерзкие споры.

Когда же деньги иссякли и пришлось дать сроч-

ную телеграмму Петру Евгеньевичу, Федя вдруг явственно осознал какую-то несправедливость по отношению к себе. Ведь что получалось: люди, с которыми он еще недавно так весело проводил вечера, днем теперь старались не замечать его, а разговоры о публикации стихов наводили на них смертную тоску. И тогда он решил обратиться к маститому поэту, тому самому, который проводил семинар и на чью помощь он твердо надеялся. Федя узнал адрес поэта и долго добирался до его дома, стоявшего в самом конце Каширского шоссе. Ехал он почти два с половиной часа, хотя поэт потом уверял, что из любой точки столицы можно было бы сюда добраться за сорок минут.

Поэт сразу узнал Федю и проявил немыслимое гостеприимство: был накрыт стол, сказаны ласковые слова, Федю буквально обволокли уют и тепло кабинета, где все стены занимали полки с книгами, а одна из полок вмещала творения только хозяина дома. И среди книг этой полки гордость его — недавно выпущенное собрание сочинений в трех томах. Поэт подарил Феде это собрание сочинений и сказал:

— Только давай сегодня не читать наших виршей! Не обижайся, дорогой, но мне просто обрыдли рифмы, меня тошнит от них!

Оказалось, что поэт целый год жил затворником, готовил к печати этот трехтомник. Для третьего тома не хватило стихов, а отличные, по его словам, переводы включать не хотели. Пришлось срочно сочинять две поэмы, и поиски рифм вконец измучили большого поэта: он ничего не мог теперь читать, никуда не выходил и воздавал себе за все, как он выразился, заслуженным сибаритством.

Разговор тек легко, непринужденно, но как ни старался гость перевести его на издание своей кни-

ги, хозяин ловко ускользал от этой темы. Говорить он умел, подтверждал высказанные доводы цитатами, получалось все очень убедительно, и вывод был такой: главное не прижизненные публикации, а то, что остается в памяти людей...

Наконец Федя спросил напрямую, что ему делать и вообще стоит ли ему писать? Поэт надкусил огурец, сочно причмокнул и изрек:

— Что я могу сказать, юный друг? В этом деле нет советчиков, как говорится, можешь не писать... гм... не пиши... И, мой милый очаровательный пастушок, мой блистательный мотылек, нужен возврат к природе. Мы забыли, мы совсем забыли Руссо: веку нужны не рифмы, а исповеди, если хочешь, даже проповеди, нагорные истины... Полюби эту жизнь! Полюби ее по-настоящему и ты поймешь, что единственной помехой на пути к ее радостям является рифма... Рифмы, прости меня,— это циркачество, скоморошничество, это дразнилки! Недаром великий Толстой говорил, что поэт напоминает ему земляпашца, идущего, пританцовывая, за плугом! Рифма обязана присутствовать, если хочешь знать, только в детских считалках! А человечеству необходимо явление духа в высшем своем проявлении! Мой юный друг, я напишу рецензию на твои опусы,— оставь свою рукопись. Эта рецензия вышибет слезу у самых заскорузлых издателей! Но если ты прочтешь сейчас мне хоть строчку, я, несмотря на ночь, выгоню тебя! Прислушайся, как барабанит дождь за окном — ты ведь не хочешь вымокнуть до нитки?..

Эта ночь у мэтра окончательно выбила Федю из седла. И на следующий день он пропил остатки денег в грязном зале ресторана при Белорусском вокзале. К нему за столик подседа миловидная, но уже порядком потрепанная жизнью женщина, которая с искренним интересом слушала стихи и тут

же выражала свое восхищение: «Ну, стерлядь, непостижимо! Дай я тебя поцелую, королевич!»

У нее Федя оставил свою замшевую куртку и домой возвращался в одной рубашке. Было холодно. Он ехал без билета на товарняке — долго, почти трое суток. Прятался за ящиками от посторонних взглядов, зарывался в рогожи и за всю дорогу съел только буханку ржаного хлеба, запивая эту простую еду водой из станционных колонок.

Естественно, он опоздал на работу на целых пять дней, и Петр Никандрович написал приказ, где литсотруднику Картавшикову объявлялся выговор с предупреждением, а Петр Евгеньевич сказал, когда они остались вдвоем в редакторском кабинете:

— Не обращай внимания на всю эту слизь! Мы с тобой должны быть выше мелочей жизни! Главное — это слово, явленное нам! Всему свой черед! Твой талант — явление, и скоро издатели сами будут добиваться у тебя строчек, вымалывать их, а ты будешь выбирать, кому предоставить право издания, кого из них осчастливить!

— Не надо, Петр Евгеньевич, зачем все это, я уже больше ничего не напишу, рифма уже не приходит ко мне, я устал...

После этого пошла неделя запоя. Лил дождь, столь же холодный, как и в столице, весь мир казался темным, придавленным низким небом, во всем были безысходность и мрак, разорвать которые, казалось, природе не достанет сил.

А потом внезапно дожди прекратились, и в город пришла весна. Набухшие почки раскрылись, клейкая яркая зелень проступила на ветках, вспыхнула на газонах. Дни стояли солнечные, теплые, и в заводском поселке разом во всех садах белым дурманящим пожаром заволокло деревья: цвели черемуха, сирень, и стоял такой аромат, от которого не



только кружилась голова и наступало томление, на который пронизывал каждую клеточку тела, и дыхание становилось иным, а поступь ускорялась, и все тело рвалось в полет, и казалось, уже парило над землей.

И именно в эти дни к Феде пришло прозрение, сейчас, а не тогда, когда говорил Петру Евгеньевичу о том, что бросил писать! Слова его были неправдой, он не бросил. Но чем больше писал, тем яснее осознавал, что все это не то, что за строчками — пустота. И наступил какой-то слом. И помочь, даже просто посочувствовать оказалось некому. Петр Евгеньевич уехал в отпуск, у жены давно была другая жизнь, о примирении не могло быть и речи. С рабочими из своей бригады утратил всякие связи... У Феде появилась в глазах затравленность, он не отвечал на вопросы, а просто отстраненно улыбался.

Его тянуло за город, к безлюдью, и однажды он очутился на тропе, ведущей к заводским дачам. У кромки залива раскинулся поселок с романтическим названием «Мечта», за ним начинался пустынный пляж, а дорога справа поднималась к березовой роще, туда-то он и двинулся. Трава была еще мокрой от росы, пели птицы среди цветущих кустов сирени, ровные, просторные поляны серебрились, освещенные солнцем. Природа пробудилась и каждой своей травинкой тянулась к теплу и свету, но Федя не замечал ничего, ему в этой жизни уже не было места...

Из петли его вынул проходивший по тропе человек — как потом выяснилось, боцман тралфлота. Боцман этот, бывалый моряк, конечно, не запаниковал, не поднял крика. Дал Феде прийти в себя, ни о чем не расспрашивал, а потом увел в небольшой домишко у моря и долго отпаивал крепким чаем. На вид угрюмый, даже мрачный, всякое пови-

давший на своем веку, он умел слушать и понимать другого человека. Федя почувствовал в нем надежность и ту душевную теплоту, которой так не хватало в последние дни.

— Вот так, братишка,— сказал боцман, выслушав длинную сбивчивую исповедь Феди,— сегодня отбой, никуда тебя не отпущу. Свои обиды разотри и забудь, а завтра потопаем в кадры, море — оно лекарство от всего. Мир повидаешь — напишешь еще свое, какие твои годы!

## СТАРЫЕ ЛЕНТЫ

В тот год я впервые за много лет остался в одиночестве, и меня спасали от тоски старые любительские киноленты... По вечерам я обычно усаживался в кресле и включал проектор. В свое время мы с женой купили простенькую кинокамеру «Спорт» и даже пытались снимать игровые фильмы: тщательно расписывали сценарии и мучили своих друзей, пытаясь превратить их в артистов. Сколько времени на это увлечение ушло! Теперь-то понятно, что ничего из себя наши горе-фильмы не представляли, а то, с чего начали снимать — наш тогдашний быт, просто своя семья — это становилось все дороже...

Вот медленно проплывает по экрану жена, стремительно бегают наш малыш. Приехала теща, вот она что-то говорит,— звука, естественно, нет, но это неважно, я отлично помню все ее причитания. Ага, показывает на наш продавленный диван, на валяющиеся повсюду холсты, на мольберт, установленный рядом с детской кроватью, на книжный развал, в котором никто, кроме меня, не может отыскать нужную книгу. А вот мы уже провожаем ее — перрон, мельтешение людей... Помню, как вздохнул тогда облегченно... Вот опять малыш, теперь он бултыхается в ванне, кадры нечеткие — не хватило освещения, но все, что не очень ясно, я могу живо пред-

ставить — достаточно одного штриха, он подсказывает, вытягивает следующий, нить разматывается. Вот опять малыш. Как он похож на меня, даже походка такая же — голова немного откинута назад, ноги пружинят.

Когда я впервые навел камеру на сына, тот заплакал. «Что с тобой? — спросил я.— Алик, ты что?» — «Не хочу на пленку, не хочу!» — «Почему?» — «А кто меня там будет кормить, там мамы нет, сними сначала ее!» Ты прав, малыш... А вот и она, наша мама: светлые волосы забраны косынкой, лицо озабоченное, чем-то недовольна... Опять сын — теперь уже во дворе на качелях, его глаза крупным планом, смеющийся рот с редкими зубами. Раскачивает его Ваня Крутов, душа-человек, случайно прилепившийся к нашему дому. Он нашел паспорт, который потеряла жена,— вот и явился однажды ночью. Как мы обрадовались тогда ему! А он зачастил — придет, сядет на полу, скрестив ноги, и говорит, говорит... неприкаянный Ваня Крутов. Я тогда не понимал его, а ведь просто был человек одинок, хотел тепла, жаждал, чтобы выслушали его...

Равномерно стрекочет проектор, я засыпаю в кресле.

Когда открываю глаза, на стене колеблется белый квадрат, лента давно кончилась. Второй час ночи... Завтра рано вставать, да где завтра, уже сегодня...

Утром на автобусной остановке толпятся почти все жители нашего рабочего поселка, и часто автобус проносится мимо, заполненный до отказа на предыдущих остановках. Мы разочарованно смотрим вслед исчезающему островку тепла с мягко светящимися окнами. Еще совсем недавно, этой осенью, я вставал много раньше: мне надо было до начала

работы отвезти сына в детский сад. Нас пропускали вперед, мы пролезали поближе к шоферу, и нам были видны приборы с качающимися стрелками и блестящая от дождя дорога. Сегодня эта дорога припорошена снегом, засыпавшим темные колеи.

Холодно. Ждать следующего автобуса — наверняка опоздать. Значит, надо идти через поле, по снегу, почти бегом...

Не успеваю я войти в кабинет, как поток заводских дел захватывает меня. Он бесконечен: телефонные звонки, жалобы, просьбы, требования. Мастера, строители, сварщики — у всех что-то срывается... Листок откидного календаря весь исписан: в 10 часов — собрать докмейстеров, 12 — совещание по плану, 15-30 — расширенное заседание завкома, разобраться со сваркой переборок на плавбазе «Тунгус», заказать машины с бетоном для пирса, позвонить Крутову... да, обязательно позвонить в цех, где он работал. Что там с ним случилось?

Из окна кабинета видны бетонные башни доков и наклонный стапель. По башням движутся краны. Их перемещения хорошо заметны, пока они не доползают до середины дока — там их стрелы теряются, перепутываются со стрелами корабельных мачт. В каждом доке стоит по судну, только первый док пустой, но и там плотники готовят деревянные клетки для очередного докования. На остальных доках идет очистка судов. Надсадно воют турбинки, даже через закрытое окно проникает их жужжание. Ржавое облако повисло в пролете пятого дока, ржавчина опадает на снег, поэтому снег около доков желтый, льдины в акватории тоже желтоватые, подтаявшие — конец февраля...

Никак не могу привыкнуть к новому месту. Еще в прошлом году я был всего лишь мастер в доках: ночные постановки судов, швартовки в ветреную

погоду, заводки буксирами траулеров, утративших ход,— всё это работа на воздухе, и кругом вода. А теперь вот, в кабинете. И здесь — без дождя и без снега, и без желтоватого вихря окалины — не легче, все на нервах. А сегодня к тому же — день полочки. Бригады норовят закончить работу пораньше, ссылаются на что-нибудь: например, на то, что кончились электроды, при этом в трюме все равно нельзя работать — смежники не разобрали изоляцию, и даже если подвезут электроды, сварку наверняка запретят пожарники. А причина этих отговорок одна — надо занять пораньше очередь у кассы. Уже с обеда бригадиры посылают к ней своих гонцов, хотя сколько раз осуждали и обсуждали эту суету! Договорились же раздавать деньги в конвертах, по цехам, по бригадам, но для этого надо все подготовить заранее, а кому-то, видно, выгоднее томить и унижать людей стоянием в очереди за своим заработком... Рабочие перед кассой стоят, жены — за проходной, а иные даже сюда, в цех, добираются. Вот, Мельникова — та с утра по телефону: «Борис Гаврилович, я сегодня во вторую смену, я подойти не смогу, задержите выдачу моему идолу, не давайте ему денег, не донесет он домой, по дороге спустит...» — «Поймите, не имею я права...» Нет, надо все-таки поговорить с Мельниковым, сколько же может это длиться. «Успокойтесь,— говорю в трубку,— я его вызову». — «Устройте меня к себе в цех, тогда и вам, и мне спокойнее будет». — «Я же объяснял — нет мест». — «Ваша-то жена рядом работает!» — в голосе ее обида. «Работала», — говорю я.

В том же здании, где расположен мой кабинет, в соседней комнате сидела моя жена. Через тонкую стенку слева отчетливо слышен стук арифмометров. Везде давно электроника, а у нас по старинке. Что сделаешь, наш главбух признает вообще только сче-

ты, а у подчиненных на столах техника тоже недалеко вперед ушла, вот и крутят ручки своих допотопных аппаратов. Теперь мне незачем ходить к ним, если что-нибудь надо выяснить по бухгалтерской части — посылаю секретаршу.

Сегодня исполняется ровно полгода с того дня, как моя жена уехала в свой белоцерковный Киев, вернулась в родительский дом, к родным пенатам...

Мы расстались без ссор и взаимных упреков. Перед отходом поезда долго сидели в полупустом привокзальном ресторане. Официантки, сгрудившиеся у буфета, шумно переговаривались. Диктор громко вещал об отправлении очередных поездов. Сын наш, как большой, восседал за столом и радовался необычной обстановке и обилию сладостей. «Ты не передумала, Альбина?» — спросил я у жены. «Я никогда не вернусь, об этом не может быть и речи, я устала», — ответила она и отвернулась. Слезинка, чуть размазав тушь на ресницах, скатилась по ее щеке. Наверное, действительно, она слишком устала...

Была у нас своя квартира — целых две комнаты в коммуналке — но мы так редко оставались наедине! Постоянно у нас на раскладушке кто-нибудь ночевал: то приятель, приехавший из столицы отдохнуть у моря, то земляк-художник, ожидающий открытия выставки, то просто друзья, не находящие покоя в собственном доме. Но когда-то мы ведь так и мечтали жить. Студентами снимали угол в Ленинграде на Загородном проспекте и представляли — вот уедем по распределению, получим — свою! — квартиру, будет дом у нас всегда открыт для друзей. Там, в Ленинграде, нас стесняло и мучило то обстоятельство, что жили мы на птичьих правах, и если приходил кто-нибудь в гости, то разговаривали все полупешепотом, а к полуночи вынуж-

дены были обязательно прощаться — хозяйка наша очень опасалась соседей.

И вот теперь, когда заимели свою квартиру, поначалу решили: заживем настоящей жизнью... И меня, и Альбину в равной мере привлекало искусство — это и определило круг наших знакомых. Альбина, например, была увлечена литературой — всех писателей двадцатых годов знала от и до, я же в то время кропал фантастические рассказы, и все говорили, что в них что-то есть, потом занялся живописью и наконец — кинокамерой... Жизни вне этих увлечений мы не представляли. Казалось обыденным и слишком примитивным работать на заводе и переживать только за эту работу, только в ней реализовывать себя. Надо ведь и после работы что-то полезное делать! Сидение перед телевизором — это казалось нам признаком мещанского уклада, и потому телевизор мы так и не приобрели, принципиально. Но с появлением сына Альбина как-то сразу отошла от всех литературных поисков. Ей продолжали идти письма: ответы на запросы из архивов, из музеев — она иногда даже не распечатывала их. Письма вскоре иссякли. Но число друзей не убавлялось. И это возымело свое действие.

Последней каплей, переполнившей ее терпение, стало появление в нашем доме некоего Кобруда. Нелепый человек, часто протирающий запотевавшие стекла очков и постоянно размахивающий при разговоре непомерно длинными руками, сразу не понравился Альбине. А я поддался какому-то гипнозу, исходящему из его иссиня-черных глаз, я принял его за настоящего поэта — ведь в руках он держал свою книжку, пусть изданную на ротапринте, но свою! К тому же прибыл он к нам из далеких казахских степей — не мог же я выставить его на улицу! По вечерам он нед нам долгие протяжные песни чаба-



нов, при этом, раскачиваясь, кружился по комнате и все повышал и повышал голос, нисколько не реагируя на раздраженные стуки соседки в стену. Соседка считала, что ей крупно не повезло с квартирой. Частые приходы к нам незнакомых людей и наши шумные разговоры вызывали, как она утверждала, мигрени, и все это выливалось в неприязнь к моей жене. На кухне они не ладили. Кобруду же все это объяснять было нелепо: он, понятное дело, в своих ковильных степях с подобными нюансами никогда не сталкивался.

Мы убегали по утрам на завод, а он, оставаясь по целым дням дома, писал стихи на маленьких листках, вырванных из блокнота, и потом мы находили эти листочки по всем углам.

Частенько поздно вечером заявлялся Ваня Крутов. Они подружились. Ваня, вот уж не ожидали от него такого, даже сочинил эпиграмму: «Все графоманы перемрут, и вместе с ними друг Кобруд». Гость наш почему-то нисколько не обижался на Ваню, потому, наверное, что мы засыпали под чтение его стихов, а Ваня мог слушать часами, не перебивая, и голубые Ванины глаза теплели, видно, душа у него в такие вечера оттаивала...

И все было бы хорошо. Не очень-то мешали они нам, хотя Альбина как чувствовала, что добром это не кончится. Ваню она еще терпела — все-таки выручил ее когда-то, а вот Кобруд почему у нас обосновался? Она и так намекала ему, и этак, что пора, мол, подумать о работе, о жилье — но наш гость пропускал все намеки мимо ушей. Казалось, он будет теперь жить у нас вечно, но вот однажды, придя с работы, мы застали в своей квартире сцену невероятно шумную и унижительную. В дверях стоял рыжеусый милиционер, рядом с ним соседка, осуждающе посмотревшая на нас, а бедный Кобруд

тщетно пытался в наших апартаментах скрыться от возмездия. Крупная и широкоскулая женщина схватила его за рукав пиджака, извергая на его голову проклятие за проклятием. Милиционер ей не понадобился, она сама выволокла Кобруда из нашего дома.

Из ее громкоголосых, не совсем связных речей мы поняли, что в степях, где они жили, эта женщина, его жена, устроила Кобруда завклубом, а он, бездумно растратив деньги, отпущенные на обустройство очага культуры казахского села, купил ротапринт, напечатал на нем свою книгу, а затем, закрыв клуб на амбарный замок, исчез. За все это теперь его ждала расплата.

— Вот видишь, видишь,— не выдержала тогда моя жена,— видишь, кто к тебе липнет — бичи и тунейдцы! Его милиция ищет, а ты его еще защищаешь!

— Но ведь у него есть неплохие стихи! Он же поэт! — тщетно пытался я оправдать гостя.

— Ты что,— хочешь, чтобы и нас выселили из-за этого авантюриста? — не успокаивалась Альбина.— Или ждешь, когда мое терпение лопнет?

— Ну что за трагедия! Приехал человек в незнакомый город, пока не устроился, так ведь и ко всем приезжают,— продолжал я,— и к тебе тоже!

— Приезжали,— возразила Альбина,— а когда родился Алик, все мои знакомые поняли, что ребенку нужно внимание, и я не могу разрываться!

Я не стал Спорить, хотя можно было, конечно, напомнить ей собственную подругу Тату: уже и Алик был, когда та нагрянула, причем жила у нас больше месяца, но что доказывать — ясно, случай с Кобрудом не из приятных...

Неделю после выдворения Кобруда мы не разговаривали, и за эту неделю она успела списаться, со-

звониться со своей мамой, и все решилось как-то само собой и очень быстро.

И вот странно. Уехала Альбина, и гости перестали появляться. Рассыпалась, распалась компания. Что ж, будем привыкать к собственному обществу. Что остается? В конце концов работа — это тоже не так уж мало. Я все время на заводе верчусь, как заведенный: звоню, приказываю, от меня чего-то требуют, я тоже требую, подписываю бумаги...

Особо скучать времени нет. До совещания еще полчаса — надо самому посмотреть, как там у них на пирсе, сдадим ли сегодня гребные винты. Я почти бегу по бетонной площадке. Женщины на красных автокарах обгоняют меня, машины, груженные металлом, пыхтят на поворотах. Медленно у ближнего причала погружается первый док. Вот уже темные языки воды двинулись на Стапель-падубу, вот сошлись у килевой дорожки ровно по центру пространства. С шипеньем рвется воздух из специальных отверстий, которые как бойницы чернеют на самом верху башен. Команды, усиленные динамиком, резки и отрывисты. По деревянному настилу я подхожу к снятому трапу и среди рабочих, не успевших перелезть на док, вижу Мельникова. Здоровенный детина — спецовка в обтяжку, руки торчат из рукавов, а лицо усталое, помятое.

— Мельников! — окликаю его.

Он повернулся в мою сторону, кивнул и подошел, глядя поверх меня на залив, где по краям дока бурлил воздух, отгоняя от бортов грязноватые льдины.

Я стал доступно объяснять ему, что семья ждет его заработка, что у него есть обязанности перед детьми и женой, что за прогул ему уже сняли премию, а если дело и дальше так пойдет — придется расстаться с цехом... Я говорил все это и думал, а имею ли право на такую нотацию: ведь я моложе его

на добрый десяток лет, к тому же и сам потерял семью... И Мельников, видимо, почувствовав мое состояние, перешел в наступление:

— А что! Виноват, кругом виноват, только Мельников виноват! Хотите выгнать — валяйте! Да я и сам уйду. Меня в любом цехе с руками оторвут, а пить мне или не пить не ваше дело,— что вы мне как школьнику морали читаете!

— Борис Гаврилович! — разнеслось по трансляции. Это докмейстер из пульта управления дока разглядел меня на пирсе.— Борис Гаврилович, ведь сто раз предупреждал: не буду брать суда с таким креном, а они уже ведут! Опять вы разрешили!

Я отчетливо представляю, как нервничает там наверху, в доке, окруженный своими помощниками докмейстер — сам больше года проработал на его месте. Знаю, как трудно ставить в док судно с креном, но этот докмейстер, по прозвищу «Мальш», уж слишком осторожен, хотя малышом его за рост окрестили: метра два, не меньше, вымахал.

Я возвращаюсь в кабинет и отсюда звоню ему. Объясняю терпеливо:

— Судно не может сидеть идеально на ровном киле, оно ведь без груза, — сами требуете, чтобы топливо было полностью откатано, у вас же все по инструкции, а на крен надо дать поправку, ничего страшного...

Он знает все это не хуже меня, просто страшется: если вдруг будет не так—то предупреждал ведь... Поэтому применяю его же тактику:

— Учтите, что в прошлый раз было смещение, проверьте тщательнее величину поправки и следите за прогибомером. Крен можете подравнять, если будет больше трех градусов,— подадите шланги и своими насосами плюхнете тонн пять-шесть водички. Затратите час, ничего, не большая это задержка...

Я дождался, пока заведут судно, пока прихватят его на клетки, подписал задание бригадам на завтра и не спеша пошел к проходной.

Перед проходной, на втором этаже управления, касса. К ней ведет дощатая лестница, которая сейчас вся заполнена рабочими — крики, толкотня...

За проходной широкий холл, у стен женщины молча провожают глазами каждого выходящего, ждут своих кормильцев. У самой двери стоит мальчик лет десяти, в мичманке, насупленный, а рядом девочка, помладше его, худенькая, с конопушками на носу.

— Кого ждешь, малыш? — обращаюсь я к мальчику, задержавшись у двери.

— Батю, — угрюмо отвечает он.

— А как твоя фамилия?

— Мельниковы мы, — вмешалась девочка и косо посмотрела на меня: мол, что за любопытство у этих взрослых...

— Отца Петром зовут?

Она кивнула.

Я вернулся и позвонил в кассу: попросил, чтобы дали Мельникову зарплату без очереди...

В ближайшем магазине без проволочек купил банку сардин, хлеб, бутылку кефира и очень удачно сел в свой автобус, благо остановка была как раз напротив магазина...

На кухне соседка варила борщ, пахло по-домашнему томатами и капустой. Теперь ей раздолье — не на кого злиться. Все конфорки на газовой плите в ее распряжении, я лишь изредка ставлю чайник. О чем говорить со мной, она не знает и только вздыхает тяжело.

Комнаты мои стали незаметно приобретать какой-то нежилой вид. Пусто. Ваня Крутов куда-то уехал, так я и не выяснил — куда, найти по теле-

фонам его не удалось, никто ничего толком не знал... Мой друг Чермак — художник, в который раз влюбился, и ему стало не до меня. Исчезло вместе с женой то, что, видимо, притягивало к нам, делало наш дом теплым очагом, оазисом в неустроенном мире наших друзей. И вот опять вечер, и снова я один. Выпиваю несколько чашек чая подряд и удобно усаживаюсь на диване. На окне вместо штор висит простыня. Я настраиваю проектор, медленно ползет лента. Простыня оживает. На этот раз пленка цветная, из особо технически удавшихся,— все так четко снято, что можно сосчитать лепестки на ромашках. Равномерный стрекот проектора заполняет комнату: вот опять мы все вместе — я, жена и малыш...

Когда просыпаюсь, то вижу — на моем диване сидит соседка и вздыхает, при этом ее высокая грудь тяжело поднимается и опускается.

— Анна Ивановна, вы что? — спрашиваю я и удивленно смотрю на нее.

— Ах, Боря, извините, я пришла выключить вашу машину. Она не дает мне спать, вы же знаете, у меня адские головные боли...

На ней роскошное переливающееся платье и янтарные бусы до пояса.

— Спокойной ночи,— говорит она и чего-то ждет, потом не спеша приподнимается с дивана и идет к двери. Переступив порог, оборачивается:

— Вы, Боря, непременно должны дать телеграмму жене, неужели это так трудно! Напишите, что ждете, и все...

Лето, как всегда, раздражает неосуществленными возможностями. Жить у моря, рядом с чудесными пляжами и не иметь времени вырваться туда, обидно, но именно летом доки загружены под самую завязку: рыбацкие конторы стремятся в эти месяцы

поставить флот на ремонт. Такая уж сложилась практика. Летом с кадрами для морских рейсов, да и с рыбалкой — туговато. Весной и осенью другое дело — путина, рыба идет.

Лето — время гостей. Они сменяются чуть ли не каждую неделю: среди них есть и давние друзья, и просто знакомые, не принять которых просто неудобно, но в это лето меня как-то никто из них не радует: очень устаю, прихожу поздно, слушаю, почти не вмешиваясь, их споры и часто засыпаю, не дождавшись конца разговоров...

И вот, наконец, поток гостей иссяк. Осень, мое любимое время года. Под окном у меня налились красным соком сливы, на большой корявой яблоне, как всегда, полно крупных желтых яблок. И вдруг в эту осеннюю благодать врывается весть из Киева — откритка с обозначением дня, рейса и часа...

Я приехал на аэродром рано утром. Самолет прилетал в четыре. У меня был вагон времени. Дул сильный пронизывающий ветер. Шоферы такси собрались в одной машине, хохочут. Двенадцать частных легковушек вразброс стоят на бетонной площадке, на краю которой врыт столб со знаком остановки. Две женщины прячутся от ветра за одной из машин, ветер вырывает из их рук цветы...

Через час началась посадка в очередной самолет. Я подошел к ограде и прижался к металлической решетке. Автобус с пассажирами несколько запоздал, и люди с тюками и портфелями выпрыгивали из него и бежали к самолету прямо через летное поле. Казалось, они хотят опрокинуть воздушного гиганта, пока тот не взлетел, пока неуклюже и бессильно распластался по земле. Но на пути спешащих людей стояла тоненькая стюардесса и каким-то непостижимым образом останавливала их напор.

Наконец последний пассажир исчез во входном проеме. Трап убрали, заработали, загудели моторы. Дав круг по заросшему полю, самолет разогнался на невидимой бетонной полосе и поднялся в воздух. Вначале он был похож на рыбу, полную молоки, потом стал уменьшаться, превратился в стрекозу, потом в комара и, наконец, в точку...

Я пошел к небольшому домику с окнами, защищенными металлической решеткой. Наверное, здесь хранят почту. Около дома грязная деревянная скамейка. Я сел на нее и стал смотреть на летное поле, где за густой травой виднелись застывшие серебристые самолеты. Ветер продувал меня насквозь.

Я представлял жену и сына, которые сидят сейчас в летящем самолете, тесно прижавшись друг к другу. Их здорово, должно быть, болтает в воздухе — пошли на снижение, осталось полчаса до посадки. Вот проходят белые ватные облака. В иллюминатор ничего не видно, но все пассажиры полны ожиданием того мига, когда самолет прорвет пелену и под крыльями качнется земля. Сын, наверняка, нервничает. «А папа какой?» — спрашивает он, потому что забыл меня. Альбина, нахмурившись, молчит. Ей сейчас сложно что-то ответить.

И вдруг я понял, что когда она сойдет по трапу, мы не сможем сказать друг другу ни слова. Между нами опять возникнет стена отчуждения, потому что жена почувствует мою тоску, она обязательно передастся ей, и слова застынут в воздухе, повиснут над заросшим полем аэродрома, застрянут в раскачиваемых ветром деревьях. Зло имеет способность скапливаться, наслаиваться. И, чтобы как-то настроить себя на встречу, я стал вспоминать места, где нам было хорошо.

Вот уютный дом Яши Войновича — завмага в Ленинграде. Он ее двоюродный брат. Юркий лысый



человечек. Обычно по вечерам огромная, как две перины, жена уводила его в театр или ресторан. Он был всегда такой задержанный, что наверняка засыпал там, и напрасно дирижер оркестра призывал на помощь литавры... Но нам не было дела до его мучений. В эти вечера мы с Альбиной оставались с маленькими дочками Войновича. И в награду за это — нам, обитателям студенческих общежитий, давалась в распоряжение огромная, вся в люстрах и коврах, завмаговская квартира. Моя будущая жена рассказывала тоненьким голоском сказки дочерям Войновича, я же втайне молил всех богов, чтобы они поскорее ниспослали на этих неутомонных бестий сладкие сны. Но я любил и эти вечера, эти сказки и могу пересказать их даже сейчас. Когда же в те далекие времена под эти сказки утихали маленькие дочки Войновича, у нас оставалось часа два времени, и это была самая волшебная сказка.

Потом зимой мы сняли дачу в Кавголово — пустующий холодный домик — это был наш первый собственный кров, и мы радовались всему существу — и огню, полыхающему в кафельной печке, и тому, что вокруг снег, и тишине. Утром занесенную снегом дверь невозможно было открыть и приходилось расчищать проходы к дому фанерной лопатой. По воскресеньям целые орды лыжников сновали вокруг, и мы тоже стали лыжниками. На настоящие финские лыжи ушла вся моя стипендия, и мне пришлось ночами грузить смолистые доски на товарной станции...

Да, самые длинные и счастливые годы были до свадьбы, потом пошла другая жизнь, и, хоть убей, не различить, где кончилась одна и началась другая. Потому что ведь и после свадьбы было тоже прекрасно, — и общие увлечения, и веселые компа-

вии, и удивительные ночи на веранде у моих родственников в маленьком городке, где я родился. В то сухое и безветренное лето сквозь застекленную стену между листвой вишен были видны звезды, и одурманивающе пахло сеном и душистыми травами, приготовленными для кроликов. Клетки для них стояли прямо у стенки веранды.

Но и Кавголово, и лето в моем городе были слишком далеки, и на счастливые дни наслаивалось то, о чем не хотелось думать — наши ссоры, ее отъезд, долгое молчание... И все это заставляло предполагать, что встреча наша ненадолго будет радостной, и вполне может стать так, что мы не найдем нужных слов уже здесь, на аэродроме. И молча сядем в такси, и только сын будет задавать вопросы и тормозить нас, а когда приедем и уложим его спать, станет невыносимо ощущать присутствие друг друга, и мне придется накинуть куртку, чтобы отправиться искать приюта у друзей, как раньше искали они его у нас.

...Я и не заметил, как приземлился самолет. Когда он внезапно возник перед моими глазами — к нему уже подкатывали трап. Я заспешил через поле к тому месту, где толпились встречающие. Видимо, я довольно быстро бежал, потому что неожиданно очутился впереди всех и даже попытался взойти на трап.

— Назад, молодой человек, минутку терпения,— сказал летчик, первым ступивший на землю.

Наконец дверца раскрылась, и по одному стали появляться пассажиры, уж слишком медленнодвигающиеся по ступенькам.

И вот показался мой сын. Он шел степенно, зажав под мышкой пеструю коробку. На нем был новый симпатичный костюмчик, на кудрявых волосах аккуратно сидел синий берет.

— Алик, привет! — закричал я.

— А у меня игра! Папа, у меня новая игра!

Прямо за ним ступала Альбина. Я взял ее за руку. Лучше всего ничего не говорить, ничего не выяснять, само собой все прекрасно образовывается.

Какой-то рябой мужчина извлекал из чрева самолета и ставил около нас чемоданы и корзины. Добрый десяток из них, как оказалось, был нашим. Киев, как всегда, щедро снабдил всевозможной снедью. Я сделал три ходки от самолета до такси, и даже Алик отнес кошелку с яблоками.

В такси мы поцеловались. Сын уселся рядом с шофером и стал бойко рассказывать тому про киевские аттракционы и про то, как бабушка потеряла его в парке, а он сам нашел дорогу домой.

— Ну как ты здесь без меня, скучал? — спросила Альбина.

— Очень, — ответил я, — очень...

— Что-то не верится.

— Я не просто скучал. Я заразил тоской весь город.

— Бери яблоко, смотри, какое сочное, — предложила она.

И дома у нас было все хорошо — и разговор складывался, и Альбина повеселела, а вот вечером не повезло. Как будто сговорились: сначала приехал мой друг-художник, потом наш давний приятель-доцент, увлеченный ламинариями, да не один, а с каким-то своим земляком, завзятым театралом. Нам так хотелось с Альбиной побыть наедине, но куда денешься — обстоятельства опять были сильнее нас. Тем более гости так искренне выражали свою радость по поводу нашего примирения, так кипели восторгами, поздравляя меня с окончанием холостяцкой жизни, что обижаться на них было грешно.

И во время импровизированного застолья говорили все вразнобой, каждый вел свою арию, не очень-то вслушиваясь в музыку оркестра. Театрал, потрясая рыжей бородой, восхищался актерами из Прибалтики, дающими последние спектакли в нашем городе, и доказывал, что сцена должна быть расположена в центре зала. Доцент обещал разрешить для человечества проблему питания при помощи подводных плантаций...

— Все как было! — с горьким сожалением констатировала Альбина.

— Аля, они сейчас уйдут, сейчас... Какое-то нелепое совпадение... я их сто лет уже не видел. С тех пор почти, как ты уехала!

Мы взяли сына и незаметно вышли в сад. Было необыкновенно тихо. Яркие осенние звезды усыпали небо, постепенно гас свет в окнах — в поселке рано ложатся спать. Альбина молчала. Малыш, сидя у меня на руках, смотрел на звезды.

— Папа, где та звезда, на которой живет маленький принц? — спросил он.

— Смотри внимательно туда, — я показал в направлении созвездия Лиры, — смотри получше, ты ее обязательно увидишь, вон в том треугольнике почти прямо над головой.

— Ты сейчас же пойдешь и скажешь им, что мне надо укладывать сына спать! — неожиданно резко и требовательно сказала Альбина.

Я, конечно, чувствовал себя в чем-то виноватым, но почему такой безапелляционный тон...

Так что-то и не заладилось у нас прямо со дня встречи. Кончилась осенняя благодать, наступил ноябрь, задули порывистые западные ветры. Доки раскачивались на швартовых, то натягивая мощные канаты как струны, то отпуская их настолько, что те провисали и скрывались под водой. Все это вызы-

вало необходимость частых появлений на заводе по ночам. Зато дома стало спокойнее.

По вечерам теперь часто мы оставались в квартире одни. Соседка уехала к двоюродной сестре, и была надежда, что она останется там навсегда — наметился у нее в тех краях серьезный роман с каким-то отставником-полковником. Ваня Крутов вообще исчез из города. От него пришло письмо из Тюмени — он устроился там на приисках и звал к себе. Мой друг Чермак опять влюбился и собирался в этот раз жениться, так что ему было не до нас. Новых друзей больше не прибавлялось.

Альбина устроилась на завод, на то же место в бухгалтерию, где она работала до отъезда, и в общем, впечатление было такое, что она никуда и не уезжала, однако отношения наши не складывались до одного несколько странного случая.

В этот день я пришел с работы пораньше и молча уселся за книгу, не пытаясь даже заговорить с Альбиной. Она уложила сына и тоже взялась за книгу. Поздно вечером, часов в двенадцать, я пошел на кухню заварить чай. Все уже давно спали в нашем рабочем поселке. Ветер наконец оставил в покое побережье, и было так тихо, что слышалось жужжание какой-то мошки или комара над умывальником. Потом это жужжание приблизилось и слилось с тонким гудением электрической лампочки. Альбина в соседней комнате продолжала читать, — кажется, у нее в руках был томик ее любимого Олешки. Дверь в комнату была раскрыта, и шуршание переворачиваемого листа перекрывало все остальные звуки.

Мы уже неделю почти не разговаривали друг с другом. Это нелегко — находиться вдвоем с любимым человеком и назло ему молчать. А поссорились-то так, из-за пустяка. Даже не помню, кто первым на-

чал. Просто я на заводе здорово взвинтился. Причиной тому были и ветер, мешавший доковать суда, и, главное,— постоянные срывы работ нашими заводскими чинушами. Мало их сидит в заводууправлении, так теперь, оказывается, и у меня под боком достойный бюрократ появился. Мой подчиненный — докмейстер первого дока, опять отколол номер — сам пошел к пожарникам и попросил запретить на судне огневые работы, а те с удовольствием — выступили пятой колонной, как сговорились все! Но этот докмейстер — хорош гусь, далеко пойдет! Видите ли, справку ему капитан не дал об отсутствии топлива на борту. Так поднимись из-за стола, пойдди на судно, разберись, а потом уже к пожарникам беги! А то запрещать у нас все мастера, а ответственность на себя взять — это увольте! Или наобещают, а не сделают. Это тоже в порядке вещей. Вот, начальник такелажного цеха Шелепов — гарантию давал, что шлюпки отправлены, а сегодня выяснилось, что до сих пор к их ремонту и не приступали. Когда же вызвал главный инженер и спросил, где шлюпки, сделал этот Шелепов такое удивленное лицо, будто первый раз о них слышит. И главный инженер мне же еще и выговорил: «Устную гарантию к делу не подошьешь, зря вы, Борис Гаврилович, пренебрегаете документами, надо было потребовать акт о сдаче, нет акта — написали бы рапорт или письмо — напоминание тому же Шелепову». Выходит, надо письма писать человеку, который в соседнем кабинете сидит и по должности обязан отвечать за свои слова. Вот и переругались мы все у главного на совещании, а результат — сданное судно в порту, никакой портнадзор его без шлюпок не выпустит — и всем безразлично, что с ним дальше будет. С завода ушло, деньги за ремонт получены, и на бумаге все в полном ажуре...

В принципе, обычная каждодневная суэта, обычные неувязки, а привыкнуть не могу. Не могу, как некоторые коллеги, выйти за проходную — и все забыть!

И дома нет лада, вот что главное. Уже за полночь, а не спится, попробуй завтра вовремя подняться...

Надо просто не принимать все близко к сердцу, ни о чем не думать и пить чай, крепкий чай всегда успокаивает... Вьется парок, медленно оседают на дно чайники. Я делаю глоток горячего чая и кричу неожиданно для себя в пустоту комнаты: «Пора спать, хватит дуться!»

Молчание было мне ответом.

Прошло еще полчаса, тишина просто давит меня, она кажется липкой, как паутина.

Неожиданно за окном послышались отдаленные гулы, как будто взрывали что-то, но вдалеке, где-то километрах в сорока от поселка. Потом гул стал явственнее — он надвигался все ближе, ближе...

Альбина пришла из комнаты, встала за моей спиной и насторожилась.

Снова все стихло.

—Что за странный звук? Взорвалось что-то, и опять тихо...— сказала она.

Я не успел ответить, как новый удар буквально расколол тишину ночи.

— Гром, наверное,— предположил я.

— В ноябре? — недоуменно пожала плечами Альбина.

Мы опять прислушались.

Может быть, рвут какие-нибудь старые мины. Как пишут в газете — уничтожают следы войны. Здесь, в нашем городе, таких следов полно. А если нет, если...

И я совершенно ясно представил, как где-то у

границы уже суетятся ракетчики, растаскивают маскировочные сети и открывают тяжелые люки, а из-под земли выдвигаются огромные стальные сигары, направленные для ответного удара. Я отчетливо увидел всю эту картину... и то, что сейчас Начнется здесь, у нас в поселке, в городе, на заводе. Мог я это представить, потому что помнил начало прошедшей войны...

Мне было тогда всего ничего, каких-то три года, но в памяти осталось—ш то, как не хотели мы бросать свой дом, и как бабушка кричала и билась у зеркала, и как ее силой тащили из комнаты, и длинный страшный путь до Урала... Во время налетов люди бросались из вагонов, и тени черных крыльев пересекали придорожные поля — беженцев косили из пулеметов, как траву. Только через несколько дней этой кровавой дороги мать поняла, что глупо выбегать из вагона, и стала засовывать меня и совсем еще маленькую мою сестру под нары, а сама ложилась на нас сверху, чтобы защитить своим телом от случайных осколков. Горящие эшелоны, стоны раненых, полыхающие адским пламенем цистерны и страх, которого, может быть, и не было у меня тогда, но который потом, задним числом, я не раз ощущал...

Тогда-то мы уцелели, был все-таки какой-то шанс выжить. От атомных бомб не укрыться под нарами. Может быть, где-то рядом уже растет смертельный гриб, взмывает вверх, вкручивая, втягивая в себя и дома, и машины, и людей, расплавляя в себе и испаряя все живое и неживое. И от людей остаются на земле только тени. Еще мгновение назад мучились чем-то, страдали из-за пустяков, надеялись, и вот — ничто... И взрывная волна, сначала световая, потом взрывная, может быть, уже неостановимо движется сюда. Эти волны и воздух заражены не-



видимой смертью — радиацией... Нет, ну что это я запаниковал, нет, этого не должно быть, никогда не может быть в нашей жизни, с нами не случится... Вот стихло опять — и ничего...

И вдруг снова резкий грохот, как обвал, как будто гряда металла скатилась с горы,— на этот раз совсем близко. Проснулся сын, Альбина бросилась успокаивать его. Я пошел за ней в комнату и включил приемник. На всех волнах — только потрескивания.

Снова где-то бухнуло. Малыш вздрогнул, что-то простонал и затих.

— Уже два часа ночи, наверное, просто ни одна станция не работает,— сказал я, чтобы успокоить жену.

— Так не бывает,— возразила она.

Мы погасили электричество и стали вглядываться в темноту за окном. В доме напротив зажегся свет... Раскаты нарастали, и вот в темном небе, где-то в промежутке между деревьями сверкнуло ярко и резко, и голые ветви деревьев отпечатались вспышкой, как на негативе фотопленки.

— Молния! Молния! — закричала жена.

Вспышка повторилась. Через несколько секунд после нее все снова задрожало от грохота, и по окнам застучали первые капли дождя. Забулькало в трубах, зашелестело в саду, разряды стали громче, перешли в сплошной грохот.

Я обнял Альбину, и она сказала:

— Как хорошо... гроза! Ты даже не представляешь, как я испугалась, чего только не передумала!

— Ерунда, я был уверен, что это гроза,— сказал я.

— Какие мы глупые! — сказала она.

Я еще крепче обнял ее. Дождь стучал в окна

все сильнее. Я распахнул створки рамы, и, хотя было холодно, мы высунулись и подставили ладони под потоки воды, стекающей с крыши...

Мы с женой часто вспоминаем ту грозу, так напугавшую нас и в то же время соединившую. С годами все больше понимаешь, что в жизни невозможно выстоять в одиночку. В любые — хорошие и тяжелые времена и дни должен быть рядом человек, который всегда воспримет твою исповедь и поймет тебя. И если дом твой притягивает друзей, это тоже значит немало. Квартира у нас теперь отдельная, большая, всем хватает места, у сына своя комната — там обычно полно его друзей. Они спорят, шумят, — точь-в-точь как и мы в прежние годы... Нет, пожалуй, много резче. Иногда мы сходимся в гостиную, я достаю проектор — и все вместе, и друзья сына, и наши друзья, молча смотрим старые беззвучные ленты...

# ЗАБОТЫ ЛЕШИ ВИСЛИНА

## 1. Или я, или Вислин

Лёша Вислин работал матросом на катере «Шквал» в рыбном порту. «На малом каботаже», — как объяснял он друзьям. Катер помогал буксирам, когда те перетаскивали огромные белоснежные плавбазы или проржавевшие в тропических рейсах рыбацкие траулеры, заводили суда в доки, поджимали к причалам. Катер в таких случаях был незаменим. Он юрко крутился возле буксиров, помогал подать швартовы, а при необходимости упирался тупым носом в борт судна и, отчаянно бурля, направлял движение беспомощной океанской громады. Но однажды катер зажало между бортом судна и причалом, и еще бы самую малость — могло и раздавить в лепешку. Хорошо на буксирах заметили вовремя, держали судно. Конечно, страху на катере хватило, да и фальшборт основательно помяли. Все это произошло, как утверждал седоусый и крикливый капитан катера по фамилии Молибога, по вине Леши Вислина, которому штурвал можно доверить только по недомыслию. И вот результат!

В тот же вечер Молибога пришел к начальнику плавсредств Дорину и сказал:

— Товарищ Дорин! Или я, или Вислин!

И Дорин, конечно, выбрал Молибогу... Капитанам очень-то не пошвыряешься — не так уж много

дипломированных капитанов в портофлоте. Потом Дорин долго думал, куда послать Вислина, хотя у него в эти дни было много других важных и очень срочных дел. Тут как-то очень кстати зашла к нему в кабинет Анастасия Ивановна — крупная громкоголосая женщина, заведующая портовым складом, и прямо с порога заявила:

— Вот, товарищ Дорин, вы ругаете меня, что нету краски для буксиров, но поймите меня правильно — я старая больная женщина и не могу сама погрузить эту краску!

Дорин посмотрел на ее румяное лицо и, довольный тем, что в этот раз может хоть чем-то ее порадовать, сказал:

— У вас будет помощник, Анастасия Ивановна, хороший и добросовестный помощник — Леша Вислин.

— Знаю я Лешу Вислина,— сказала она,— знаю я его, даже очень хорошо знаю!

— Вот и прекрасно,— заключил Дорин.

Теперь Леша Вислин сидел в уютной и теплой комнате, так называемой «конторке». Сразу за нею были складские помещения с многочисленными стеллажами. В конторке вкусно пахло завтраками, которые приносила с собой Анастасия Ивановна. Рядом со своей новой начальницей Леша Вислин казался лилипутом. Когда, к примеру, он нес бочку с краской на плече, край ее не доставал до головы этой женщины. Если Анастасия Ивановна бывала в хорошем настроении, то заразительно смеялась,, хлопала Лешу по плечу так, что у него подгибались коленки, и говорила басом:

— Ну какой ты мужчина, Вислин, пойми меня правильно...

Леша не обижался на Анастасию Ивановну: она,, в принципе, хорошая тетка, просто жизнь у нее

нелегкая, одинокая, потому и зачерствела так. Хитрить она, правда, любила, но кладовщице без этого нельзя, а она работала на складах уже много лет. Раздать-то все можно просто, а вот попробуй достань: здесь без настырности и опыта не обойдешься.

Леша работой был доволен, старался, как мог: и стеллажи покрасил, и лестницу приставную починил, и электропроводку исправил. Анастасия Ивановна нахваливала всем своего нового помощника. Но однажды на склад пришли водолазы. Они были в серых грубошерстных свитерах и громко спорили, а их старшина Филипп Быков, молодой парень со скуластым лицом, ударил по столу ладонью и сказал:

— Спирт разбавлен!

— Она обманывает нас! — поддержали его остальные водолазы.

Сам Дорин пришел с ними на склад, потому что водолазы были его любимцами и для промывки шлангов им по закону полагался настоящий спирт, а не гремучая смесь. Их аппаратура должна быть на совесть промыта: работа у них тяжелая и ответственная. Дорин попробовал спирт, почмокал мясистыми губами, потом капнул из бутылки на стекло, которое лежало на столе, и поднес зажигалку. Жидкость пошипела, но не загорелась.

— Вот видишь,— пробасил Филипп Быков,— вот видишь!

Тогда Дорин обратился к Леше Вислину:

— Леша, ты честный парень, скажи ему — ведь Анастасия Ивановна не разбавляла спирт, ведь вы получали его таким с центрального склада?

И Леша сказал совсем наоборот.

Через два дня Анастасия Ивановна пришла к Дорину и заявила:

— Или я, или Вислин!

И вот теперь Леше Вислину дали другую работу. Все моряки знают, что вода на акватории порта должна быть чистой. Да и начальство за этим следит. Однако не все еще полностью сознательны: попадают такие, что спускают за борт соляр, мазут. Может, и случайно, но грязи от этого не меньше. К тому же река, в устье которой расположен порт, приносит целые бревна, да и щепы разная плывет. С этим надо бороться, и такое важное дело Дорин поручил Леше Вислину.

Теперь у Леши Вислина в распоряжении двухъярусный плот и целый набор вил и шестов со скобами, которыми он ловко подцепляет щепу и вылавливает бревна.

Рано утром к плоту подходит катер.

— Эй, Леша, принимай конец, поведем твою грязную океан бороздить! — кричат с катера.

Леша ловит бросательный конец, заматывает его за трос, а трос закрепляет за рым, вделанный в край плота. Катер дает два отрывистых гудка, разрывая тишину безветренного утра, и оттаскивает плот от причала. Леша сидит на бухте каната, по-восточному скрестив ноги, и задумчиво смотрит на полосы тумана, стелющиеся над поверхностью воды. Корпуса судов внезапно выступают из дымки серыми плоскостями, тихо бурлит вода за кормой катера. Когда суденышко подводит, наконец, плот к дальнему причалу, где обычно скапливается мазут, туман понемногу рассеивается и поднимается над водой солнце.

Толстым лоснящимся слоем лежит в тихих бухточках мазут, медленно плывут к берегу бревна. Мазут опасен тем, что разъедает стальные корпуса судов, бревна мешают швартовке, а на берегу от них польза, — пойдут на строительство дома, который делают своими силами рабочие порта. Леша Вислин

работает весь день почти без перекуров. Надо сказать, что заядлым курильщиком он так и не стал. Баловался, когда учился в профтехучилище, потом бросил, а сейчас держит в кармане сигареты в основном на случай, если надо кого-то из друзей угостить.

У Леша много старых тросов, которые дали ему береговые матросы. Он делает из них петли, опускает эти петли в воду и шестом заводит в них бревно. Удача сопутствует не всегда, но Леша не сдаётся: берет в руку скобу, с размаха втыкает ее в бревно и втаскивает бревно на плот. Бревна скользкие и часто срываются в воду. Тогда он начинает все сначала, но теперь с каждым разом действует все более ловко и сноровисто.

На небе ни облачка, июльское солнце печет на совесть. Становится жарко. Леша пьет воду из длинной бутылки, в которой когда-то был «Рислинг». Покончив с бревнами, он принимается за щепу: подцепляет ее вилами и складывает в металлический бункер, а уж потом начинает убирать мазут.

Орудя длинным шестом с жестяной банкой на конце, он аккуратно черпает мазут с поверхности воды и выплескивает его в ведра, стоящие на плоту. Однако в банку попадает больше воды, чем мазута. Это очень нудное дело. Оно неприятно потому, что не дает видимого результата. Вот если бы устройство такое специальное, насос, что ли, приспособить, чтобы мазут засасывал! Но как мазут от воды отделить, вот в чем загвоздка! С Дориным, что ли, посоветоваться? Но когда? Он же всегда занят. Если и появится на пирсе, то такой важный, как генерал: попробуй, подстучись...

Вот и сейчас шествует Дорин, заложив руки за спину, а рядом, забегаая вперед, суетится диспетчер Васенев. Ищут, как всегда, свободные причалы.

В порт из Атлантики каждый день приходят новые суда, и задача Дорина всех их разместить, всех определить на соответствующую стоянку. В кабинете Дорина на столе лежит лист синей пластмассы. На нем вырезаны очертания причалов, и диспетчеры карандашом рисуют на пластике суда, которые встают к пирсам. Когда, выгрузив рыбу, они уходят, Дорин легко стирает их силуэты пальцем. На пластмассе это запросто сделать, и все суда отлично размещаются, но на самом деле задача не из простых, потому Дорин и ходит по пирсу, ищет свободные места. Напротив покачивающегося на воде плота Лешы Вислина Дорин спускается к самой кромке пирса и громко говорит:

— Вот видишь, Вислин, твоя работа помогает, акватория становится чище!

— Конечно, сразу видно, — вторит ему Васенев.

...Но чаще по берегу ходят матросы и рабочие из судоремонтных цехов — Лешины знакомые и друзья, шутят беззлобно:

— Что, Леша, вычерпал море?

— Скоро дно покажется, Леша?

Вечером катер отводит плот на его обычное место, за пятым причалом. Леша выносит ведра с мазутом и щепу, принайтовывает к берегу выловленные бревна.

Поначалу подходили к нему знакомые и просили продать улов: одни — на дрова, другие — сарай починить или дачу, но с Лешей не сторгуешься.

Большой дом начал цех строить хозспособом. Все там, на стройке, как могут, помогают. В этом доме и ему, Леше, как многосемейному обещали дать квартиру. Особых, правда, надежд нет, но почему бы и не дать? Двое пацанов у него, жена — учительница. Забот по хозяйству полно. Было бы время есть, подумать — наверняка уже сработал бы ма-



зутоулавливатель. Мысленно он почти представлял его. Главное, идею уловил. И механика-то несложная, должен получиться — принцип у детской игрушки высмотрел, только вот когда до ума довести?

Сейчас, как назло, работы и в порту много. Приходится оставаться по вечерам, когда идут большие перестановки судов...

Выходя стайкой от причала, пять буксиров и два катера поднимают пологие, далеко расходящиеся волны. Осторожно, на самом малом ходу, подходят буксиры к океанским судам. В тишине вечера раздается:

— Эй, на судне, готовь бросательный!

Буксиры обступают суда и гудками договариваются, кому как работать. Высокобортные корпуса судов страгиваются с места и ползут медленно и величаво.

Леша Вислин тоже работает вечерами на буксире и, как только выдается свободная минута, спускается в машинное отделение, где грохочет во всю мощь хозяйство неповоротливого механика Якобсона, а тот ходит около дизелей и, как врач, прислушивается к перестуку клапанов. Якобсон в своем деле — мастер. Разбирается в любых самых сложных чертежах. Дорин обычно вызывает именно его, если надо в порту какую-нибудь новую технику установить.

Когда дизеля наконец затихли, Леша рассказал Якобсону о мазутоулавливателе:

— Представляешь, недавно купил детям игрушку, так, что-то вроде качели, и догадался! — представляешь: бачок в воде плавает, отверстия вровень с поверхностью, и в эти отверстия верхний слой воды с мазутом попадает. Бачок, конечно, погружается, а на нем поплавки, и при погружении бачка они отверстия закрывают. Мы из бачка мазут выкачи-

ваем, бачок снова всплывает, а отверстия открываются! И так все время, как бы автоматически.

— Ну, ты — голова! — одобрил Якобсон.— Только ты придумай, чтобы бачок самоходным был, а я тебе мотор подберу.

— Я подумаю,— пообещал Леша.

Поговорить пообстоятельнее им не дали, Лешу позвали на палубу помочь принять швартовы с плавбазы «Балтика».

Капитан плавбазы нервничал и перегнувшись через планшир кричал на буксир:

— Одерживайте, носовым одерживайте, туда его в качель!

«Наверное, боится, что «поцелуемся» с «Кольцовым», — подумал Леша.

Траулер «Кольцов» стоял как раз на пути буксиров и мешал развернуться лагом к берегу. К тому же усиливался ветер, дувший со стороны залива.

— Бортовой отдать,— скомандовал капитан «Балтики».

— Ты что, заснул, Вислин? — крикнул с катера Молибога и недовольно затеребил седые усы.

— Все в норме! — откликнулся Леша и начал выбирать капроновый толстый конец.

Перестановка закончилась поздно, ветер стих, и полная луна залила порт зеленоватым светом. Леша Вислин пошел домой вместе с Якобсоном, а по дороге они продолжали свой разговор о мазутоулавливателе и совсем не заметили, как уткнулись в забор, разделявший их дома. Порешили на этой неделе сделать чертеж устройства, а потом добиваться, чтобы детали и насос выделили.

Дней через десять, когда Леша Вислин, как обычно, ловил бревна, его позвали с берега. Он взял длинную узкую доску, служившую ему веслом, и медленно подгрел к причалу. К нему подошел не-

высокий, почти одного роста с ним, хорошо одетый мужчина и спросил:

— Вот вы и есть Вислин? Весьма рад, очень рад!

Вислину было непонятно, чему товарищ радовался, но он на всякий случай улыбнулся и кивнул. Человек пристально посмотрел на Лешу, словно перед ним стоял не матрос, а какой-то музейный экспонат, и сказал весело:

— Вислин, вы просто гений!

Леша опять ничего не понял и удивленно пожал плечами.

— Я из бюро рационализации и хочу подробно познакомиться с вашим проектом. Это очень современная идея! — продолжал человек.

Леша сообразил, наконец, в чем дело, и засмутился:

— Да я же не один, это в основном Якобсон придумал, — сказал он.

Потом этот инженер из бюро привел их в технический кабинет. Здесь Вислин рассказал о том, какой он задумал сделать мазутоулавливатель, про бак с отверстиями, про коромысло с поплавками, и про то, как будет затягиваться вода.

— Мазут ведь легче воды, он всегда наверху, — закончил Леша.

Инженер бюро рационализации весело улыбнулся и сказал:

— Мы беремся за это дело! Вам будет открыта зеленая улица.

...Работа над изготовлением мазутоулавливателя близилась к концу, когда с Лешей произошла неприятная история. Вернее, не с ним, а с Дориным.

Было так. Подошел к Вислину диспетчер Васенев и сказал:

— Подгони-ка, Леша, завтра свои бревна под плавучий кран, мы их на стройку повезем.

— Хорошо,— согласился Леша Вислин,— подгону.

На следующее утро он раздобыл настоящее весло, соорудил плот из бревен и двинулся на нем через всю гавань к южному причалу,— туда, где виднелся прямоугольный плавучий кран. Шел дождь, бревна были скользкие и удерживаться на них было трудно, а еще труднее передвигаться при помощи весла по прямой. На перегонку плота Леша потратил почти весь день.

К вечеру на пирс южного причала подошла машина. При погрузке стропальщик брал бревна «на удавку», но никак не мог рассчитать так, чтобы строп оказался посередине, и они выскальзывали, а стропальщик, пожилой и сутулый, глухо ругался. Он, наверное, здорово устал за день, работая под дождем, к тому же рабочий день закончился, а тут еще надо было возиться со скользкими бревнами... Когда машину нагрузили, Леша услышал такой разговор шофера со стропальщиком:

— Опять этому Дорину везти? — спросил стропальщик.

— Чтоб он подавился ими, — зло бросил шофер.

— Куда одному человеку столько? — возмутился стропальщик.

— Начальство,— протянул шофер.

Леша не поверил своим ушам, но все-таки залез в кузов, сел на бревна и поехал, — так, на всякий случай, посмотреть, где машину разгружать будут.

А утром он рассказал обо всем Jakobсону.

— Ну и растяпа ты, Леша! Чего же ты их отдал?! Надо было не грузить! — возмутился Jakobсон.— Идем в профком!

В диспетчерскую к Дорину они вошли уже вчетвером: с ними был заместитель профорга и мастер со стройки. Начали решительно, но скоро накал их выдохся. Якобсон к тому же говорил очень сбивчиво. Дорин поднялся из-за стола, зло поджал губы, надвинулся на Якобсона:

— Кто сказал вам эту чушь?! Это же чистойшей воды выдумка! Я дал приказ везти бревна на стройучасток!

Дорин говорил громко и каждое слово сопровождал убедительным взмахом руки.

— Кто автор этой гнусной выдумки? — строго спросил он.

— Это не выдумка, вот, человек сам видел! — возмутился Якобсон.— Мы к начальнику порта пойдем!

— Своей работой занимайтесь лучше! — повысил голос Дорин.

...У Дорина в этот день, как обычно, было много важных и срочных дел, но он решил разыскать начальника порта. Обнаружив его возле наклонного стапеля, Дорин заявил возмущенно:

— Сколько это может продолжаться, давайте решим в конце концов — или я, или Вислин!

## 2. Тезки

В августе нагрянула в портофлот комиссия из столицы. И самый въедливый из ее состава, некто Бурыхин Алексей Иванович, назначен был проверять работу буксиров. Не раз этот Бурыхин из министерства собирался их тряхнуть как следует, и поэтому представлялся он начальнику портофлота Дорину таким статным, могучим мужиком с властным

взглядом. А на деле оказалось — обыкновенный пожилой человек, на улице не заметишь, низкорослый, усы седые, как у моржа торчат. Правда, глаза быстрые, колкие — все примечают. Но они для того и даны, чтобы смотреть. Дорин успокоился, решил: «Обойдется. Не первая это комиссия и не последняя, а ублажить, разжалобить старика Бурыхина — теперь дело чести. Должны же они в Москве представлять, как здесь крутиться приходится: ни запчастей, ни лимитов, и сами денег на новые буксиры не выделяют. Так что этого Бурыхина еще и с пользой для дела можно употребить. Обойдется все!».

И, может быть, обошлось бы, не встретить на своем пути Бурыхин Лешу Вислина. Того самого, от которого Дорин избавиться так и не смог. Даже после случая с бревнами. Надо же так раздуть! Хотел немного дачу подправить — велико ли дело! Так пришлось сто объяснительных писать... С Ребровым, начальником порта, шутки плохи, предупредил напоследок грозно: «Смотри! Еще замечу — с прокурором познакомлю! И этого парня — не вздумай трогать. Я прослежу!» Благо у Реброва хозяйство огромное, дел полно. Но память у него — теперь во всю жизнь не оправдаться! И все из-за одного Вислина. Тоже правдолюбец нашелся! Пусть-ка теперь на «Геркулесе» попытит! Может, одумается! Ни денег, ни работы...

А Леша Вислин, переведенный на буксир «Геркулес», действительно попал теперь на такое место, хуже которого не придумаешь. Может быть, когда-то и соответствовал этот буксир своему названию, да совсем его запустили — ремонта так и не дождался. В конце концов махнули рукой, загнали на дальний причал — пусть там поторчит в ожидании списания, а чтобы не затонул внезапно, дежурных

назначили: сутки через трое вахту стоять. Работа, как говорится «не бей лежачего», но Вислину не по нутру...

И надо было так случиться, что Бурыхин остановил свой взгляд именно на «Геркулесе». Дорин поначалу даже обрадовался такому повороту: пусть посмотрит развалюху, доложит начальству, подтвердит — пора списывать. Может, и деньги выделят на новый буксир.

Но помощник Дорина, вездесущий и шустрый диспетчер Васенев, присутствовавший при разговоре Дорина с Бурыхиным, начал отговаривать: мол, что там смотреть, скоро на металлолом, живой души там, мол, не найдешь.

— Что? — возмутился Бурыхин, — Плавсредство без вахтенных?! Это необходимо в акте отразить!

— Зачем такое, почему в акте? — затараторил Васенев, — Там вахта есть, там сегодня, к примеру, Вислин вахтит...

И тут у Дорина впервые за время проверки ёкнуло внутри. С большой неохотой поднялся он вслед за Бурыхиным и Васеневым по деревянному трапу на палубу буксира.

Встретил их на палубе вахтенный Леша Вислин, — оживленный, обрадованный, что начальство забытый буксир посетило. Сразу принялся Дорину обстоятельно докладывать:

— На морском буксире «Геркулес» все для комиссии подготовлено: рубку вчера покрасил, инструкции везде развесил, так что можете не беспокоиться, можете сюда любого проверяющего вести — комар носа не подточит. При проверках особо на пожарные щиты смотрят, так я у речников киновари достал да их все подновил...

Васенев и так, и этак ему знаки подает, а Леша все равно не догадывается, что старичок, стоя-

ший рядом с Дориным, и есть тот самый грозный проверяющий, и свой доклад без остановки продолжает:

— Мне бы нержавейки, да паранита выделить, да труб — я бы хоть завтра машину закончил. Зверь, а не машина — триста сил! И Калиныч, он на этом «Геркулесе» всю жизнь стармехом ходил, тоже считает: дизеля, как в аптеке, — не подведут. А уж если Калиныч сказал — никаких сомнений быть не может!

Тут Бурыхин оживился, нос вытянул, будто след почуял, и на Дорина:

— Буксиры новые просите, государственных денег не считаете, все списать норовите, а имеющиеся не используете! Так это понимать, молодой человек? Давайте-ка с вами дизель посмотрим...

— Кого вы слушаете?! — возмутился Дорин. — Матроса! Да что он понимает, — машина здесь давно из строя вышла!

— Это уж как пить дать, — поддержал его Васенев. — Не затрудняйте себя, чего там смотреть, только время терять!

Но Бурыхина отговаривать — дело пустое, упрямый старик.

Пришлось спуститься в машину, и здесь Дорина ждал «сюрприз». Все надраено, блестит, смазано, даже приборы все выставлены. На работающих буксирах термометров днем с огнем не сыщешь, а здесь — пожалуйста. И Вислин уже готов дизель запустить, в дурацкой улыбке рот растянул — понял, разумеется, кто на борту! Все насмарку, теперь новых буксиров не жди! Да еще и телегу накачают!

А Бурыхин наклонился, цилиндры двигателя погладил нежно, — вроде ничего, доволен, и вдруг заметил, что одного масляного насоса не хватает — пусто на фундаменте.



— Где насос? — грозно спросил Бурыхин у Вислина и усы нервно подергал.

Леша Вислин почему-то смутился, густо покраснел. Кто теперь поверит, что пришлось из двух насосов один собирать! Да и то... Если бы не знакомые механики, если бы не Якобсон, и этого не было бы. Давно запретили для «Геркулеса» запчасти со склада отпускать.

Бурыхин же его молчание, видно, по-своему оценил, весь сжался и крикнул резко:

— Кого обмануть хотите! Очковтиратели!

— Это я-то,— растерялся Леша Вислин,— да я же никогда, я...

— И вы,— перебил Бурыхин,— и вы тоже! Чем киноварью старые пожарные щиты красить да показуху устраивать, о насосе вспомнили бы — куда его сплавили?

— Не сплавлял я его, я его...

— Государство не обманете, даром такие дела не проходят!

Бурыхин быстро развернулся и ловко, не стариковски совсем, застучал ботинками по трапу. На прощание Дорин взглядом, ничего хорошего не обещающим, на Вислина посмотрел и для убедительности у виска пальцем крутанул...

Леша выбрался на палубу, посмотрел вслед удаляющемуся начальству, и пальцы сами собой у него в кулаки сжались. Никогда ему так обидно не было. И когда с места на место гоняли, и когда мазут заставляли вычерпывать — грязней работы не придумаешь,— все терпел... Так нет, и этого мало: еще и высекли на людях. Посмотрел он вокруг, и черным все показалось: и буксиры неподвижные с ржавыми бортами, и вода в заливе маслянистая, и кран со стрелой провисшей. Слово ведь какое: очковтиратели, обидней не придумаешь!

Вечером сменился Леша с вахты в самом мрачном настроении. Никому ничего объяснять не стал, дома тоже ничего не захотелось жене рассказывать, хотя и привык с ней всеми горечами и радостями делиться и советоваться во всем, учительница все-таки...

Взял он у сына удочки и побрел на небольшое озеро, что недалеко от бухты портофлотской, на вечерний клев. Вечер августовский, мягкий, тишина вокруг,— лишь в конце лета такое и бывает... Только не дали ему этой тишиной и одиночеством насладиться. Справа от него на мыску уселся человек без удочек, да какой-то беспокойный: все поглядывает в его сторону, видно, скучно одному. Присмотрелся Леша и узнал грозного проверяющего. Ну сейчас, решил, я ему все выскажу, бюрократу! В это время у Леши клюнуло, подсек он и выхватил из воды карасика. Тут проверяющий сам к нему подошел и сказал:

— Удачливый вы!

«И чего его сюда занесло,— подумал Леша. — Я не звал, пусть на себя теперь пеняет, что на неприятности нарывается...»

Леша карасика с крючка содрал, положил на лопух и говорит:

— Ездют тут всякие, а толку? Насос видят, а что вокруг, а в чем суть — это уж куда им! Эх...

— Ты уж извини,— неожиданно мягко откликнулся на этот выпад Бурыхин,— не хотел я обидеть, неловко вышло, потом мне о тебе рассказывали, так я хотел извиниться... Уж очень схожи дела у нас с тобой, да и тезки мы, Алексей Иванович я...

— Полные причем,— отозвался Леша и весь застал его разом исчез куда-то.

— Смотри, еще клюет! Ну и везучий! — крикнул

Бурыхин. Леша подсек, и еще один карасик забился в его руках. Бурыхин помог отцепить крючок, потом присел рядом и начал почему-то рассказывать, как его из одного отдела в другой переталкивали, как одно время даже из инспекции хотели уволить. А все потому, что дела он требовал ото всех.

— Неужели везде порядки одинаковые? — удивился Леша. — Ведь для пользы требовали же, верно? — Он разволновался. — Да мне ведь самому-то тоже ничего не надо! Для людей ведь стараюсь.

— Знаю, — сказал Бурыхин — знаю я все, но должно многое измениться. Наше с тобой время наступает! Наше, а не Дориных!

— А что Дорин, — заступился Леша за своего начальника, — Васенева только зря слушает, а так деловой...

— Да, Леша, конечно, не все Дорины, а я везде подвох вижу... Привык уже с прохиндеями дело иметь...

Опустил Бурыхин голову, задумался, потом опять заговорил...

Сумерки наступили, а разговор их всё продолжался. Вернулся Леша домой затемно.

— Ты где это бродишь, ходишь? — спросила жена с укором.

— Тезку я встретил! — ответил Леша.

### 3. На легкий труд

Как-то зимой в гололед случилась с Лешей Вишлиным беда — оступился и сломал ногу. Пришлось помытариться по больницам месяца четыре, а когда, наконец закрыли больничный, врач, лечивший его, взял да и написал справку: «только на легкий труд».

— Где же я тебе, Вислин, легкий труд возьму? — сказал растерянно диспетчер Васенев, вертя в руках медицинский документ.— Ты пойми меня, Вислин. Видел ты у нас в порту такой труд? Что они там, костоправы твои, совсем на облаках обитают?

— Я же не просил,— оправдывался Вислин,— я вполне могу хоть матросом, хоть мотористом!

Тут вошел в диспетчерскую сам Дорин и решил сразу и бесповоротно:

— В отделе техэксплуатации от бумаг задыхаются, туда направим!

Записку начальнику техэксплуатации чиркнул, и судьба Леша решилась.

Отдел техэксплуатации порта располагался в центре города, в огромном десятиэтажном здании, которое из-за сплошных окон, сливающихся издали в единую застекленную стену, называли «аквариумом». Здесь, в «аквариуме», вдали от портового шума сидели в многочисленных кабинетах люди, командовавшие не только буксирами, но и всем портом.

Только благодаря стрелкам, указывающим путь к отдела, Леша Вислин отыскал на самом последнем этаже массивную дверь с надписью: «Служба технической эксплуатации порта».

Он осторожно открыл ее и очутился в совершенно пустой комнате с высоким потолком. Стены ее закрывали стеллажи с папками, такие же папки груды лежали на столах. И среди них надрывались в бесполезном усердии зеленые телефоны. А на стоявшем посередине этой комнаты столе звонил еще и красный телефон, при этом звонок у него был резче, чем у зеленых, будто тифон на буксире врубили. Отвечать же на эти звонки некому.

Леша аккуратно снял трубку красного телефона

и сразу услышал знакомый раздраженный голос Дорина:

— Серафим Иванович! Что за безобразие? Буксиры — без смазочного масла! Вы что, хотите, чтобы порт работу прекратил?

— Пусть возьмут пока в котельной, — посоветовал Вислин, — там тонны две еще с прошлой зимы, в бочках. Только они углем завалены, в самом левом углу...

— Вы что, издеваетесь? Кто это мог масло завалить? Это кто со мной говорит? — перебил его Дорин.

Леша назвалса.

— Ты уже здесь? — удивился Дорин. — Тогда так: Серафиму Ивановичу срочно передай, пусть быстренько найдет документы на это масло, понял?

— Ага, — ответил Вислин, — только здесь никого нет.

— Есть, — объяснил Дорин, — они все у Серафима Ивановича, утреннюю планерку проводят, — слева от телефона дверь!

Леша Вислин положил трубку и действительно увидел совсем рядом широкую переборку из матового стекла и в ней почти незаметную дверь. И за этой стеклянной переборкой раздавались голоса:

«Безобразие... беспорядок... бьем по хвостам... статотчет срывается... Готовьте объяснительные... уволью...»

Леша Вислин понял — это и есть планерка. Он прислушался; похоже, говорил, в основном, один человек и всех ругал. Остальные молчали, лишь изредка оправдывались тихо, слов даже не различить. Леша снял по порядку все дребезжащие трубки и объяснил, что идет планерка и никого нет. Везде вежливо ответили: извините. И только в одну трубку забурчали недовольно:

— Никого нет? А вы кто? Шкаф, что ли! Затеяли по утрам говорильни! Попробуй, реши что-нибудь!

Страсти за стеклянной переборкой между тем накалялись: голос, по-видимому, принадлежавший начальнику этой епархии Серафиму Ивановичу, гремел не умолкая. Наконец маленькая дверь распахнулась, и оттуда выскочили почти разом человек двадцать сотрудников — красных, шумных, как из парной. Они моментально растеклись по комнате, заполнили места за столами и начали беспрерывно что-то выяснять по телефонам.

А в проеме двери появился грозный Серафим Иванович, и улыбка человека, удовлетворенного завершенным делом, скользила по его лицу. Он обвел помещение начальственным взглядом и заметил Лешу Вислина, стоящего посреди комнаты, без своего /места, явно ничего не делающего, да к тому же еще с тросточкой в руке.

— Это еще что за явление? — искренне удивился Серафим Иванович.

Леша протянул записку Дорина, Серафим Иванович прочитал, задумался, а потом изрек:

— Тоже мне, нашли где легкий труд! Это вам не баклуши на буксирах бить!

— Дорин звонил,— сказал Вислин,— из-за масла ругался. Так я ему сказал, где оно, и он велел срочно документы на это масло найти...

— Маринов, ну-ка ко мне,— приказал Серафим Иванович.— Опять мы по хвостам бьем!

Маринов, пожилой и абсолютно лысый, похожий на сельского счетовода, поднялся из-за своего стола.

— Понимаете, что вы наделали,— насел на него сходу Серафим Иванович,— по импорту заказали масло, а оно под боком! Чтобы сейчас же были

документы, срочно! И вот вам помощник, как вас,— В'ислин? И прошу, новоявленный помощник, больше телефонных трубок не поднимать! В дело не соваться, а исполнять! Здесь надо только исполнять! Кстати, вы не тот самый Вислин, которого со всех работ выгоняют?

Леша смутился, спрятал тросточку за спину — хотел возразить, но Серафим Иванович резко перебил:

— Так вот, дорогой, если я выгоню, больше нигде не примут. Я такую характеристику напишу, долго меня помнить будешь!

После этого обещания Серафим Иванович взглянул на часы, охнул, схватил кожаную папку с желтыми застешками и мгновенно исчез из отдела, только дверь колыхнулась и щелкнула...

— На селектор к начальнику порта,— пояснил Леше Маринов,— теперь появится только после обеда. С маслом этим ты его, можно сказать, под монастырь подвел, это он по импорту заказ затеял... Ну ничего, не пропадем...

— Чайник кипит! — сказал один из инженеров, сидящий у самой двери.

Все оживились, достали сахар, заварку, стаканы.

— Возьмите, тут у нас один в отпуске, вот его чашка,— предложил Маринов Леше большую пиалу.

Какой-то моложавый парень — вихрастый и рыжий, заметил Вислину:

— Как же вы пришли без своего стакана? Знаете основное правило групповых механиков (как потом узнал Леша, почти все инженеры в отделе назывались групповыми, так как каждый отвечал за свою группу судов), так вот, оно звучит так: каждый групповой механик должен иметь свой стакан и не мешать работе флота.

Леша сразу понял, что люди в отделе хорошие, веселые, улыбнулся широко и тоже стал со всеми чай пить.

Когда чаепитие закончилось, все постепенно и незаметно стали исчезать куда-то из комнаты, пока опять, как утром, все не опустело, и остались двое — Маринов и Вислин.

И начались поиски документов на забытое всеми масло.

Маринов принес стремянку, пыхтя, забрался на ступеньки и стал снимать со стеллажей папки — одну за другой. Леша только успевал принимать их. Ему было неудобно — пожилой человек вынужден стоять на шаткой лестнице, тянуться вверх, а он, Вислин, из-за своей ноги — внизу, и толку от него никакого... Наконец Маринов спустился и стал просматривать бумаги. Сколько же на них было пыли! Видно, давно эти папки никто не трогал! От поисков Леша даже вспотел, — а нужной бумаги так и не находилось.

Стали возвращаться в отдел сотрудники. Женщины тащили грузные авоськи, пакеты, сумки, запихивали все это под столы, потом, вынув маленькие зеркала, пудрились, поправляли прически. Мужчины шелестели газетами, спорили о футболе, о шахматном матче...

В этот день Маринов и Вислин нужной бумаги так и не обнаружили. Домой Леша возвращался таким разбитым и усталым, каким никогда не был даже после самой тяжелой вахты на буксирах.

Утром следующего дня Серафим Иванович долго кричал на Маринова. Леша вступился за своего наставника:

— Здесь же тысячи бумаг, как можно упомнить, в какой она папке?! Давайте я схожу к нашему механику с «Геркулеса»! Калиныч на нюх это масло



определит — годно или нет! И никаких бумаг не надо!

— Я не с вами говорю! — оборвал его Серафим Иванович.— И в советах не нуждаюсь, вы уже и так насоветовали Дорину... Из-за вас весь сыр-бор! Ступайте!

— Здесь, Леша, не буксир,— сказал Маринов, когда начальник скрылся за стеклянной перегородкой.— А перечить начальству — все равно что против ветра на паруснике идти, понял?

Маринов еще вчера пришелся Леше по душе. Сразу ясно,— знающий человек. Видел Леша, что когда Серафим Иванович отсутствовал, инженеры по всем заминкам обращались к Маринову, и тот никого ни к кому не посылал, не отказывал, сам находил ответ на любой вопрос. Как узнал Леша, раньше Маринов был капитаном и в управление пришел после выхода на пенсию. Денег у него вроде и хватало, не хотелось просто человеку без дела дома сидеть. Все он говорил правильно, вразумительно, только вот почему считал, что начальству нельзя перечить — этого Леша не понял. И как вот такой заслуженный человек молча выслушивает разносы Серафима Ивановича — тоже было непонятно.

Маринов по должности был механиком-наставником. Ему подчинялись два молодых инженера — групповые механики: подвижные, шустрые, оба — заядлые автолюбители. Они дружно утверждали, что проверяют в порту техническое состояние буксиров, хоть Леша этих проверяльщиков раньше никогда и в глаза не видел!

Оба они умели складно писать отчеты, и за это им все прощалось. Особенно ловко писал один из них — Сашок. Даже Маринов так сочинить не умел, как этот вертлявый паренек. И вот теперь понадобились его способности, когда стало ясно, что ни-

каких бумаг на злополучное масло не найти, а по качеству оно вполне пригодно, как и предвидел Леша. Установил это механик с «Геркулеса» Калиныч. Казалось, радоваться надо, решена проблема. Но Серафим Иванович скис, потому что теперь придется писать в главк и отказываться от своих заявок, от поставок, признаваться перед высоким начальством, что вдруг масло у себя на складе нашли, да столько — на год хватит. А ведь до этого во все колокола гудели — и в снаб писали, и в сбыт, и даже в судоимпорт. Вдруг теперь отовсюду пришлют это смазочное масло — куда его денешь, опять за неликвиды отвечай! Все приуныли. И на Лешу глядят с укоризной — фактически из-за него такое аховое положение.

И тогда Сашок вызвался всех выручить.

— Пустяки,— заявил он.— Я такую закидуху в главк изображу, в первый раз, что ли! Они же там в механизмах ни шиша не петрят.

Серафим Иванович прочитал сочиненную Сашком телеграмму, и лицо у него осветилось: хотел свой росчерк поставить, но потом, как всегда, решил подстраховаться: вдруг, обнаружится все,— не одному же отвечать!

— Давайте-ка мне визы соберите в отделе труда, у снабженцев, да в плановом не забудьте, ступайте! — приказал он.

Сашок сразу к Вислину, объяснил, что такое визы и как их собрать.

Вислин взял телеграмму, а там написано: «В портофлоте в результате внедрения передовых мероприятий двигатели эксплуатируются без смены масла. Просим разнарядку перераспределить, инициаторов экономии — поощрить».

Леша посмотрел на Сашку широко открытыми глазами и сказал твердо:

— Никуда я с такой бумагой не пойду — это же людей обманывать!

— Да ты что? — опешил Сашок. — Премию получим, тебя же, Вислин, поощрим, тебе такая премия и не снилась!

— Ну что ты пристал! Видишь, человек с больной ногой, — вступился Маринов. — Сам сочинил — сам и визы пробивай. Инициатива наказуема — твоя ведь любимая присказка! А Вислин у меня занят: завтра срок сдачи отчета. Не отправим вовремя, сам знаешь, какой скандал надвинется!

Сашок ушел раздосадованный, а Маринов дал Леше несложную работу: переписать данные по составу флота из старого отчета: буксиров новых не получали, формы стандартные — из года в год одни и те же. Леша все аккуратно переписывал, старался, — почерк у него не ахти какой. А когда дошел в списке до своего «Геркулеса» и прочитал: «Не годен, подлежит списанию» — глазам не поверил. Побежал к Маринову. Тот отмахнулся: а куда же эту развалюху, пиши как есть. Леша «как есть» и написал: «годен» и в другую графу перенес свой буксир. Поэтому у него количество годных судов увеличилось и все показатели несколько изменились. Маринов не проверил, — некогда, — понес Серафиму Ивановичу. Тот, обычно предельно осторожный и никому не доверяющий, сходу подписал.

А через два дня из главка позвонили и ткнули, как говорится, носом Серафима Ивановича в этот отчет: мол, что это за перетасовка получается, ведь на списание «Геркулеса» в министерство акт подготовлен. Серафим Иванович стал оправдываться, но его слушать не захотели и пообещали сделать оргвыводы... Серафим Иванович выскочил из своего кабинета как ошпаренный.

— Кто готовил отчеты? Где Маринов, что за

чушь? Пора уже призвать к порядку этого всезнайки! Что за фантазии в деловой бумаге,— списанное судно в разряд действующих!

— Это не он, — остановил поток его возмущения Вислин.— Это я написал. А буксир мы с Калинычем наладили, и вполне «Геркулес» годный, он суда в доки подтаскивает!

— Опять Калиныч! — схватился за голову Серафим Иванович.— Что вы мне мозги забываете! Как посмел Маринов вам отчет доверить! Это же просто разгильдяйство! Раз ваш Маринов такой умный — пусть теперь этот допотопный буксир попробует Регистру предъявить! И всех в отделе прошу, приказываю: Вислину никаких бумаг — использовать только в качестве курьера.

— Успокойтесь, Серафим Иванович,— неожиданно выступил вперед Маринов (Вислин и не заметил, как он в отделе появился),— сбавьте пары, как говорят у вас, механиков, хотя сомневаюсь, взял бы я вас даже мотористом к себе на корабль! Привыкли, что все молча сносят ваше хамство! Буксир действующий — надо сдавать инспекции. Чего мы испугались?

И неожиданно при общем воцарившемся в отделе молчании Серафим Иванович не нашел, что ответить подчиненному, и ретировался за свою стеклянную переборку. Все ждали грозы, но ее не последовало.

Недели две после этого разговора начальник ходил мрачный и старался не замечать ни Вислина, ни его заступника. Когда же он, как обычно, никому ничего не объясняя, исчезал из управления, в отделе сохранялась предгрозовая напряженная атмосфера. К тому же приближался новый год, и не без основания ждали сокращений, да и сроки отчетов висели над каждым работником. Отчеты эти —

огромные простыни, склеенные из листов,— свисали на пол, путались под ногами, сведения одни загадочнее других срочно добывались из старых реестров и разбавлялись новыми данными. Надо было все успеть.

У Леши Вислина вся эта деловая лихорадка не рождала никакого энтузиазма. Многого он не понимал. Казалось нелепым: солидные, повидавшие жизнь и морские походы механики обливались потом, «очиняя письма, указания, распоряжения и приказы. При этом важно было не то, что написано, а как написано. Каждая бумага должна иметь исходящий и входящий номера, и необходимо было зарегистрировать ее в специальном контрольном отделе. Если бумага была важная или от вышестоящей организации, на ней ставили в том отделе жирный красный штамп с надписью: «контроль». Другой специальный отдел, называемый АСУ, что значило «автоматизированная система управления», следил за этим контролем, и там ставили на бумаге другой штамп — «включено в систему «Сигнал», и уже после этого надо было бумагу зарегистрировать в канцелярии.

Оказывается, очень важно было соблюдать особые словосочетания, устоявшиеся нормы написания в любой бумаге. Например, писать не «по приказу», а — «в соответствии с приказом». Каждая, даже самая пустяковая справка много раз переделывалась, как объяснил Маринов, шлифовалась, согласовывалась и визировалась. Леша как-то посочувствовал своему наставнику, видя, как тот неделю не может подписать письмо в портофлот Дорину:

— Может, по телефону ему позвонить. Он строгий, но всегда выслушает — поймет...

— Разговор к бумаге не пришьешь,— заметил Сашок, услышавший Лешины соображения.— А глав-

ное — пока мы это письмо пишем, там, в портфолоте, сами все решат. Зачем людям мешать?

Был он шутник, Леша это понимал, и в то же время — ведь и на самом деле так выходило!

Серафим Иванович и сам, по примеру других начальников, бумаги сразу не подписывал — требовал к ним справки, объяснительные, сопроводительные записки. Да и попробуй его поймать, когда он целыми днями где-то пропадает, с кем-то совещается!

Леша старался помалкивать, понимал, что он здесь человек временный, к тому же, как говорится, пятое колесо в телеге. Вот разойдется нога — и снова наступит нормальная жизнь. Терпеть, конечно, было трудно. Чувствовал Леша, что проку от него никакого: бумажки заполнять складно не может, делать вид, что занят, — тоже не умеет. Даже исчезнуть под благовидным предлогом из отдела, сказать, мол, в порт, как другие механики делали, — не решался. Помочь людям советом здесь тоже не просто. Несколько раз пытался подсказать — так еще хуже стало. Серафим Иванович при виде Леши вообще стал приходить в тихую ярость и каждый раз цедил, выпятив губы:

— Вы еще здесь, Вислин? Смотрите у меня...

Выслушивать это было обидно. Леша твердо решил пойти к Дорину и любым путем выпросить освобождение от «легкого труда».

Выбрался Леша в порт в пятницу: все-таки конец недели, настроение у всех получше, — но Дорин и в пятницу был по горло занят портовскими делами, все время с кем-то ругался по телефону и слушал Вислина невнимательно.

— Не могу я, сил никаких нет, — объяснил Вислин. — Да и нога у меня в порядке. — Для убедительности положил тросточку Дорину на стол и, стараясь не хромать, прошелся по кабинету.

— Некогда мне,— прервал его Дорин,— землерпалка застряла в канале! Врач написал на месяц, даст добро раньше — переведу, а так не имею права. И вообще,— первый раз вижу, чтобы человек от тихой культурной работы отказывался. Я вот просил Серафима Ивановича посмотреть, как подсократить его отделу и мне механиков на буксиры выделить — так такой шум поднялся! До главка жалобы! А кому в порту работать? На «Сатурне» стармех на пенсию ушел— нужна замена, на плавдоке! давно без механика, на кране сменного нет!

— Вот и я говорю, не нужен я там, без меня народу полно, а делать нечего! — настаивал Вислин.

Дорин прислушался, оторвался от телефона:

— Ты что, тоже так считаешь? Впрочем, подумать надо, иди, иди... Мне бы твои заботы!

Оставалась одна надежда — на медицину. Вислин регулярно ходил на всевозможные процедуры, мало этого — дома из старого велосипеда сделал тренажер и крутил по вечерам этот тренажер непослушной ногой. Все это, конечно, сказывалось, помогало, но не так быстро, как хотелось.

А в отделе тем временем схлынул поток бумаг: сданы были все отчеты, вздохнули посвободнее, снова увлеченно заговорили о спортивных баталиях, стали опять исчезать после графика. Только недолго длилось это затишье. Сокращение, о котором давно поговаривали, стало вдруг явью. Сам начальник порта Ребров на партактиве выступил, потребовал с трибуны: «Готовьте предложения, срок — месяц!» А если Ребров сказал, то от своего слова не отступится.

Серафим Иванович перестал уходить из отдела и всех, кроме Вислина, вызывал к себе. При этом с каждым больше часа разговаривал: решал, как быть, кого в первую очередь в список на сокращение вно-

силь, а кого отстаивать. Постоянно заказывал по межгороду главк, и слышали, что он торопит свой перевод в какой-то заморский порт.

Кричать он перестал, затих. Все стремился понять, почему вдруг даже самые тихие из групповых механиков нет-нет да и скажут дерзкое слово: неужели не ясно, что за такое своеволие под сокращение попадут в первую очередь?

— В прошлом году в торговом порту решили такой же, как наш, отдел сократить — там все на цыпочках ходили,— сказал на очередной планерке Серафим Иванович, возмущаясь дерзостью своих подчиненных.— Там придраться к кому-либо было невозможно! Только что-нибудь прикажут — уже на подпись несут! Телепатами стали! А у нас? Учтите — я никого из тех, кто не хочет работать, не держу! За себя я спокоен — меня давно зовут в судоимпорт, а вот вы куда денетесь, кому вы нужны?

Когда Серафим Иванович закончил эту проповедь и планерка закончилась, Леша Вислин сказал, обращаясь к сослуживцам:

— Знаете, если что, то в порту — работы навалом. Дорин жаловался, нет механиков и на доках, и на плавкране — везде механики нужны позарез!

Но его слова почему-то никого не обрадовали. Только Маринов поддержал:

— Устами Вислина глаголет истина. Был бы я помоложе — только бы меня тут и видели! Завидую я тебе, Вислин. Еще месяц, от силы — два, и ты опять на просторе!

— Какой месяц? — возмущился Леша.— Я через неделю ухожу, мне врач пообещал!

— А жаль...— задумчиво произнес Маринов,— очень жаль, учиться тебе надо... а отношение к делу нам у тебя не грех позаимствовать...

И вот настал для Вислина долгожданный день.



Врач, заставивший и приседать, и сгибаться, и подпрыгивать, остался доволен его ногой и выписал направление на штатное рабочее место.

Весело, уже без надоевшей тросточки, поднялся Леша на борт «Геркулеса», спустился в машину и принял вахту. И никому не надо было писать бумагу, чтобы разрешили смазать насосы, никаких отчетов, никаких объяснительных. Капитан никаких бумажек в машину не присылает, а когда нужно отдать команду — знакомо кричит в медную переговорную трубу:

— А ну прибавь ход, маслопупы! Вы что, спите? К плавбазе идем!

Плещется пологая береговая волна в обшивку, тренькают звонки, стучат равномерно поршни, взвизгивает буксирная лебедка, наматывая на свои барабаны надежный трос. Все привычно и все просто. И работать стало легче — добился Дорин, появились на всех буксирах, кранах и доках опытные механики. Говорили, что все они с образованием, многих хвалили, а Леша замечал среди них тех, кого успел узнать по работе в отделе. Капитан «Геркулеса», хриплый и подвижный Спиридоныч, сказал как-то:

— Теперь и нам, глядишь, грамотея пришлют. Устал я за всех тянуть!

И точно. Через пару недель сообщил он радостно всей своей небольшой команде:

— Назначен к нам новый старший механик, опытный,— Калиныч на пенсию уходит. Будет у нас теперь механиком Серафим Иванович Желтов. Он вас работать научит, повезло нам — всей эксплуатацией человек заведовал! Правда — лишним звеном оказался, сократили эту эксплуатацию. Кого куда, а нам самого главного!

Команда восприняла эту весть молча, хотя было видно — довольны. Нужна на буксире крепкая рука.

Как ни хорош Калиныч, а стар уже, хватка далеко не та...

В общем, никто не возражал, только Леша по-мрачнел. Представил, как придет на буксир Серафим Иванович и станет с утра всех на планерку собирать и по два часа морали читать, а потом заставит писать объяснительные по всякому поводу. Когда же тогда буксировкой заниматься — на якорь придется вставать! Протер Вислин руки ветошью, нахмурился, не выдержал:

— Ребята, погодите! Не дело это. Что вы с ним наработаете! Спиридоныч,— или я, или этот Серафим Иванович, ты уж выбирай!

И Спиридоныч задумался. Знал, что Вислин зря не скажет.

#### 4. Заместитель

Весна в этом году пришла сразу и бесповоротно. Акватория порта в несколько дней очистилась ото льда, задули теплые ветры с Атлантики, пар для отопления судов с берега уже не требовался, зимние авралы миновали. Можно вздохнуть посвободнее. Но у начальника плавсредств Дорина забот не убавилось — надвинулась на порт перестройка, и просто разговорами о ней было уже не отделаться, нужны были какие-то перемены.

На отчете в парткоме заранее предупредили: побольше критики. Собрал все, что мог, вернее, все, о чем можно было открыто сказать — все равно не угодил. Вывод — мало требовательности к себе, узок диапазон руководства. Статья в портовой газете появилась — мокрого места от управления портофлотом не оставили борзописцы, все им не так. А тут еще Вислин с учебы возвращается. Он и раньше всю-

ду совался, везде свою критику наводил,— но тогда время было другое, проще было рот заткнуть. А сейчас? Его же ничем не остановишь! Хорошо, удалось хоть на пару месяцев избавиться. Васенев надумил — на курсы по подготовке пожарных послать. «Эх, мягкотелость наша, — досадно хмыкнул Дорин. — И как теперь этого Вислина уговорить?»

Последние слова Дорин произнес вслух, и сидевший в его кабинете Васенев предложил:

— Надо Вислину квартиру вне очереди дать, сразу успокоится!

— Глупо, Васенев, — со вздохом произнес Дорин, — он и так на очереди вторым стоит, да и нет у нас никаких квартир.

— Тогда путевку в пансионат,— пытался найти выход Васенев.

— Отказаться может, а если и поедет — месяц и опять здесь.

Дорин задумался, по столу пальцами постучал и вдруг неожиданно предложил:

— А что, если моим заместителем сделать?

Васенев даже вздрогнул: как же это можно? Тут служишь, служишь, — десять лет — и все диспетчер, а какого-то матроса ни с того ни с сего... Да как можно так шутить!

— Нет, нет, только не это,— запротестовал Васенев, впервые возражая своему начальнику,— да его же никто не утвердит!

— От времени, Васенев, отстаешь! — усмехнулся Дорин.— Какие утверждения? Все решает коллектив. Предложим, проголосуют — и точка.

— Да что он воображает, этот Вислин? Как же он работать будет? — не успокаивался Васенев. Даже веко у него стало дергаться от такого странного, на его взгляд, поворота.

— Как он будет работать? — протянул Дорин,

как бы размышляя вслух.— А хоть и никак... Он просто будет мальчиком для сечения.

Молчаливый вопрос застыл в глазах Васенева, он пытался осознать сказанное, но ничего не получалось.

— Читать надо было в детстве побольше,— наставительно сказал Дорин,— особенно Марка Твена, роман «Принц и нищий»!

— Нет, все-таки это смешно,— не унимался Васенев,— кто же за него проголосует?

Но сомнения Васенева оказались напрасными, выбрали Вислина единогласно. И домой после собрания Алексей Вислин шел уже не простым матросом с буксира «Геркулес», а полномочным заместителем начальника плавсредств всего порта.

— Ну, Леша,— попытался поддеть его Калиныч, который после ухода на пенсию устроился матросом в береговую команду,— большой простор тебе даден. Теперь к тебе небось запросто не подойдешь, а только со снятой шапкой, замечать нас, грешных, и вовсе перестанешь...

Они шли домой вдоль озера по узкой тропинке, стемнело, и свет дальних портовых огней отражался фиолетовой поверхностью воды.

— Да что ты, Калиныч,— удивился Леша,— я что, напрашивался? Я даже самоотвод давал, ты же слышал?

— И напрасно,— вмешался Якобсон, нагнавший их у поворота к поселку,— кому, как не тебе, Леша, порядок наводить. Даже Дорин это понял! Сам ведь предложил!

Дома жена встретила весть о назначении Лешы без всякого энтузиазма. Она работала учительницей, и на все житейские ситуации у нее был собственный взгляд, часто отличный от Лешино.

— И без того тебя не видишь, а тут совсем из дома исчезнешь,— сказала она.— А сыновья растут, им глаз да глаз нужен. И потом, что это такое — заместитель по общим вопросам? Что это за общие вопросы? Что-то здесь не так...

Первые дни на новой должности нестерпимо тянулись, будто время замедлило свой ход. Леше выделили комнату, поставили туда большой коричневый стол, провели телефон, табличку на дверь прибили: «А. И. Вислин — заместитель начальника плавсредств по общим вопросам»,— вроде, все, как и положено. Только работы никто не требовал: хочешь, сиди за столом, думай или по комнате ходи. Ерунда какая-то! Единственное, что хорошо — из окна видна бухта, где стоят буксиры, и часть бетонной доковой башни; совсем рядом люди, товарищи его делают свою обычную работу: матросы принимают причальные концы, кран на доковой башне звенит. «Геркулес» подошел, пыхтит, к причалу притирается, водолазы возле своего катера собрались.

Леша распахнул окно, высунулся по пояс. Старшина водолазов Филипп Быков заметил его, сказал своим товарищам что-то, донесся хохот. Леша на это не обиделся — был бы с ними, тоже бы досмеялся, интересовало его другое: почему это водолазный катер у причала застыл? Непонятно. Всегда ведь у водолазов дел полно. Вислин спустился на пирс по широкой деревянной лестнице, подошел к водолазам, со всеми, как обычно, за руку поздоровался.

— Эх, Вислин,— сказал Филипп Быков, задержав Лешину руку в своей просторной пятерне,— ты теперь начальник и не должен всем клешню протягивать, не солидно это!

Леша ничего не ответил на эту подковырку. Стал расспрашивать про катер, оказалось — две не-

дели назад сдали в ремонт компрессор, в мастерских обещали сделать сходу, а там еще и конь не валялся. А им, водолазам, что? Они на повременке. Стоишь день у берега или под водой лазаешь, все одно — оклад твердый. Всем плавсредствам убыток, а им повезло, считай.

— Что же вы? — сказал Леша водолазам. — Спите спокойно и ждете, кто вам компрессор на блюдечке поднесет! Непорядок это!

— Вот ты начальник, ты и разбирайся, а наше дело какое? Мы без компрессора никуда! Нам еще жабры никто не вживил в глотку, — сказал один из водолазов.

— Будет вам компрессор, — пообещал Леша, — обязательно будет!

— Вот это начальник! Вот это я понимаю! — воскликнул Филипп Быков.

Все сложные ремонты в порту делают на «плавучие», двухпалубном судне, пристроившемся у дальних причалов. Судно это самоходное, и построено оно специально для размещения в нем ремонтных мастерских. Там и станки стоят разные, и кузница своя, и даже ванны гальванические. Давно Леша на «плавучку» не заходил, а лет шесть назад частенько заглядывал, когда командовал здесь старый опытный механик Егорыч. С тем просто было. Облюбовал Егорыч себе небольшую каюту на «плавучке» и вел там свою нехитрую бухгалтерию: что сдано в ремонт, кем, на какой срок, когда сделано, сколько денег за это перечислено. Потом дали ему в помощь плановика и бухгалтера, чтобы от излишней писчей работы разгрузить, потом технолога приняли, чтобы эскизы грамотно рисовал, ввели нормоконтроль, технический контроль, в общем, все честь по чести. В каюте одной все, конечно, разместиться не могли,

выстроили напротив «плавучки» двухэтажное здание — пять кабинетов наверху, семь внизу. Егорыч на пенсию ушел, а если бы сейчас вернулся, только рот раскрыл бы от удивления. Все кабинеты в этих хоромах так забиты столами — протиснуться негде, и людей столько, что и не знаешь, к кому обратиться.

В двух первых кабинетах о компрессоре с Лешей даже разговаривать не стали — хорошо хоть на втором этаже отыскал он плановика Василия Петровича, соседа своего по дому.

— Алексей Иванович, мое почтение, — поприветствовал его Василий Петрович. — Можно вас поздравить с назначением!

— Не с чем пока поздравлять, ничего нигде добиться не могу, — ответил Леша и стал объяснять ситуацию: водолазы простаивают, а компрессор у них на «плавучке» вторую неделю лежит.

— Э, сосед, и рад бы помочь, да это не в моей власти. Это в отдел приемки надо обращаться...

В отделе приемки остроногая девчушка в очках с толстыми линзами поглядела на Лешу и начала его отчитывать:

— Ваш компрессор в планах не значится, а вы здесь ходите, отрываете занятых людей от важной работы по оставлению перспектив. Лимиты на этот месяц исчерпаны, в заявках вас не было, что вы хотите, я вас совсем не понимаю!

Леша стал ей подробно про водолазов рассказывать, но толку никакого: он ей свое, она — свое.

Пришлось разыскивать ее начальника. Этот вообще про компрессор и слушать не стал, послал к главному технологу, а тот так был занят, что Леша сразу понял — бесполезно и спрашивать.

Уже у выхода углядел он заместителя начальника «плавучки», — совсем молодого паренька. Тот сделал вид, что слушает внимательно, а когда Леша

закончил свой рассказ, произнес недовольным то-  
неньким голосом:

— Пора бы знать, мы оборудование в розницу не берем. Подойдет срок постановки на ремонт водолазного катера, тогда приходите, а плановый ваш срок — через год. Так что, всего доброго, товарищ водолаз!

— Да не водолаз я, а заместитель Дорина! — в сердцах крикнул Леша.

Но и это не помогло — паренек невозмутимо пожал плечами и тут же исчез из виду.

С трудом отыскал Леша компрессор, — лежал тот на пирсе никому не нужный, даже брезентом никто накрыть не догадался, — вот какой беспорядок. Егорыч разве бы допустил, чтобы вот так ценное оборудование под открытым небом бросили! И как теперь к водолазам возвращаться — засмеют: «Тоже, мол, начальник, такой пустячный вопрос и то с места не сдвинул». Надо Дорина найти, пусть он эту «плавучку» вдоль и поперек пропесочит, решил Вислин.

Дорин выслушал внимательно, сочувственно вздохнул и сказал:

— Видите, товарищ Вислин, как все у нас не просто. Это вам не троса таскать. Что ж, занимайтесь компрессором. Инициатива ваша похвальная, только аккуратней, без перегибов. И по мелочам ко мне не обращайтесь!

Вислин замолчал. Действительно, что же он из-за таких мелочей Дорина тревожит, на то он, Вислин, и заместитель, чтобы начальника от забот разгрузить и самому вопросы решать. Только вот какие и как? Кто это объяснит кроме Дорина. И Леша после некоторого колебания сказал:

— Хорошо, с компрессором этим я разберусь, а что дальше? Что значат общие вопросы?



Дорин ответить не успел, отвлек телефонный звонок. Вызывал его сам начальник порта. Дорин привстал, заговорил необычно тихо, вкрадчиво. Диспетчер Васенев тоже замер, знаками Леше показал: мол, уйти надо, высокое начальство на связи!

Они вышли в коридор, на площадку, где обычно собирались курильщики, и Васенев не то сочувственно, не то с ехидцей сказал:

— Эх, Вислин, что такое общие вопросы и то сам сообразить не можешь!

— А ты знаешь? Объясни! — спокойно ответил Леша, несколько не обижаясь на диспетчера.

— А вот что,— сказал Васенев.— Это же любому ясно: общие вопросы это все, что производства не касается, соцкультбытом называется — и жилье, и детсад, и хозяйство подсобное, и, конечно, противопожарная безопасность,— даром тебя что ли обучали столько времени! Вникай и думай, что сделать полезного, а в производство не лезь,— мы тут с Дориным сами во всем разберемся!

К Васеневу надо прислушиваться, но не во всем,— это Вислин давно усвоил. Взять тот же компрессор: пока этот диспетчер разберется, водолазы от сна опухнут, а ведь как повсюду их работа требуется, судов в порту хоть отбавляй! Вот так и пришлось, не откладывая, вечером пойти с Якобсоном на «плавучку» и над компрессором поколдовать: штука не особо хитрая; клапана проточили — в них загвоздка была, и порядок, однако провозились темно, пока все отладили...

А в следующие дни спокойная жизнь и вовсе закончилась.

Получилось этот так: пришла к Леше портовская крановщица со стотонного крана Аня Стрюкова и стала жаловаться на жизнь:

— Вот, Алексей Иванович, если ты сейчас на-

чальник, заступись за одинокую женщину! Двух детей кормлю государству на пользу. А что же получается, кроме несправедливости?!

И она поведала подробно о том, как муж ее бросил, — исчез в Петропавловске. За большим рублем погнался, а она и копейки от него не увидела, и как мучается она до сих пор в шестиметровке без всяких удобств, хотя и стоит на квартирной очереди уже пять лет и в прошлом году была двести первая. А в этом стала — двести десятая...

— Так не бывает! — удивился Леша Вислин. — Очередь не может ведь назад двигаться!

— Как не может! Проверьте сами, какие там химики сидят! — крикнула Аня Стрюкова и большой ладонью слезу по щеке размазала.

Жалко женщину, а как помочь! Давно уже в плавсредствах никто квартир не получал. Новых домов не строят! И сам он, Вислин, в тех же списках, в первой десятке. Правда, у него положение по сравнению со Стрюковой вполне терпимое, а впереди оказался — на очередь встал сразу, когда второй сын родился. И ведь собирались дом своими силами строить для всех, кто на буксирах и доках в жилье нуждается, и бревна собирали, Леша сам к этому был причастен. И кирпич завезли, и котлован под фундамент почти вырыли... И все работы почему-то встали. А все молчат, своего не требуют. Нет, непорядок здесь, надо на собрании выступить, прямо обо всем сказать!

— Ладно, Анна Сергеевна, ты не убивайся так, не переживай, будет у тебя квартира! — пообещал он крановщице.

Весть об обещанной квартире Аня Стрюкова быстро разнесла по порту, и потянулись к Вислину люди, и не стало ему покоя — всех надо выслушать,

все со своими бедами: тому ясли, этому садик, другим путевки в санатории профком не выделяет, а больше всего жаждущих квартиры получить. И у всех положение действительно критическое, а что для них можно сделать — не ясно. Списков очередников и то не отыскать. Дорин к Васеневу послал, тот в профком, оттуда пришлось идти в жилищную комиссию. Все знают, что списки должны быть, а где, в чем столе затерялись — никто точно сказать не может.

Через неделю на профсоюзном собрании разгорелись страсти. И вопрос на повестке дня стоял другой — принятие социалистических обязательств, но как завелись про жилье — не остановить. И Вислин тоже решил все нагоревшее высказать: и кому выгодно, чтобы списки затерялись, и что Дорин не пошевелил даже пальцем, чтобы начать строительство дома. Были факты. Примеров несправедливого распределения жилья Леша мог теперь привести достаточно, однако, когда он поднялся с места, Дорин опередил его:

— Минуточку, Алексей Иванович, я коротко по ходу собрания тут отвечу. Согласен со всеми выступавшими. Правильно народ требует, и мы к народу должны прислушиваться — заботиться надо не только о плановых показателях, но и об условиях жизни тех, кто эти показатели дает. Это наше святое дело! И хочу не в упрек моему уважаемому заместителю, товарищу Вислину, объективно заметить — мало он уделяет внимания жизни наших рабочих. Недавно он, правда, нами избран, но пора ему и отдачу давать. И здесь с него строго спросить надо. Я коллектив в этом плане всегда поддержу!

Вислина будто холодной водой окатили: что за напраслина, ведь все готов для людей сделать, а тут, оказывается, сам же и виноват, и видно сейчас

по тем взглядам, что бросают на него товарищи, многие Дорину поверили...

Домой Леша пришел грустный. Рассказал все жене, она заметила:

— Ну вот, Леша, ты же сам всегда начальство критиковал... Теперь понял, как несладко, когда тебя упрекают в том, в чем ты совершенно не виноват и о чем совсем не знаешь.

— Ты не права,— возразил Вислин.— Знать-то их проблемы я знаю, только вот помочь никому, действительно, пока не мог, не понимаю я, как это дело с места сдвинуть.

— Что тут понимать, действовать надо! — Дала жена как всегда разумный совет.— Да и себя не забудь, сколько мы еще будем обитать на поселке, с печным отоплением? Вон, Молибога, капитан катера,— в двенадцатиэтажке, с лифтом, недавно получил, а ты сейчас не какой-то Молибога, ты второе лицо в портофлоте!

Леша стал объяснять, что Молибога вовсе не от портофлота квартиру получил, а в горисполкоме, но убедился еще раз, что спорить с женой о чем-либо бесполезно...

А Дорин на следующий день после собрания пребывал в прекрасном настроении и утром, после того как разнарядки на буксиры выдали, заметил Васеневу:

— Ну как, Васенев, сообразил теперь, кто такой мальчик для сечения?

— Это вы просто здорово придумали,— оживился Васенев,— очень прозорливое решение, очень деловое! Только вот...

— Что вот? — насторожился Дорин.

— Одна заминка вышла, — объяснил Васенев,— компрессор у водолазов уже работает...

— Как работает? Не могли его так быстро на «плавучке» починить!

— Конечно, не могли. Это Вислин сам, с Якобсоном...

Дорин насупился — и было от чего. Водолазов месяц назад затребовали на обследование заводских причалов, отдавать их было крайне невыгодно, а тут компрессор из строя вышел — и нет проблем. А теперь что получается?

— А ну-ка, Васенев, позови-ка нашего заместителя! — приказал Дорин.

Вислин появился в кабинете, на вид чем-то угнетенный, без своей обычной улыбки.

— Алексей Иванович, вы что же в водолазные дела влезаете и ущерб наносите производству? — строго спросил Дорин.

— Какой ущерб? — не понял Вислин. — Мы же все наладили, теперь водолазов хоть куда посылай!

— Вот именно, хоть куда... А вы знаете, что компрессор после вашего кустарного ремонта нельзя запускать в работу? Это же ответственное дело — под водой подача воздуха! Нужен гарантийный паспорт! А его только в мастерских могли выдать! Кому нужно такое шапкозакидательство! Вы проявили поспешность. Делаю серьезное замечание, занимайтесь общими вопросами, ясно?

У себя в комнате-кабинете Вислин задумался. Как браться теперь за какое-нибудь дело? Попробуй, определи, где частный случай, а где общий. Вот компрессор сломался: вроде частный, а если водолазы не работают — общий. И чем больше катер находится в действии, тем лучше. Вот если бы водолазам платили за их подводную работу, а не за простой у причала!

Вислин взял чистый лист бумаги и стал подсчитывать. Работа нелегкая, непривычная, но все-таки

одолеет расчеты — а что дальше? К Дорину — скажет, вопрос не общий, не ваше дело... Решил начальнику порта отправить. Подписал расчеты и в конверт вложил. Пусть думают, должны понять, что менять оплату надо. Но это ведь не самая трудная проблема. А вот с домом как быть, с чего начать? Один тут в поле не воин, надо с Якобсоном посоветоваться...

Якобсон к любому делу подходит обстоятельно. Вот и здесь,— сначала надолго задумался, даже сказать ничего не смог, а на следующий день предложил:

— Прежде чем строительство затевать, надо проверить, есть ли из чего строить, где все наши материалы, где все то, что у нас заготовлено.

— Толковое предложение, — согласился Вислин.— Пойдем прямо сейчас!

Разговаривали они у проходной, и их услышал шофер доринской машины Зубарев, старый приятель Леши.

— Зачем же ходить,— сказал он,— я вас в миг куда надо доставлю!

С поездкой им не очень повезло: последние дни стояла безоблачная, редкая для Прибалтики погода, а тут — только отъехали — дождик зарядил. Впрочем, ничего страшного: выбежишь из машины, походишь, посмотришь — и опять в тепло и сухость. Зубарев отопление включил, одежда быстро просыхала. Хуже было другое — от россыпи бревен остались жалкие несколько стволов, а кирпича совсем не было, только место, где он лежал, красноватым квадратом среди ранней травы выделялось.

— Вчерашний день ищите, — сказал Зубарев.

— Где же наши кирпичи и бревна? — спросил Вислин у Якобсона, хотя уже догадался, где.

— Растяпы мы, Вислин,— с горечью произнес Якобсон.— Из-за нас, из-за нашего попустительства

все и происходит; промолчали в тот раз, помнишь, еще когда бревна к Дорину увезли — вот и стоим теперь у пустого корыта, какой теперь дом...

— Это мы еще посмотрим, какой! — сжав кулаки, сказал Вислин.

На следующий день пришлось опять заняться расчетами. Взял Вислин все накладные и книги учета на складе у Анастасии Ивановны, стройматериалы полученные пересчитал и сложил — получалось на любой дом с избытком.

Дорин посмотрел все эти расчеты, сначала ничего не понял и грозно уставился на своего заместителя. Но Леша его взгляд выдержал и не менее строго на Дорина посмотрел. А потом ультиматум поставил:

— Строительство дома на этой неделе начнем, а материалы все вернуть придется тем, кто их брал. Дело это подсудное!

— Не много ли на себя берете, смотрите, Алексей Иванович, не переусердствуйте! — сказал Дорин. — Вы еще не почувствовали своей работы, ничем себя не проявили, а лезете на рожон, вам надо за работу всего порта бороться, а не против меня! — Пойдете со мной на совещание к начальнику порта! — приказал он. — Там поймете, что такое ответственность!

В кабинете начальника порта Вислин очутился впервые и сразу почувствовал себя не в своей тарелке: вокруг важные солидные люди — начальники портовых служб, представители инспекций. Все осанистые, высокие. Сам начальник порта, правда, роста небольшого — пожалуй, такого же, как он, Вислин, только выглядит много солиднее.

Докладывали ему начальники служб о своей работе тихими вежливыми голосами, а он сыпал вопро-

сами, приводил их в смятение своими советами, и видно было, знает человек что в порту делается.

А когда подошла очередь Дорина, даже рта ему раскрыть не дал, сразу пошел в наступление:

— Почему буксиры не подали вовремя к плавкрану? Куда водолазы исчезли? Когда наладите на доках настоящую вторую смену? Мы для флота, или флот для нас?! Людей полно, а распорядиться ими не умеете и не хотите!

— Где я людей возьму,— начал свое оправдание Дорин,— как я вторую смену организую? Мало у нас с кадрами трудностей, так еще мой заместитель Вислин палки в колеса просовывает. Дом задумал строить именно сейчас! Естественно, люди на стройку кинутся. О какой второй смене можно тогда говорить? И это в тот момент, когда так необходимы ускорение и перестройка! И вот кто тормозит эту перестройку. Такие как Вислин на все идут, чтобы темп, сбить!

Леша почувствовал, что многие из присутствующих смотрят в его сторону, и густо покраснел. Что же о нем подумают, как же все так Дорин сумел повернуть? Надо им всю правду разъяснить, решил он, но в это время поднялся начальник порта и прервал Дорина:

— Постойте,— сказал он,— много слов мы привыкли говорить. Наказывать будем тех, кто тормозит, увольнять!

— Да я вот и приказ заготовил,— засуетился Дорин и полез в карман,— я, конечно, не сразу на увольнение, я тут выговор ему с предупреждением предлагаю.

У Вислипа внутри что-то сдавило, голова будто свинцом налилась, и показалось ему, что все это только снится, ведь не может такой подлости на самом деле происходить.



— Я только не совсем пойму, товарищ Дорин, как можно так быстро менять мнение о человеке? Вы же давно его знаете! В прошлом году просили, чтобы я вас от Вислина избавил, и вдруг его своим заместителем сделали?

— Да, метаморфоза,— сказал кто-то с места незнакомое Леше слово.

— Так это разве я! — развел руками Дорин.— Это его коллектив избрал! Вы же знаете, как сейчас у нас — полная демократия!

— Так, так,—протянул начальник порта, и взгляд его стал непроницаемым,— говорите, народ избрал. Так, так... А теперь,— он повернулся к своей секретарше,— пишите в протокол: первое — строительство жилого дома своими силами закончить до конца текущего года, далее — водолазов, согласно расчетам заместителя начальника плавсредств, перевести на сдельную оплату, третье — проанализировать возможность перехода всех плавсредств на полную самокупаемость, всех буксиров и катеров...

— И доков тоже,— вырвалось у Вислина.

— Да, с вами не соскучишься! Пишите — и доков,— сказал начальник порта.

— И спецодежду надо на буксиры выдавать, чем там люди хуже других портовиков,— снова вмешался Вислин.

Начальник порта не привык, чтобы его перебивали, но Вислина не остановил, не возмутился, только сказал в заключение:

— Что ж, коли так, запишите — ответственным за намеченное назначить Вислина. И смотрите, Вислин, спрошу за все строго!

## ПРОТЕКЦИЯ

В нашем отделе работал Петя Павлюк — очень толковый механик, а до чего добродушен — вряд ли можно было другого такого в конторе отыскать! Лицо у него круглое, глаза веселые, и весь, как говорят, душа нараспашку... Как и большинство из нас, пришел он в отдел с флота. У каждого была своя причина осесть на берегу.

Назывался наш отдел довольно-таки солидно: «Головная служба по внедрению передовых методов технической эксплуатации флота». А на деле зачастую приходилось не передовые методы осваивать, а сочинять инструкции да всяческие приказы... Бумажная суета нас, бывших стармехов, поначалу раздражала — но потом ничего, привыкали. За все это в награду нам была береговая жизнь: свой дом, своя постель, под ногами твердая земля — ни качки тебе, ни аварий, ни авралов... Все страсти только на бумаге, сиди пиши радиogramмы и письма, составляй заявки в снабу, отчеты делай вовремя — и к тебе никаких особых претензий. Казалось бы, не жизнь, а голубая мечта. Та, которую еще в дальних рейсах лелеяли.

И вроде наплавались мы все вдосталь, хлебнули соленой водицы, аммиаком и рыбой так пропахли, что годами не выпаришь, соляра еще из пор не от-

мыли, но все равно многие из нас конторского житья не выдерживали и уходили. Опять возвращались на траулеры, опять Атлантику пахать отправлялись и рыбу шкерить. Были, правда, среди нас и такие, что в заграничные командировки попадали, на работу в представительства или по контрактам. Там заработок приличный, поэтому и желающих хоть отбавляй.

Но Петя Павлюк ни в море, ни за границу уходить из отдела не желал.

— Да вы что, парни! — восклицал он, отрываясь от сочинения очередной деловой бумаги, где каждое слово давалось ему с превеликим трудом, — да у нас же райская жизнь! В тепле! Жена — под боком. Садик свой, скоро яблоки созреют! Да меня отсюда буксиром не вытащишь!

Мы улыбались, слушая его восторженные речи. А он, бесхитростный человек, действительно всем был доволен и напоминал теленка-несмышленища, вырвавшегося впервые из тесных ясель на просторный луг, полный сладкого клевера и медовых ароматов.

Голос у Пети Павлюка был звонкий, улыбка ослепительная. И ничего он в своей жизни от нас не утаивал, а радостями своими откровенно делился со всеми. Так, весь отдел знал о достоинствах его жены, хотя видели ее лишь некоторые, да и то мельком: обычная женщина, хотя и миловидная блондинка. А Петя взахлеб рассказывал, какая она красавица, как любит его, как всегда с нетерпением ждет с работы, как детей сумела воспитать...

Детей у них было трое — парень лет десяти, копия отца, и две девочки-погодки, помладше. Детей своих Павлюк просто обожал, и жена, по его словам, не нарадуется, как он с ними умеет здорово контактировать. Кается даже, что раньше его в рейсы отпус-

кала, и не нужны, говорит, ей никакие морские деньги. При этом не только деньги клянет, но и рыбу, за которой в такие дали траулеры гоняют. И Павлюк с удовольствием повторял ее слова: «Забудь и не думай про эту рыбу, пусть ее те ловят, кто в море выпустил, а для нас и озер хватит!»

Все это было нам знакомо, опыт мы кое-какой имели: многие по третьему году уже на берегу кантовались, а потому хоть и не умеряли его восторгов, но ждали, что он запоет через пару лет, когда деньги на сберкнижке кончатся, а трое подросших ребят свое начнут требовать. Как он их на зарплату береговую оденет да прокормит? А еще в уме каждый прикидывал — сколько времени жена с ним ласкова будет...

Прошел год, прошел второй — покинули отдел одни механики, появились другие, а Петя Павлюк оставался все таким же. И все мы уже откровенно радовались за него: повезло человеку! И семья у него надежная, жена, действительно, золото, любит его по-настоящему!

Чем еще хорош был наш отдел, так это месторасположением. Находился он не в самом здании управления, что в центре города, а рядом с портом — в пристройке за складами. Поэтому начальник, которому не только наш отдел подчинялся, но и служба судоремонта, сидел не вместе с нами, а имел отдельный кабинет в главном здании. Он лишь изредка вызывал нас к себе, да и то не всех, а старших. Там, в главном здании, у него своих забот хватало: судоремонт — дело хлопотное, заводов мало, запчастей тоже. Он в своих проблемах так увяз, что до нас и руки не доходили. Такая относительная свобода позволяла многим из нас не только бумажные дела вершить, но и суда не забывать — ходили мы к нашим братьям механикам, помогали чем

могли: автоматику настраивали, пробные запуски дизелей делали. Это давало возможность все новое, что на флоте внедрялось, не только в чертежах видеть, но и руками пощупать.

Теперь немного о начальнике нашем, Константи́не Федотовиче Чепулаеве. Он в этой истории лицо не второстепенное. Чепулаев был из своих: тоже когда-то много лет океан нахал, от моториста до главмеха путь проделал, по на берегу так быстро перевоплотился в чиновника, что даже его бывшие друзья-соплататели диву давались. А кто его раньше не знал, ни за что не желал поверить, что он когда-то с масленкой ходил да клапана самолично притирал. Сидел Чепулаев в кабинете этакий важный, надутый, лицо лоснящееся, взгляд бычьих глаз отрешенный, чтобы входящий в кабинет сразу видел — не до тебя ему, о глобальном начальник размышляет, а ты мешаешь. Говорил он нам всем «ты», долгой беседой никого не баловал, все вопросы и сомнения прерывал одним словом: «Ступай!» Первым здороваться считал для себя делом недостойным и руки подчиненным старался не подавать.

Все это было бы еще ничего, если бы не был он к тому же явным делопутом. Резолюции на бумагах писал самые невероятные, да еще таким неразборчивым почерком, что не могли мы их даже прочесть толком. Интересно, что разобрать их он и сам не всегда мог. А дату под своим указанием имел привычку ставить прошедшую: например, требуется выполнить то-то и то-то срочно к пятому февраля, а в бумаге ставит давно прошедшую дату — пятое января. А почему? Чтобы потом вызвать и уколоть исполнителя — смотри, мол, какая нерадивость — срочная работа месяц делается, нет, не могут люди оперативно исполнять задания. Бумагой этой перед носом трясет, ногами стучит и свою любимую при-

сказку выкрикивает: «По хвостам бьем! Кимарим на бочках с порохом! Бездельники!»

Однако хоть он и частенько на нас гневался, а из отдела людей старался никуда не отпускать — ни в рейсы морские, ни тем более в заграничные командировки, хотя работать за границей рвались многие. Наш начальник поставил дело так, что добиться назначения в иностранный порт можно было только через высокие инстанции — главк или министерство, если там имелись связи. Понятно, что такая лазейка была немногим доступна — уж слишком далеко мы от министерства располагались.

Сам же Чепулаев хотя других и порицал в глаза и за глаза: мол, за большими деньгами, хапуги, рветесь, спал и видел себя в представительстве, по меньшей мере, на верфях Испании или Швеции. Понять его было можно: четверо детей да теща. Ясно, хотелось и свет повидать, и заработать. Конечно, заработок там не чета нашему... После заграничной командировки некоторые люди в корне менялись: не говоря уже о внешнем облике, о всяких там куртках лайковых и замшевых, молниями опоясанных, с хитрыми заклепками вместо пуговиц,— что-то и внутри у них преобразовывалось. Замечания по службе уже не трогали, выговоры, лишения премий — комариными укусами были. Все у них в жизни шло без сучка и задоринки, и это видно было даже по походке, а особенно по этакой самодовольной улыбке.

Естественно, речь идет не об обычной командировке для решения разовых наших флотских проблем, а о работе в представительстве или, что еще престижнее, советником в самом посольстве.

И вот Чепулаев решил твердо: пока он начальник и есть почва для общения с министерскими товарищами, добиться выгодного места. Мы не без

ехидства наблюдали, как он преображался, когда появлялись в нашем управлении проверяющие из столицы. Тут наш Чепулаев сбрасывал с лица маску вечно недовольного начальника и становился рубахой-парнем: широко улыбался, рассказывал с блеском морские байки, а к нам в присутствии влиятельных гостей обращался не иначе, как «дорогой мой», «любезный» или уж совсем интимно: «милочка». Гостям это импонировало, к тому же становился он для них просто незаменимым гидом. Вот тут-то и разворачивался его незаурядный организаторский талант: бронировались лучшие номера в гостинице, добывалась на целый день директорская «Волга», накалялась жаром финская баня, организовывалась рыбная ловля на затерянном в лесах озере...

Все это не могло, конечно, пройти втуне,— и дошли до нас слухи, что Чепулаев включен в какие-то суперпрестижные списки кандидатов на работу в представительствах и очередь его первейшая — в общем, сидит он уже почти на чемоданах. Мы почувствовали, что это не туфта и потому, что начал наш начальник от дел отходить и фактически передал бразды правления нашему механику-наставнику Елисееву. Называли у нас Елисеева не просто по фамилии, а обычно добавляя к ней слово «благородный». Так и прилепилось к нему: «Благородный Елисеев». Он был классным специалистом и отработал даже целых два срока за границей, но деньги его нисколько не испортили, да и не держался он за них — большую часть своих капиталов взял да и отдал сестре жены, которая без мужа осталась. Остальное жена сама сумела быстро употребить на модные одежды. Успел он, правда, машину купить, но это, как говорится, не роскошь, а средство передвижения. В данный момент жил он уже, как и все мы, на инженерскую свою зарплату.

На ход событий в этой истории повлияли чисто человеческие качества нашего механика-наставника. Елисеев был человеком прямым, перед начальством не заискивал, имел собственное мнение, всегда добивался нужных поставок и своевременных ремонтов. И даже имел смелость суда задерживать, если они к выходу не были по-настоящему снаряжены. На такой шаг мало кто был способен в порту. Заслуг он своих не выставлял, лести не терпел и твердо стоял на страже справедливости.

Чепулаев, сразу почувствовав в нем лидера, невзлюбил расторопного механика, но открыто свою неприязнь высказать опасался, так как знал, что в министерстве работают несколько друзей Елисеева и поэтому принимают его там как своего человека. Редко какой проверяющий из столицы не спрашивал: «Ну как тут поживает у вас Елисеев?» И приходилось, конечно, отвечать, что в полном порядке, что это прекрасный человек и надежда всего флота.

Елисеев со всеми держался ровно, дружески, а Петю Павлюка особо выделял за его простоту и исполнительность.

Пошел уже третий год службы Павлюка в нашем отделе, а время не изменило его и не поубавило в нем доброты и открытости. Оно лишило только его небольшого подспорья к зарплате, заработанного в дальних рейсах. Деньги довольно быстро растаяли — все-таки трое детей, да и родители в дальнем селе, оставшиеся с мизерной пенсией и привыкшие к его регулярной помощи... И встал он перед давно предсказанной ему проблемой: заработок необходим морской, а в море не тянет. Лад в семье тоже был близок к тому, чтобы дать трещину, о чем он, естественно, всем нам поведал, и мы ему посочувствовали, потому что сами все эти этапы семейных отношений давно прошли.



Наступили в его семье будни, пришли обычные житейские заботы: зарплаты не хватало, чтобы жить, не размышляя ежедневно, как свести концы с концами.

Ясно было теперь, что единственный выход у него — снова в море. Пара хороших рейсов в Тихий океан — и полный порядок будет.

— Нет, ребята,— печально ответил Павлюк на наше предложение о морском вояже,— в море меня моя ни за что не выпустит, я уже толковал об этом. Не хочу, говорит, соломенной вдовой жить, что, мол, я,— хуже других...

И тогда Елисеев опросил:

— А в загранкомандировку отпустит?

— Да это же не для меня,— замялся Павлюк, — хотя туда, конечно, уговорю, поймет, ведь за год можно и на одежду, и на хату заработать, только это не для таких, как я, нету у меня связей никаких...

— Что вы все! — возмутился Елисеев. — Привыкли болтать — связи, связи. Там же специалисты, головы нужны, а на булатных далеко не уедешь! Будут у тебя связи!

И действительно, не прошло и месяца, как стали гости из министерства настойчиво интересоваться Павлюком, у начальника про него выспрашивать. А однажды даже взяли его в свою компанию и в финской бане Павлюк побывал вместе с Константином Федотовичем и двумя важными персонами из Главрыбфлотинспекции. Пригласили они его, конечно, по наущению Елисеева.

Кроме того, придумали мы такую Павлюку поддержку: как только вызовет его Чепулаев или другой начальник к себе в кабинет — мы звоним и спрашиваем:

— Павлюк не у вас? У вас. Извините, что бес-

покоим, но тут Москва на проводе, срочно его требуют. Из министерства.

Или, к примеру, пошлют Павлюка на какое-нибудь очередное совещание в конференц-зале заседать, — мы и туда гонца шлем, механика из резерва: он в зал проникает и нашу записку в президиум совещания передает, а в записке, естественно, о том, что Павлюк срочно нужен, просят, мол, его в главк позвонить, согласовать вопросы по технической эксплуатации новых траловых лебедок. У начальства в президиуме растерянность. «Кто Павлюк? Что за Павлюк? В зале? Очень хорошо. Идите, Павлюк, срочно связывайтесь с главком. Пароль, шифр знаете? Нет — тогда через секретаршу, да скажите, чтобы по срочному заказала». И, конечно, наши начальники у Чепулаева интересуются, что это за механик такой в его подчинении, который и с главком, и с министерством напрямую общается. «Большие связи у человека», — вздыхает Чепулаев и разводит пухлыми руками.

Так продолжалось месяца три, и, естественно, когда составлялись очередные списки кандидатов в заграникомандировки, Чепулаев наш, как обычно, всех почти из своего отдела вычеркнул — зачем ему лишние конкуренты? — а вот Павлюка, которого Благородный Елисеев вписал, вычеркнуть уже не решился.

Все вроде шло по плану, но тут взбунтовался сам Петя Павлюк:

— Нет, ребята, не могу я так! Блеф какой-то получается! Тебе, конечно, Елисеич, спасибо за заботы, а я больше не могу. Не хочу я интриги разводить! Пусть меня вычеркивают!

— Остынь, Петя! — остановил его Елисеев. — Никакого здесь блефа нет. Ты там пользу как опытный механик принесешь в отличие от некоторых, и нас

еще добрым словом не раз вспомнишь. А порядок этот блатной срочно рушить надо. Ведь из года в год наладились: то родственник чей-нибудь, то старичок заслуженный, то такой бездельник и делопут вроде нашего Чепулаева. Флот же от этого страдает, а мы, честные, молчим! И вообще, пора нам с бюрократией кончать!

Все мы дружно поддержали Елисеева. Каждый какой-нибудь случай, подтверждающий его мысли, вспомнил. Всякое, конечно, бывает: иной раз действительно посылают вместо механика какого-нибудь сынка высокопоставленного начальника мир повидать, а там работать надо, вот так и подрывают престиж наших специалистов. Я тоже помню: как-то летал в командировку. Авария на одном из наших судов произошла, поставили его в импорт в док, поручили мне разобраться. Прибыл я в далекую страну в ноябре — самая жара у них. В мастерских рабочие в отпусках, а надо срочно редуктор ремонтировать, в противном случае придется судно на буксирах в наш порт тащить. Пришел я на совещание к директору мастерских, все через переводчика объяснил. А там, в нашем представительстве, как раз работали такие «специалисты» — инженеры, которые понятия о судах не имели. Директор мастерских, видимо, их давно раскусил, ну, и на меня тоже смотрел, как на очередного недоучку, приехавшего себя показать и мир посмотреть. Впрочем, любезно разговаривал, только лицо насмешливое; через переводчицу объяснил, что, мол, нужны чертежи съемника, иначе редуктор не разобрать. Запрашивайте, мол, в Союзе и ждите.

Ему, естественно, время нужно протянуть, и он рассчитал, что пока я запрошу чертежи, пока их пришлют — глядишь, и лето кончится, отпускники вернутся, работа для них будет выгодная. А не вы-

держат наши такого простоя, уволокут траулер из порта па буксирах к себе в страну — для него тоже неплохо. А для пас простой — убытки огромные. Но я спорить не стал: «хорошо»,— говорю, а сам в сторону сел, и пока совещание шло, сделал чертежи. В конце совещания спрашиваю: «Если будут чертежи сегодня, когда редуктор разобрать можно?» Он смело отвечает: «Маньяна», то есть завтра. Когда я чертежи ему подал — случилась немая сцена. Потом разговорились с его помощником, тот русский язык немного знал,— очень он на наших специалистов обижался, да и я краснел. Как было объяснить ему, почему некоторые деятели из кабинетов сюда, в мастерские, попадают?..

Я свой этот случай ребятам рассказал. Елисей мне поддакнул, тоже несколько историй вспомнил. Павлюк задумался, потом пообещал:

— Ладно, ребята, понял я вас, попробую врубиться в эти описки. Поеду, конечно, коли пошлют, понимаю, что для пользы дела надо...

И вот пришла в наш порт весна. Небо заголубело. Лед на заливе стал рыхлым. Как раз весной всегда сменялся состав представительства в далекой африканской стране, и Константин Федотович собрался распрощаться с нами. А насчет Павлюка сказал Елисееву, что, возможно, возьмет его себе в помощники, что даже говорил об этом с генеральным директором, тем более, что звонили опять из министерства и очень лестно о Павлюке отзывались. Начальник наш, надо отметить, удивительно подобрел, ходил по управлению с блуждающей улыбкой на широкоскулом лице, довольный всеми, стал даже за руку с нами здороваться, обещал перед отъездом шикарный банкет устроить. Некоторые даже дату его отъезда называли, уже последние сомнения рассеивались — до конца апреля отбудет...

— Насчет начальника нашего, Константина Федотовича, гарантий не дам,— останавливал паши разговоры о смене начальства Елисеев,— а вот Павлюку пора собираться!

— Оставь, Елисеич,— злились мы.— Если бы ты командовал, а то ведь сам знаешь, какие протекции у нашего бюрократа. Все твои выдумки теперь мало помогут, место осталось по разрядке только одно! Сам же читал телеграмму из главка!

Однако получилось так, как Благородный Елисеев предсказал.

В конце апреля собрал нас Чепулаев на совещание, как обычно, подытожить дела за месяц, и такие громы и молнии метал, что мы только диву давались — откуда такая метаморфоза. Может, на прощание хочет накачку дать, чтобы здесь без него на совесть крутились, переживает все-таки за дело, хочет, чтобы не подвели его? А то ведь, действительно, может попрекнуть его генеральный директор: мол, сами за границу, а в работе разброд, да и не только попрекнуть, а и отозвать. А Константин Федотович разошелся не на шутку, давненько от него ничего подобного не слышали: вы, мол, здесь вое временщики — кто в море рвется, кто за границу, а о том, что флоту нужен ремонт, что новая техника нужна, об этом никто не думает, так как многим эта заграница свет белый затмила, а едут туда бездельники и не для работы, а для заработка. В то время, как флот на заводах простаивает, некоторые о собственной выгоде позорно пекутся! И на Павлюка так накинулся, что тот только глазами хлопал. Выставил его перед всеми Чепулаев, как самого беспросветного лодыря и разгильдяя.

Вышли мы из его кабинета как оплеванные. Кое в чем упреки были справедливы: не все у нас идет нормально, пора менять стиль работы, в бу-

магах мы утонули... Но он-то где был до сего дня, сам-то что предпринял за всю зиму, он-то ведь кроме бумаг ничего не хочет видеть...

А на следующий день еще одна новость — приказ по управлению вышел: всем механикам отдела по выговору, а Павлюку — строгий.

Петя Павлюк грустно улыбнулся: — Ну вот, а вы говорили — заграница, представительство! Со строгачом куда мне! А я, дурак, уже и денег назанимал под будущие доходы, как теперь отдавать?

Но совершенно напрасно Петя Павлюк впадал в уныние, не прошло и недели, как стало известно — срочно ему чемоданы собирать: пришла из министерства телеграмма, и там конкретно указано — направить в загранкомандировку Павлюка.

Провожали мы Петю всем отделом. Елисеев ему на прощание набор инструментов подарил, мол, пригодится, раз работать едет человек, а не время отбывать. На вокзале жена от Пети ни на шаг не отходила. Приятно и радостно было за них: оба стройные, красивые, а главное, глядят друг на друга так, что позавидуешь. Павлюк буквально на ходу в вагон заскочил — и сразу к окну, а она ему руку протянула. Мы все, конечно, тоже машем, кричим последние пожелания.

И что самое странное, Константин Федотович наш на вокзал тоже подошел, стоял долго в стороне, а когда поезд тронулся, сам рукою помахал, крикнул:

— Счастливо, марку там держи!

— Он-то не подведет,— поддержал Елисеев,— с ним нянчиться не придется, положение у него там твердое будет!

— Да... Протекция,— протянул Константин Федотович. — Вот так и получается,— у кого связи есть, тот и на коне!

Мы его разуверять не стали.

## БАРЬЕР

Василий Кириллович Харузов догадывался причине вызова в главк в столь ранний час. Еще позавчера ему позвонили из министерства и сообщили, что свершилось то, чего он добивался — подписан приказ о ликвидации Объединенного управления судоремонтом. Того самого управления, которым вот уже более года Харузов командовал.

Но пока листы с текстом приказа будут выползать из-под барабана ротатора, пока их запечатают в конверты, а потом эти конверты будут лежать в темноте почтового вагона, и поезд более суток потащится до Взморья, еще очень многие попытаются если не отменить нежелательное для них решение, то хотя бы воспрепятствовать его выполнению, как говорится — спустить дело на тормозах. Все это Харузов отлично понимал и был готов к далеко не легкому разговору с начальником главка Остудиным.

Харузов медленно поднялся на второй этаж, — было без двадцати девять, и в главке рабочий день еще не начался. Пустые лестничные пролеты, отшлифованные тысячами ног ступени, гулкость просторных коридоров, высокие потолки с затейливой лепниной, — почти ежедневно он входил сюда, и всегда вокруг царили суета и мельтешение, споры, шум голосов, а сейчас — тишина.

Харузов растворил массивную дверь и очутился в хорошо знакомом ему кабинете Остудина. Кабинет этот по площади был равен залу заседаний: ряды кожаных стульев застыли вдоль стен, занавеси, похожие на экраны, свисали между широкими, красиво задрапированными окнами, под занавесями были карты мирового океана, на которых флажками обозначались местонахождения судов. На противоположной стене тоже были занавеси и тоже карты, а между ними потайная дверь, ведущая в прохладный и уютный уголок с кафельными стенами и белой ванной.

Он прислушался — за дверью булькала и стекала вода. Значит, хозяин кабинета там. Харузов приготовился ждать и облюбовал мягкое кресло, стоящее в углу кабинета. Но едва он двинулся к этому креслу, как потайная дверь скользнула вдоль стены и в проеме появился Остудин.

Почти ничего в его внешности не напоминало того лихого молодцеватого начальника промысла, с которым много лет назад Харузов не раз встречался в Атлантике. Некогда подвижный, мускулистый обладатель самого мощного баса на всем флоте теперь превратился в рыхлого, тучного, страдающего одышкой человека. Складки шеи свисали на твердый ворот форменной куртки, лицо стало бледным, отечным, и от густой рыжеватой шевелюры почти ничего не осталось.

Они были одногодки, хотя на вид никто бы не сказал, что Харузову за пятьдесят — ни одного седого волоса и морщин на лице совсем почти нет. «Вот подожди, поработаешь с мое начальником,— как-то заметил Остудин,— и прыть твоя, и шевелюра весьма поубавятся,— это не море, где никто тебя сверху не давит, да и хлопот особых нет». Насчет хлопот он был, конечно, не прав — на промысле



их предостаточно. Ну, а по поводу управленческих дел знал, что говорил — нервы здесь пришлось потрепать изрядно.

— Теперь-то вы поняли, что произошло!? — спросил Остудин, и лицо его стало медленно наливаться краской.— Добегались по министерствам!

Сразу в карьер, не отвечая на приветствие, не предлагая сесть...

Харузов молча ждал, когда схлынет гнев начальника. Так бывало часто. Остудин сгоряча мог накричать, даже оскорбить, но быстро отходил и после взрыва негодования становился даже более покладистым, чем обычно. Правда, сегодня на это уповать не приходилось, слишком далеко зашло дело.

Остудин тяжело опустился в кресло, минуту сидел молча, уставив взгляд в полированную поверхность стола, а потом нетерпящим возражения тоном сказал:

— Пока здесь командую я, и вы сегодня же составите обоснования необходимости существования вашего управления, подберете инструкции для всех ваших подчиненных, проверите, чтобы их обязанности не дублировались, и к вечеру все мне на стол! Если этого не будет сделано, то вы не просто лишитесь места начальника управления, чего вы, как я теперь понял, жаждете, вы еще положите на стол партбилет!

— Как можно обосновывать нелепость? — спокойно возразил Харузов.— Кому нужно все это? Мы гирей виснем на шее флота! Нужна коренная перестройка!

— Вы не на трибуне, и лозунги здесь ни к чему! — оборвал его Остудин.— Рассматривайте мое поручение как приказ! Завтра здесь будет комиссия из министерства, и учтите, ее возглавляет Гарновский!

Спорить было бесполезно. Харузов покинул кабинет шефа, нисколько не уязвленный гневом начальника. Реакция эта просто лишний раз убеждала — все сделано правильно и никакие остудины не в силах остановить начатого, управление будет сокращено, а там очередь и главка.

Несколько обеспокоило, что присылают Тарновского, их бывшего начальника управления. Ясно, что тот примет сторону Остудина. Впрочем, теперь другие времена. Тарновский неглуп, и ему придется, хочет он этого или не хочет, выполнять приказ министерства. Лет пять-шесть назад, конечно, другое дело. Остудин решил бы все своей властью, а в министерстве такой приказ, как сейчас, никогда бы не подписали. Зачем им это все, только лишние хлопоты. Сейчас у них в подчинении пять главков, каждый главк руководит несколькими управлениями, а сократи эти главки и управления, придется непосредственно заниматься заводами. И Остудин, видимо, понял, что сокращение управления — это только первый шаг. Кому нужен главк, у которого не будет подчиненных ему управлений?

Харузов не стал вызывать машину, на работу к девяти он успевал. Письма и распоряжения из главка до управления идут двое суток, пешеход же — пятнадцать минут, это проверено — здания находятся в пределах видимости друг друга.

Было холодное майское утро. Свежий морской ветер шевелил едва распустившуюся листву деревьев, посаженных вдоль Северного бульвара. Бульвар этот тянулся параллельно заливу, и в промежутках между домами виднелись мачты и трубы судов, стоящих у причалов. Все вокруг напоминало о близости моря, и люди, спешащие в учреждения, тоже были свои, флотские: загорелые лица, шевроны на рукавах, выдавшие виды мичманки... И дома на проспек-

те напоминали корабли: это сходство рождали телевизионные антенны и то, что здания стояли не плотно, а разделенные пустым пространством. Высотные дома — плавбазы. И самый высокий из них — его управление, гудящий улей, переполненный людьми. На втором этаже — трест стройматериалов, на третьем — снабженцы, четвертый занят различными инспекциями, а выше — три этажа — сплошной судоремонт.

Он помнил еще те времена, когда управление только создавалось и ютилось в этом же здании, в полуподвале. Он тогда еще ходил в море. После ленинградской мореходки приехал в этот город по распределению, и за два года прошел путь от моториста до стармеха.

В те времена он по приходу в порт иногда спускался в полуподвал — требовалось согласовать ремонтные ведомости здесь, в управлении, и всякий раз с удивлением наблюдал — сколько же народа может втиснуться в узкие коридоры! Люди толкались подле кабинетов, в которых писали какие-то бумаги, совещались, спорили. Видя постоянную занятость конторских работников, он вначале думал: не успевают они флот обслужить, мало исполнителей. Потом управление разрослось, заняло почти все здание, кабинетов стало больше, людей тоже, но все равно — не успевали. Это позже понял, что они элементарно ничего не могут решить! Потом, когда сам стал береговым работником...

После морских странствий, после женитьбы началась у него иная жизнь, и началась она прекрасно — любовь была, и мир вдруг открылся — непознанный, с уютными тропинками в лесу, с походами за грибами, а главное, с твердой землей под ногами. И работа поначалу была интересной: в техническом отделе завода, где молодые специалистки —

ухоженные, длинноногие, старательно вычерчивали детали насосов и систем, прислушивались к его советам, задорно смеялись, обольстительно улыбались. Но ни одна из них не шла в сравнение с его Ларисой...

Да и не до улыбок было ему на работе. Завод небольшой, оборудование стояло еще довоенное, рабочие за свое место не держались, объем ремонта судов рос, как снежный ком, а необходимых запчастей для судовых механизмов никто не собирался выделять. На селе, вот додумались, например: нужно три комбайна, покупают пять, чтобы потом два на запчасти разобрать. А здесь лишнее судно не купишь — накладно, это вам не комбайн. Приходилось почти все запчасти изготавливать самим, а чтобы сделать нужную деталь, ее необходимо вычертить, поэтому начальники цехов постоянно давили на техдел, на каждом совещании надо было оправдываться, доказывать, что не могут же они объять необъятное.

Харузову и самому приходилось нередко вставать по вечерам за кульман, хотя он быстро продвинулся по службе и стал начальником отдела. Проблемы только чертежами не исчерпывались. Отдел отвечал за внедрение новой техники, и надо было добиваться в главке лимитов на станки, на автоматические сварочные аппараты, на автопогрузчики — все это заказывалось заранее, оформлялись с великим трудом ссуды в госбанке, но потом, как правило, оказывалось, что заявки эти — пустой номер. Лимитов нет и не будет.

Тогда снаряжались на заводы-изготовители гонцы с дарами и письмами. И письма эти были не простые, а на министерских бланках. Вначале, конечно, готовилось ходатайство из главка, но в главке было нельзя обращаться, минуя управление, поэто-

му писали письмо в управление, сразу же заготавливали на бланке управления письмо в главк, и в завершение — письмо из главка в министерство. С подписанной в главке бумагой в столицу отправлялся нередко сам директор завода, приходилось ездить и ему, Харузову.

Командировки в Москву без вызова были запрещены, поэтому посылали вроде бы как за передовым опытом на ВДНХ, на семинары, торчать же приходилось в министерских коридорах, долго и терпеливо выбивая подписи.

А уж с готовым письмом снаряжался гонец на дальние заводы. Помнится, за сверильным станком пришлось отправить одного снабженца аж в Хабаровск. Этих деловых посланцев обеспечивали для верности причудливыми кораллами, перламутровыми раковинами, африканскими масками и прочими дарами, которыми делились с заводчанами капитаны траулеров, ожидающих ремонта. Однажды пришлось даже добывать зеленых попугайчиков особой породы — директор завода, откуда ждали гребные валы, коллекционировал пернатых. Отправили с гонцом как раз тех, что не доставало в директорской коллекции, и уже через месяц дефицитные валы стругали с железнодорожных платформ...

Выходило на поверку, что пи управление, ни главк, ни даже министерство для завода достать ничего не могут, а вот гонец, коли разворотлив и действует с умом, всегда своего добьется. Казалось все это Харузову непонятным и диким, но надо было во что бы то ни стало выполнять план, платить рабочим и отправлять флот на промысел — это сомнений не вызывало.

Вскоре он, Харузов, резко пошел в гору: перевели в управление судоремонт, назначили заместителем начальника, а потом и начальником всего управле-

ния вместо всесильного Тарновского, которого выдвинули на работу в министерство.

Пока ходил в море на траулерах, натерпелся бед с ремонтом. Многое на судне приходилось ремонтировать самим; не раз своими руками и дизеля разбирали, и подшипники притирал, и в электронику влезал,— всему была возможность научиться. На заводской ремонт не надеялись. По году на причалах завода стояли суда, пока корпуса не проржавеют ждали, когда до них очередь дойдет, когда нужные детали привезут. И непонятно было, за что завод деньги берет, да немалые,— ремонт почти что «керосиновый»: разобрали, смазали да собрали — разве это работа?..

Позже, когда сам на заводе устроился, понял, как все непросто: техники нет, рабочих нет, да еще сверху начальников полно, и от каждого не помощь, а сплошные помехи. Пробовал хоть что-нибудь изменить, но оказалось,— руки накрепко повязаны: указания, нормативы, директивы, инструкции, приказы, распоряжения шли на завод нескончаемым потоком. Потому, может, и согласился перейти в управление, что думал там работу в полезное русло направить, к тому же клюнул на лесть Тарновского: тот, когда звал к себе в заместители, заявил: «Такие беспокойные люди мне нужны, будете моим «мозговым центром». Увлёк проектами, а сам уже тогда твердо собрался перебираться в столицу.

На новой должности поначалу замыслов было хоть отбавляй. Не сразу дошло, что управление — это просто громкое название, а по сути — обычная контора, производящая бумаги. И даже не производящая, а перепечатающая. Получали указания и приказы из главка и министерства, делали копии на ротаторе в семи экземплярах — по числу заводов бывших в подчинении, да и направляли эти бумаги

заводчанам. Собственных средств в распоряжении управления не было почти никаких, даже бумагу приходилось покупать за счет заводов. Правда, некоторые управленческие начальники за счет тех же заводов и себя не забывали: кабинеты обставляли хоть куда, да и не только кабинеты... Остановить их было трудно, столь же трудно, как и заставить совершить что-нибудь полезное.

Все его подчиненные, да и сам он, к сожалению, на производство не влияли: очередность ремонта судов диктовало министерство, на заводах были свои планы, свои заботы. Если вдруг предположить, что заводы исчезнут, не станет их совсем,— ни в главке, ни в управлении ничего не изменится: по-прежнему будут продолжать лихорадочно писать письма, сочинять инструкции, справки, визировать эти бумаги друг друга, курьеры будут носиться по отделам — словом, все будет при деле...

Беда еще в том, что и в главке тоже ничего не решается: Остудин просто делает вид, что все в его власти, а власть эта распространяется только на его аппарат да на управление.

Не поставили судно в очередной ремонт, вывели в отстой — никому ни в главке, ни в управлении и дела нет — страдают базы флота, у них нехватка судов на промысле. На заводах-то всегда цеха перегружены, заводы ничего не проигрывают, а значит, и управление на высоте. А если еще бумаги в срок и грамотно написаны,— тогда полный порядок. Бумаги составлять здесь умели. Школа Тарновского! Для него бумажка была божеством: главное в работе, учил он, чтобы написано было все гладко — без сучка, без задоринки. Даже профессионального редактора содержал в штате для придания полного блеска своим бумажным творениям.

Управленцы до сих пор часто вспоминают Тар-

новского добрым словом: и пансионат в Крыму для них выстроил, и в полуподвале буфет оборудовал, да какой: на праздники — пакет с дефицитными продуктами, это для всех без исключения, ну а для верхушки управленческой — ежедневно. И до сих пор им восхищаются: «Вот был начальник,— все мог!»

Это уж верно — все мог, но только не для флота старался. Ходатаев, руководителей с предприятий и судов, жалобщиков не терпел и к себе не допускал. А вот к нему, Харузову, по приемным дням очереди, только сделать он ничего не может для тех, кто томится в этих очередях. И недаром старый его товарищ, мастер из корпусного цеха Егоров, как-то возмутился: «Не контора у тебя, Кириллыч, а богадельня! Оглянись вокруг — сколько толстомордых болтунов развел — в цех бы их ко мне, пусть бы там в литейке попарились, понюхали, за что деньги даются!»

И действительно, богадельня какая-то! Правила свои неписанные: «Не высовывайся — не шмякнешься», «Инициатива наказуема», «Не важно, что сказал, а важно, кто сказал» и далее в том же духе... Предстояло все в корпе преобразовать. Этим намеревался заняться, когда принял управление. Тарновский вскоре уехал, на прощание одарив лучезарной улыбкой и лестным признанием: «Надеюсь на вашу голову и преданность общему делу.» Верил шеф в неизбежность управленческой иерархии и о деле упомянул лишь для красного словца.

Но уже отовсюду доносились вести, что рушатся бумажные бастионы, что новые свежие ветры, пусть еще робко, но набирают силу. И надежда окрепла — все можно изменить, людей зажечь, дать им возможность заняться работой, полезной производству. Начал с кадров: привлек в управление специалистов,



которых знал по морским походам, по работе на заводе, а в заместители взял первого своего капитана — Карцева. Но дело с мертвой точки не стронулось, да и товарищи его были недовольны, что он их с прежнего места сорвал. Человек должен быть уверен, что его деятельность приносит пользу, а здесь — фикция работы, бумажные бури.

Карцев сразу сказал: «Я тебе в одном буду помощником,— если ты это мертворожденное дитя с дороги флота уберешь!»

Что ж, похоже, теперь все решилось. Ни позиция его, Харузева, ни то, что управление доживает последние дни, ни для кого не представляют никакого секрета.

Харузева в конторе уже ждали, несмотря на то, что до начала рабочего дня еще оставалось минут десять. В «предбаннике»,— так называли управленцы помещение перед его кабинетом,— собралось человек десять. Самым озабоченным выглядел начальник планового отдела Фаворный. Лысый, подвижный, способный хранить в памяти множество нужных и ненужных цифр, умеющий мгновенно, со скоростью, не уступающей современным компьютерам, перемножать эти цифры в уме, он всегда четко отстаивал свои позиции, в этом ему не откажешь. Рядом с Фаворным вертелся хмурый Симончук — заместитель по хозяйственной части. По виду — самый занятой человек на свете. А у самой двери кабинета сторожила Харузева немолодая женщина в строгом черном платье с белым кружевным воротником. Харузов не сразу узнал в ней Покровскую из лаборатории по научной организации труда. Восседала за своим столом и его секретарша Эмма Борисовна — всегда подтянутая, вальяжная, с золотистым пучком волос на затылке. Звали все ее не иначе, как Эммочка, хотя Эммочке этой было далеко за пятьдесят.

Лучшего стража дверей шефа ни в одной конторе не сыщешь. Высколена еще Тарновским. Поначалу часто приходилось делать ей замечания, когда она, по старой привычке, старалась не допустить в кабинет очередного посетителя. Сколько раз объяснял: если человек рвется на прием к начальнику, значит, ему необходимо срочно решить что-то свое, наболевшее. А она возмущалась: вы не вызывали и день не приемный — пусть обращается к кому-нибудь другому или сам все решает, вам ведь тоже работать нужно!

А вот сейчас неплохо бы ей прежними навыками воспользоваться — лишние посетители, лишние разговоры ни к чему. Харузов приостановился у двери кабинета и произнес отчетливо:

— Эмма Борисовна, пару часов я буду очень занят!

Но даже неприступная секретарша, видимо, не смогла остановить Покровскую. Не успел Харузов взяться за телефон, как та вошла. Боком как-то скользнула в кабинет и сразу начала говорить:

— Куда же мне деваться? Мужчинам, кто помоложе, кто имеет специальность — им путь не заказан: в моря, на заводы, везде нужны, а мне осталось два года до пенсии! Неужели не дадут доработать, начинать слова в другом тресте — это невозможно!

У Харузова мелькнула мысль: «Разве это возраст,— ровесники ведь! Впрочем, для женщин другой счет»... Пока она говорила, он сумел пролистать телефонный справочник управления: на той странице, где была лаборатория научной организации труда — сплошь женские фамилии. Сколько их там таких — человек пятнадцать, не меньше, а вот и она — Покровская Елена Ивановна. Вспомнилось: около месяца назад приходила с каким-то нелепым планом

по перестановке станков в заводских цехах. Сделала все по инструкции главка: расположила в цехе оборудование по типовым проектам и вот принесла — на чертеже цех, где растачивают гребные валы, и полно квадратиков. «Это что?» — ткнул он в первый попавшийся. Оказалось, упаковочный агрегат. «Что паковать?» Отвечает: «Продукцию.» Харузов тогда не выдержал: «Да вы видели в жизни хоть раз гребные валы, вы размеры их представляете? Ежу и то было бы понятно — незачем и нечего здесь упаковывать!» Оскорбилась, пришлось извиняться за грубость, успокаивать...

— Я понимаю, у вас какие-то свои соображения,— продолжала между тем Елена Ивановна,— у вас много дел, я отрываю от них, но как же быть, что будет со мной, со всеми...

Слезы, естественно, уже стояли в ее глазах, покрасневшие тяжелые веки вздрагивали.

На селекторе связи с отделами горели сразу пять лампочек, Харузов нажал вызов самого настойчивого абонента. Им оказался Карцев.

— Хорошо, хорошо,— сказал Харузов,— конечно заходи, жду.

— Так вот,— сказала Елена Ивановна,— вы не подумали о других, вам ни до кого нет дела! У меня мама на иждивении...

— Успокойтесь, Елена Ивановна, вы не останетесь без работы, я позабочусь, обязательно позабочусь,— торопливо проговорил Харузов и подумал: «Это же только одна из двухсот,— примерно столько женщин в управлении... Если бы можно было просто установить им пособие, и пусть бы занимались своим делом — творили уют в своих квартирах! Конечно, если есть призвание к делу, надо работать, но почему обязательно в управлении?»

— Я очень вам благодарна, я и в отделе говори-

ла: не может этого быть, чтобы он бросил нас на произвол судьбы!

Она вышла, и тут же в кабинет втиснулся Фаворный. Он всегда все новости в управлении узнавал первым. Безусловно, осведомлен он был и теперь и о министерском приказе, и о той роли, которую сыграл Харузов в издании этого приказа. У Фаворного были очень обширные знакомства в управленческих кругах, и в последнее время он, чтобы не идти на поводу у событий, постоянно созванивался со своими коллегами из планового отдела министерства.

Буквально сегодня утром Фаворному звонил его начальник из столицы, такой же, как и он, хранитель всех планов и цифр, первый советник самого министра, и просил, умолял, требовал, чтобы он, Фаворный, остановил Харузова, вразумил своего, соскочившего с оси, как он выразился, и вышедшего из повиновения руководителя.

Фаворный к разговору с Харузовым подготовился основательно и начал издалека. Он разложил на столе бумаги, таблицы, в которых значились изменения планов заводов. Харузов, знал, что планы уже скорректированы в министерстве, но таков уж порядок: главк и управление, пусть задним числом, но должны дать и свое добро. Фаворный сыпал цифрами, склоняя лысую голову над столом, близоруко всматривался в бумаги, постукивал по листам остро заточенным карандашом, искренне возмущался снижением показателей. Всем своим видом, всеми доводами, он хотел доказать одно: вот вы, Василий Кириллович, хотите разогнать управление, а заводы без нас ничего не могут.

— Смотрите,— сказал он,— опять извечное заблуждение заводчан. В графу стоимости ремонта они включают купленное у баз флота оборудование.

— Так поправьте их.

— Я поправлю,— согласился Фаворный,— но они уже не хотят ни о чем слышать, они узнали о приказе и ясно дают понять, что через несколько дней мы, а не они перестанем существовать.

— Что ж, производство от этого действительно не остановится,— заметил Харузов.

— Вы паивий человек! — воскликнул Фаворный.— Да начнется такой хаос, что министерство вынуждено будет само отозвать злополучный приказ! Есть один способ не допустить разброда! — Фаворный вскинул маленький тупой подбородок.— Надо опровергнуть слухи! Пока нет приказа никто не имеет права паниковать. Нам необходимо подготовить обоснования! Я видел, здесь у вас была инженер из лаборатории, вы, надеюсь, дали ей команду готовить объяснительные по нашей деятельности?

— Нет, я не собирался никому давать такую команду! — резко ответил Харузов.

— Хорошо, я сделаю это сам, да, сам! Я уже подготовил ряд смет и планы на следующую пятилетку,— их невозможно реализовать без единого управления. Вы заблуждаетесь, без наших смет заводам ничего не выделят!

Фаворный вдруг превратился из подобострастного, всегда готового угодить своему шефу плановика в ущемленного, но отнюдь не беззащитного человека, уверенного в своей правоте. Отойдя от двери он уже не просто говорил, он кричал тонким и резким голосом:

— Тарновский, учтите, не похвалит вас! Остудин тоже против, а его голос для всех закон! А потом, задумайтесь, что может всплыть при ликвидации управления! У нас работают люди, которые числятся в штатах наших заводов, зарплату получают в одном месте — сидят в другом!

Дверь с грохотом захлопнулась. Никогда еще

Фаворный не позволял себе такого самовыражения. Обычно удалялся неслышно, как бы незримо растворяясь в проеме дверей, но вот встала проблема — быть или не быть управлению — и даже ему уже не до субординации...

Насчет штатов он прав. Здесь сам черт ногу сломит. Управленческие и главковские работники сплошь и рядом числятся па заводах. Безусловно, это вскроется. Ну и пусть идут работать туда, где получают зарплату — это будет справедливо! А отвечать, конечно, придется. Скажут, да еще как скажут: «А где вы были раньше?» «Не мной такой порядок заведен». «Это не ответ. Вы начальник и должны были все привести в соответствие».

Интересно, неужели министерскую комиссию возглавит Тарновский? От него снисхождений ждать нечего!

Харузев набрал номер заместителя мипистра, по опять неудачно: секретарь ответил, что шефа не будет до конца дня.

Придется отложить разговор на завтра, а хотелось узнать и кто приедет, и подробности: как там, наверху, прошел приказ, не изменился ли он, пока согласовывался по отделам, могут ведь настолько выхолостить, что потом трактуй, как хочешь...

— Что, молчит? — спросил Карцев, входя в кабинет.— Я тоже с утра не могу связаться.

— Ты кому звонил? — Харузев положил трубку.

— Министру, кому еще,— улыбаясь, ответил Карцев.

Субординации для него не существовало. От старых своих флотских правил он отказываться не хотел, и Харузев знал, что многих в управлении шокировала его простота в обращении и свобода суждений. С министром Карцев в свое время работал где-то в торгпредстве, кажется, в Испании — вот и

звонит напрямую, а получается чехарда: он, Харузов, начальник управления, действует по инстанции, а его заместитель — докладывает самому министру. Ну да ладно, его не переделаешь, да и нужно ли...

— Ты вот что, Марк Борисович, проверь, сколько твоих людей значатся по заводам! — сказал Харузов. Стараясь со всеми в управлении придерживаться официальных отношений, он все же оставался с Карцевым на «ты». Десять лет совместных рейсов не вычеркнешь.

— Что, Фаворный начал копать? — догадался Карцев. В цыганистых глазах его промелькнула усмешка.— Наш пострел сейчас готов себя высечь, только бы тебе помешать. Сам ведь всовывал чиновников, куда только мог, лишь бы штаты расширить!

— Отвечать все равно мне, — сказал Харузов и подумал: с одной стороны хорошо, конечно, что Карцева ничто не страшит, но если так, очертя голову, везде ломиться, толку не будет.

— Ты приготовься,— сказал Карцев,— на тебя еще не то взвалят, но ведь мы же с тобой все это знали и затеяли для пользы дела, да не одни мы. По всей стране такое разворачивается! В базах флота тоже есть деловые сдвиги, бюрократия — это нарыв, чем скорее мы его проколем, тем легче станет телу!

— Иногда и нарыву надо дать вызреть,— заметил Харузов.

— Ты что, на попятный? — удивился Карцев и даже подскочил на стуле.

— Обижаешь, капитан,— улыбнулся Харузов,— я просто хотел бы, чтобы ты был поддипломатичней.

— Если бы мы с тобой в море все время осторожничали, да с оглядкой тралили — да нас бы в шею погнажи!

— Не согласен. Ты сам что мне доказывал там,

в африканской бухте? «Главное — выдержка»,— кто это говорил? — возразил Харузов.

— Как на «грека» несло, вспомнил, что ли? — Карцев вздохнул и ослабил узел галстука.

Харузов кивнул.

Было всякое в дальних рейсах: и томительные проловы, и в ледяные заторы попадали, и всегда Карцев, капитан Карцев,— человек горячий и порывистый по натуре, — умел совладать с этой своей горячностью, выдержке его любой бы позавидовал. И на мель садились, и в ураганах крутило, а всего страшней — ночь та в африканской бухте, где у самого выхода из гавани вспыхнуло греческое судно. Гигантский костер внезапно разорвал завесу тьмы, и почти одновременно с этой вспышкой огня налетел песчаный вихрь. В бухте, как в кипящем котле, бурлила вода, и мелкие суденышки юлой закрутились в этом водовороте. Их траулер тоже не мог уйти из бухты,— зашли специально отстояться, отремонтировать двигатель: были лишены хода, лишены маневра. И гигантская волна швырнула на скулу их траулера груженный рудой датский транспорт. Пробойна — больше метра, вода хлынула в трюм, добралась до машины. Лопнула якорная цепь, как будто раскололось от треска пространство. И траулер понесло па горящего «грека». Казалось, все, конец. Боцман кинулся к шлюпке: «На воду спускать, капитан, на воду!» Кто-то уже и лебедку включил.

— А ну, отставить! — крикнул Карцев и в машину...— Только на вас, механики, надежда! Только на вас!

И выкарабкались, чудом спаслись. Запустили двигатели. Никто потом не мог поверить, что собрали дизель за считанные минуты, никто. А Карцев знал своих механиков, верил им. И спас судно. Стоило дрогнуть его голосу, перейти в крик, как эта нер-



возность сразу бы передалась команде. Приказы отдавались по микрофону спокойно, словно на учениях, когда надо просто показать проверяющим, как можно быстро заделать пробоину и дать ход судну, стоявшему еще несколько мгновений назад с разобранным двигателем. Там, на траулере, где им были вверены жизни других, они — капитан и стармех — действовали как одно целое, как один живой организм, — иначе было нельзя, ведь малейшая ошибка могла стоить жизни всему экипажу.

Потом в порту, когда разбирался этот случай и попытались обвинить Харузева, Карцев заявил громко: «Если бы не стармех, то и разбираться не в чем было бы, не было бы ни нас, ни траулера!» И от этого своего заявления не отступил ни на шаг, сколько ни нажимали на него...

Всегда Карцев был ведущим в их тандеме, пока пути не пересеклись в управлении, где бывший капитан стал заместителем своего стармеха...

И все же, именно он, Карцев, первым высказал мысль о полной бесцельности существования управления. Уже после того, как стал заместителем, буквально в первые дни работы пришел и заявил, что сидеть спокойно не будет — или он бюрократов, или они его. Харузов предложил тогда: «Давай опять махнем в море!» Карцев ответил: «Это самое легкое — уйти и помахать ручкой с высокого борта». Теперь вот торопит события, а ведь далеко не все впереди ясно. Ну сломаем эту многоэтажную, многозвенную систему, а дальше что? Как объединить заводы?

Харузов встал, прошелся по кабинету. Кто-то приоткрыл дверь, просунулась рыжая голова — кажется, инспектор из отдела кадров. Карцев махнул ему рукой, чтобы захлопнул дверь — видит же, что запяты.

— Добьемся своего, Марк Борисович,— Харузов всем корпусом повернулся к своему заместителю,— но мы должны прикинуть, что будет после нас. Хорошо, заводы перейдут на полный хозрасчет, на самокупаемость, никакого давления ни от нас, ни от главка. Раз такого нажима не будет, не станут ли они без контроля с чьей-либо стороны выдавливать из флота все, что захотят?

— Но ты же сам уверял, что сокращение лишних управленческих звеньев — только начало,— возразил Карцев.— Помнишь нашу идею о крупной базе флота, соединенной с заводами. Я и министру об этом говорил!

— Ну и что он? Сделал под козырек и дал указание начать все срочно соединять? — Харузов улыбнулся.

— Ты не усмехайся, я его дожму!

— Хорошо бы было,— сказал Харузов.— Все бы встало на свои места. Но это в перспективе, а сейчас главное, чтобы кто-то первым пробил брешь!

Харузов вынул из ящика стола большую схему управления заводами: множество стрелок остриями вниз направлены на одинаковые кружки — кружки — это заводы, наверху квадраты, и каждый из них не просто какой-нибудь диспетчерский пункт — управление: десятки, сотни человек. Административно-управленческий аппарат. По стране в этом аппарате сидит восемнадцать миллионов человек! Не слишком ли это большая роскошь?

Харузов положил схему на стол, раскрыл список работников управления, протянул Карцеву:

— Начнем сокращать, а куда им деваться? Вот об этом мы с тобой обязаны думать, ведь больше трехсот человек, не шутка!

— Да, надо срочно решать,— согласился Карцев. — На меня сегодня жмут, а на кадровиков еще

больше, суета везде такая, как в сумасшедшем доме в период выявления симулянтов. Особенно в плановом отделе полно крикунов. В моих отделах флотских потише, я полагаю — двоих в портофлот пристрою, трое в море давно просятся, четверо на завод технологами пойдут, справятся наверняка.

— То-то и оно. У тебя люди со специальностью, они везде нужны, а как быть с теми, кто кроме конторы нигде не работал? Вот этими людьми мы с тобой должны заняться в первую очередь, и кадровиков наших надо шевелить, все время шевелить! — Харузов аккуратно сложил схемы, а списки со штатным расписанием оставил на столе — сегодня и во все последующие дни они должны быть постоянно перед глазами.

Ровно в десять, как и заведено было еще со времен Тарновского, двери кабинета распахнулись, молча вошли один за другим начальники отделов, главные специалисты, заместители — вся управленческая элита. Обычное утреннее совещание. Переговаривались, пока усаживались, и даже шутить пытались, но настроение у всех было подавленное, это чувствовалось. И когда все расселись, в кабинете повисла настороженная тишина. Молчал даже Фаворный, правда, нетерпеливо ерзал на стуле, но молчал. Рядом с Фаворным застыл начальник отдела снабжения — лицо желчное, волосы ежиком, левее от них — нервно поправляющий двумя пальцами очки начальник отдела капстроительства — отпетый бездельник; отец его начальствует в самом госкомзнаке, у сына в жизни проблем нет, однако и он все-таки беспокоится, не хочется расставаться с насиженным местом. Справа, в креслах, замы. Их, кроме Карцева, еще четыре. Все в прошлом крупные начальники, директора заводов, а один даже в свое время был председателем совнархоза. Эти только положение теряют —

у всех пенсионный возраст. В управлении они почти ни за что не отвечают, все решают начальники отделов, у каждого зама в подчинении по три отдела и более никаких забот. И только Симончук — заместитель по хозяйственной части, всегда перегружен конторскими заботами. Самый нужный человек. Бумага, карандаши, ручки, стулья, шкафы, столы, воскресный отдых — все на нем. Одни персональные кабинеты чего стоят. Начальники отделов не устают их совершенствовать, поэтому всегда то сейф новый нужен, то холодильник, то стеллажи, то перегородки стеклянные. Плюс еще автохозяйство, и немалое: персональные машины для замов, дежурный автобус для диспетчеров, еще один автобус для загородных выездов... Естественно, на совещание Симончук явился последним. Как всегда.

Пошел обычный разговор, никто и словом не обмолвился о предстоящем сокращении. Доложили о плановых показателях: два завода идут нормально, третий и пятый в прорыве, суда встают на ремонт с нарушением сроков, запчастей нет. Все это, как обычно, просто фиксировалось. Когда разбор работы заводов закончили, Фаворный все-таки не выдержал, сказал громко, ни к кому конкретно не обращаясь:

— Пока еще не поздно, надо принять решительные меры. Министерство может изменить приказ, я говорил со своим московским начальством, мне подсказали — нужны обоснования, надо обстоятельно, с цифрами, доказать необходимость сохранения управления в том виде, в каком оно уже не один год успешно трудится!

И тут все заговорили разом — будто плотину прорвало. Начальник отдела труда и зарплаты, в прошлом спортсмен, а теперь грузный, страдающий одышкой флегматик, тоже не выдержал, забубнил:

— Почему именно нас? По стране тысячи таких

управлений, пусть с других начинают. Надоели эти эксперименты — то увеличивай штаты, то сокращай. Надо Фаворному ехать в Москву! Мы и так все пролопушили, с какой стати из нас делают козлов отпущения?

Его поддержал один из бывших директоров — заместитель Харузева по экономике:

— Некоторые думают — все наши беды якобы в лишних начальниках. Им позволь, они и министерства разгонят! А того не понимают, что во всем мире растет управленческий аппарат! Заводы без нас — ноль без палочки, кто за них будет в министерстве и главке стоять, кому они нужны?

Харузов молча выслушал все реплики, а потом подытожил:

— По судьбе управления соберемся позже, а вот с планами заводов все по-прежнему, реальной помощи заводчанам никто из присутствующих не оказал.

— Пусть теперь сами выкручиваются,— бросил кто-то, ударяя на слово «теперь».

— А вы что, раньше им помогали? — оборвал Карцев.

На мгновение в кабинете воцарилось молчание, потом поднялся Фаворный, защелкнул кожаную папку и сказал, обращаясь к Харузову:

— Я понимаю, вы все продумали, но все равно вы безответственный человек! Мы всегда так вам доверяли... Может быть, у вас есть свой план, но извините, я уже не надеюсь... Хочу предложить вот что: дайте мне командировку в министерство, я сегодня же вылечу и там, на месте, сумею исправить эту дикую ошибку, я смогу все решить!

— Решать там уже нечего,— спокойно возразил Харузов.— Вам ничего не требуется делать сверх ваших прямых обязанностей. А сейчас прошу по ра-

бочим местам. После обеда проведем совещание по кадрам, определимся, что можно предложить конкретно сотрудникам управления.

Если и были у кого-либо из собравшихся на совещание надежды, что сокращение их конторы относится к области чего-то просто нереального, что на худой конец все закончится сменой вывески и очередным переименованием управления, то после слов Харузева стало ясно: совсем не мифическая угроза нависла над ними. И когда захлопнулась дверь кабинета за последним из управленцев, Харузов услышал, как там, в «предбаннике», они опять заговорили все разом, давая наконец полный выход накопившимся эмоциям.

Слыша их голоса, их реплики, Харузов думал о том, что все они сейчас заботятся не об общем деле, а о себе. Как же это случилось, что людям незачем стало отсиживать дни, недели, месяцы, годы, ничего не производя, ничего не решая, кроме кроссвордов, — и за это смиренное сидение регулярно получать зарплату, да и немалые премии дополнительно к ней. Как им объяснить, что не он, Харузов, а сама жизнь, ее движение, все законы экономики идут против их конторы. Ведь читают же газеты, радио слушают, смотрят по вечерам телевизор, и сами — не раз слышал! — не прочь покритиковать бюрократов из газетных фельетонов, ужаснуться нелепостям, вскрытым газетчиками в других конторах, в других — да, но как же у себя под носом заподозрить такое! Свое место, свое болото не пахнут тиной...

А заводы в один голос требуют самостоятельности. На прошлой неделе на совете директоров все высказались за это. Говорили, правда, робко, и о том, что управление мешает работать. На совещании опять всплыло, что Симончук хозяйничает на пер-

вом заводе — заказал там в стройцехе десять столов, естественно, без оплаты. Пришлось вызвать его и в который раз отчитать, а с него как с гуся вода: мол, не для себя же, для нашего буфета. Буфет этот давно как бельмо на глазу. Дефицит дают по-прежнему, и обиды всегдашние: тому недодали, этого обделили — самая горячая точка управления. Что за чушь выдумали — спецпитание? Приказал закрыть — поднялся на защиту профсоюз, откуда только не звонили! Остудин даже укорял: «Вам что, самому лично плохо, если жена в очередях не стоит? Закроете вы, мне что, в главке тоже прикажете закрыть? Да у меня тогда половина женщин уволится!» А откуда эти спецпродукты? Опять же тянут с заводов, с их подсобных хозяйств... И во главе компании добытчиков все тот же Симончук. Вездесущий какой-то... Ага, вот и он, легок на помине...

Симончук осторожно вошел в кабинет.

— Разрешите, я ненадолго, у меня очень срочный разговор, Василий Кириллович! — он изобразил подобие улыбки, приоткрыв редкие зубы — словом, сама вежливость и предупредительность.

Харузов, впрочем, давно уже раскусил его: и эту манеру говорить, и его умение действовать исподтишка, и недобрый прищур выцветших глаз. Не одного хозяина пережил, и всем был угоден, для всех старался, однако и себя тоже не забывал, были сигналы. В контору ходит — в одном и том же потертом замшевом пиджачке, а встретились как-то на площади — не узнать: все с иголки, а жена — куда там парижским модницам!

— Присаживайтесь, — предложил ему Харузов.

После обычных жалоб на то, что люди его не понимают, что все нерадивы и норовят урвать себе из государственного кармана, Симончук задал главный вопрос:

— Значит, как я понял, все уже решено, и надо готовить сдачу нашего хозяйства?

— Да, вас правильно проинформировали,— сухо ответил Харузов.— Какие у вас затруднения?

— Василий Кириллович, у меня их, как всегда, больше, чем у собаки блох: инвентаризация последняя огорчила. Знаете, иногда кое-что — от стульев до холодильников — почему-то бесследно исчезает, и теперь все это необходимо срочно списать.

— Зачем списывать? — возразил Харузов.— Подготовьте списки, что и за кем числится.

— Ну да то, что по кабинетам числится, найдем. А не найдем, бог с ним, выкрутимся,— Симончук махнул рукой.— Здесь проблем нет, вы правы,— можно заставить вернуть. Хуже с дачами. Они ведь выстроенны и обставлены за счет заводов, оформлены в титульных списках, как пансионаты для отдыха рабочих...

— Они и должны быть отданы законным хозяевам, я уже не раз просил вас этим заняться,— сказал Харузов.

— Но выжить оттуда мы никого не смогли, вы же знаете! Ни один начальник отдела свою дачу не сдал! Вы только свои ключи отдали, а все равно никто из заводских и близко к вашей даче не подступился,— из уважения к вам, поверьте мне. И все дачи эти, как и ваша, обставлены, везде полно мебели и прочих вещей...

— Организуйте немедленно комиссию, примите от владельцев все вещи, стоящие у вас на учете, составьте акт на передачу помещений заводам, и не советую вам дальше затягивать,— тоном не допускающим возражения сказал Харузов. Разговор начал надоедать ему: проблему эту обсуждали они с Симончуком далеко не первый раз, и всегда у Симончука находились причины, по которым он не мог выполнить, казалось бы, столь нехитрое дело.



— Я почти все исполнил,— сказал кротко Симончук.— Но гневайтесь, Василий Кириллович. Вчера еще предупредил наших начальников, чтобы привели все там у себя в порядок. Я перечни им дал, что и у кого должно быть в наличии. Правда, никто не отнесся с пониманием — все еще надеются, что мы отстоим управление, что вы сами поймете — не за то боретесь... Дачи, разве в этом суть?

— Вы ошибаетесь! — Василий Кириллович встал у окна, издали наблюдая за суетливыми движениями рук Симончука.

А тот продолжал расписывать свои деяния, и выходило по его словам, что вовсе и не он эти дачи у заводчан забирал, что он всегда был против, что всегда стоял на страже законов... Вот ведь, что за человек! Дел полно, а тут сиди, выслушивай всю эту ахинею... Надо его поставить на место, сказать прямо, что и он, Симончук, сам тоже должен вернуть все, что успел урвать от общего пирога: дача у него государственная самая роскошная, рядом эллинг, где всегда наготове стоит прогулочный катер. Уверяет, что держит этот катер не для себя, а для ублажения морскими прогулками различных проверяющих и инспекторов из министерства, но ведь сколько тех инспекторов бывает в году — не каждый же день проверки...

Так, Василий Кириллович...— уже совсем тихо произнес Симончук.— Значит, бесповоротно задумали сократиться, а я-то — да и не я один! — так надеялся, неразумный, что скажете: ложная тревога, Степаныч, излишний шум, не суетись, дорогой, утряска штатов... Впрочем, раз решено... Тогда еще одно небольшое дело. От дачи вы отказались, нотам цветной телевизор был и видеосистема, я уж не говорю о таких мелочах, как электрокамин и вентиляторы — это легко можно списать.

Голос у Симончука оставался вкрадчивым, ровным, а говорил он теперь что-то непонятное... Телевизор, видеосистема... Почему он считает, что это вещи казенные?

— Постойте, вы что-то путаете, — остановил Симончука Харузов. — Я давал деньги на видеосистему сыну, чтобы он отдал вам, и телевизор куплен за мой счет — я ведь просил, чтобы вычли за него!

— К сожалению, Василий Кириллович, это все приобретено за счет заводских средств. Кстати, вот и накладные. — Симончук извлек из внутреннего кармана пиджака стопку желтоватых бумажек, бережно, не спеша разгладил каждую и разложил на столе. — Обратите внимание, — продолжал он, — здесь все указано!

Тон его по-прежнему был подобострастным, почти заискивающим, но это уже не могло обмануть Харузова, стало ясно, что Симончук все продумал заранее.

Харузов встал, прошелся по кабинету... Ну что ж, этого следовало ожидать. Все постараются пустить в ход. И Симончук первый, кто уже не скрывает своего лица. До этого были только анонимные звонки: один по поводу поступления в университет сына — дела трехгодичной давности, и у того, кто на другом конце провода старался изменить свой голос, не было никаких доказательств — пустые домыслы; другой звонок о премиях — уж здесь-то и винить его абсолютно не в чем. Для себя никогда не старался. И Симончук напрасно сейчас затеял свою игру. Если не оплачен телевизор — мояшо внести деньги, а с сыном придется выяснить, кому он заплатил. Ведь не мог же он столько денег куда-то истратить. Надо серьезно с ним поговорить, если только изволит явиться домой сегодня. Вот где он шляется — кто бы сказал, где и с кем...

Не только Симончук, никто и никогда не может упрекнуть его, Харузева, в том, что он хоть что-нибудь брал из государственного кармана, что пользовался своим положением. Никто и никогда! Работал на заводе — ключи дверные и то сам подгонял, хотя мог бы слесаря любого попросить. Шурупов, тогда еще, помнится, не было в магазинах... Лариса смеялась: ну что за дикость, возьми на заводе, положи в карман и принеси — их же не воз нужен, всего-то десяток какой-то...

Управление — не завод, здесь, если и захочешь, брать нечего! Бумага, скрепки, кнопки... Казалось бы так... Но ведь появились же какие-то вещи в доме без его ведома. Как по мановению волшебной палочки появились. Догадывался ведь что к чему. Молчал — вот теперь и расхлебывай!..

А Симончук тем временем продолжал любовно переключать бумажки и наконец нашел ту, что искал, и молча протянул Харузову. Это был счет за ремонт квартиры рабочими второго завода. Все правильно: адрес его, Харузева, а счет внушительный — на две тысячи сто пятьдесят рублей...

— Оплатили мы его как судоремонт, а сейчас может всплыть,— пояснил Симончук и поморщился: вот, мол, вроде бы и ерунда, а неприятности, приходится проявлять беспокойство. И он, Симончук, не для себя старается, а чтобы своего начальника выручить.

Харузов повертел счет в руках, отложил в сторону и в упор посмотрел на Симончука. Тот не выдержал взгляда и отвернулся. Харузов теперь пытался сообразить — какой ремонт мог быть в новой квартире? А ведь наверняка был ремонт, не придал этому значения, но ведь был... Дали эту квартиру сразу же, как только перешел работать в управление. Никуда и ни к кому не ходил, никого не про-

сил. Тарновский все сделал сам, пояснил: не может допустить, чтобы его зам, которого он сам пригласил к себе в контору, жил на окраине, без телефона, в малогабаритной однокомнатной, где туалет совмещен с ванной, а на кухне можно, не поднимаясь с места, дотянуться и до плиты, и до полок с посудой. Да и сын, мол, подрос, вот-вот приведет невесту в дом...

Тот же Симончук принес тогда ордер и сказал: «Вы мне ключи оставьте и немного повремените с переездом, ну, недельку-другую, а то знаете наших строителей — там сейчас черт ногу сломит, надо прибрать и кое-что подделать». А через неделю уже въезжали. Дождь, помнится, шел, вещи накрыли полиэтиленом — машина была полукрытая, залило диван. Лариса расстроилась, чуть не плакала, а когда вошла в квартиру — ахнула. Они и до этого здесь были, когда дом еще достраивался, и тогда радовались: три комнаты, все изолированные, улучшенная планировка,— а теперь и вообще рот раскрыли: великолепные тисненные обои, переливается бликами хрусталь люстры, на стенах светильники, голубой кафель в ванной, белые полки на кухне, в прихожей на полу линолеум с затейливыми узорами... Лариса была на седьмом небе: «Вот это строить стали, когда захотят — как все сделают! Есть у нас мастера!»

Теперь понятно, конечно, чьи это мастера, кто руку приложил. Но и тогда ведь мелькали подобные мысли, однако не отказываться же от квартиры, причем такой долгожданной. Не к месту было омрачать радость жены и сына всякими выяснениями. Особенно сына, у которого наконец появилась своя законная комната: занимайся, студент, никто не помешает! Теперь вот только ясно становится, что комната эта не во благо пошла, что глаз с сына нельзя было спускать.

Прав был Карцев, он один только сразу все по-

нял и не восторгался новым жилищем, а сказал: «Ты только поинтересуйся, старик, соседям твоим тоже так квартиры отделали или только для тебя решили исключение сделать? Смотри, не затянуло бы...» Лариса тогда посмеялась еще: «А, не слушай этого бирюка, он просто завидует, привык всегда тобой командовать...»

Зря тогда не прислушался к Карцеву... А Симончук все точно рассчитал: если новому начальнику можно, то и другим по-прежнему не зазорно...

— Почему вы так долго держали этот счет? — после затянувшейся паузы спросил наконец Харузов.— Надо было сразу передать мне, а не беречь его, как драгоценную реликвию. Завтра этот счет будет оплачен. Со мной у вас пикаких проблем не будет, а вот со своим собственным хозяйством советую подрабраться очень тщательно. Отберите четко, что ваше, а что принадлежит государству, рекомендую это сделать настоятельно.

— Ну что вы,— засуетился Симончук,— зачем так спешить, зачем такие выводы. И с вашей оплатой тоже напрасно вы так сразу решаете. Это же я все, в принципе, на всякий случай вам раскрыл. Всем нам работа жить помогает, ничего в этом особенного нет. Я додумал, что вы теперь измените свое мнение, что будете теперь отстаивать управление — и тогда просил бы вас даже разговор наш забыть. Я ведь так, по-дружески. Пусть тогда это вас не заботит, если все останется на своих местах...

— Ступайте отсюда и не надо переживать за меня, — резко оборвал его Харузов и встал, давая понять, что разговор закончен.

После ухода Симончука Харузов связался со вторым заводом. Директора на месте не оказалось, главный инженер поначалу никак не мог понять, чего хочет от него высокое начальство, а когда понял, по-

пытался убедить, что заводу это ничего не стоило: ремонт квартиры — какие пустяки! — и только после вторичной просьбы Харузева позвонил в бухгалтерию по внутреннему телефону. Харузов слышал, как он объясняет бухгалтеру возникшую проблему. Выяснилось, что все очень просто: несите деньги, они тут же будут оприходованы.

Значит, с самой большой суммой все ясно, вечером станет все известно и с телевизором, и с видеосистемой. Что и говорить — все это нелегко переварить сразу, но винить некого — только самого себя. Надо было раньше думать, знал же: даров случайных не бывает. Надо было от всего категорически отказываться, а теперь, — все правильно: нельзя ступать по воде и не замочить ног...

На обед Харузов поехал домой. Шофер его персональной «Волги» — Федя Стрюков — за всю дорогу не проронил ни слова. И обычно-то был не очень разговорчив, но сегодня чувствовалось вообще откровенное неприятие своего пассажира. И когда Харузов, вылезая из машины, спросил: «Может быть, зайдешь в кафе пока?» Федя в ответ буркнул: «Не барин, в машине посижу».

Федя этот тоже достался в наследство от Тарновского и сменой начальства был явно недоволен. Харузов узнал об этом из нечаянно услышанного разговора его с Эммой. Федя жаловался, что жизни не стало никакой: с Тарновским, мол, жил как в раю — днем уезжали на взморье, играли там в бильярд. Харузов тогда опешил: ему-то казалось, у Тарновского минуты свободной нет, а тут игры какие-то. Мало этого, Федя рассказал еще, как гоняли на машине в соседний городок, где жила пассия Тарновского, километров за сто, зато потом он всегда получал пару отгулов. «Федя, ну зачем ты наговари-

ваешь на своего начальника? — возмутилась тогда Эмма. — Быстро ты все забыл, как он тебя из грязи вытащил, как квартиру дал!» «Чего же мне наговаривать? — обиделся Стрюков, — Вот на нынешнего и рад бы — да нечего. Ни хорошего, ни плохого».

Шофера этого, конечно, надо было бы сменить сразу, а теперь уже и ни к чему. Уйдет со всеми вместе, — с его специальностью не пропадешь, только вот на тяжелые трассы вряд ли заманишь. Водители директорских машин — это особая категория: хотя и заработок небольшой, зато времени свободного предостаточно. И отдохнуть можно в ожидании своего шефа, да и левую езду запросто сделать. Смотрят на это сквозь пальцы почти все начальники. А почему? Потому что шофера своего не только по службе используют: то жену подвезти, то покупки сделать, то детей в школу, да мало ли чего... Одних машин завтра освободится около десятка — уже какая польза... Освободится... если только удастся все довести до конца. Действовать надо решительно, и ничто не должно связывать руки. Надо немедленно выяснить у Ларисы, как же так произошло — ведь мое и государственное не одно и то же — всем объяснял, а на поверку сам не различил...

В квартире никого не было. Чайник холодный — значит, Лариса еще не приходила. На сковородке котлеты — можно разогреть, и обед готов. Харузов зашел в комнату сына. Постель аккуратно заправлена — ясно, домой не заявлялся... Плохо, если Лариса не придет на обед, так надо бы поговорить!

Харузов прошел в гостиную, сел в низкое кресло, вытянул ноги, задел край ковра, но не стал поправлять его. Настенные часы пробили половину второго. И зазвучала старинная переливчатая мелодия. Достались эти часы в подарок от бабушки, а рядом с ними на столе — электронные, со светящим-

ся циферблатом. Раньше, много лет назад, в пору своего детства, увидел бы у кого-нибудь двое часов в комнате — как удивился бы: зачем? А сейчас кажется, так и надо... И книг вокруг хороших полно, как в библиотеке — одна к одной. Особенно заметно стало их прибавляться, когда перешел в управление. Любые подписки стали доступны, а кто читает эти залежи? Раньше хоть сын поглощал — не оторвешь бывало, а теперь и тому не до книг. Самому же не только книги,— почту просмотреть некогда: газеты, журналы толстые, разве все осилишь! Да и манит каждый вечер самый легкий путь получения информации — телевизор. В гостиной стоит цветной — тот самый, что был на даче установлен, в спальне — черно-белый. А на кухне небольшой «Шилелис», изображение очень четкое. Тоже смешно — зачем три телевизора? А вроде привыкли и за едой глянуть, и в постели посмотреть.

Когда все дома — от музыки хоть убегай. У сына стереофонический магнитофон, мало этого, недавно купил еще какой-то заграничный, кассетный. Купил даже не посоветовавшись с отцом, а он, отец, не сказал ничего, не возразил. Относился ко всем приобретениям равнодушно, не хотел ни во что вникать. Нужно сменить мебель — меняйте, нет проблем. Люстру новую повесить — пожалуйста. Сына так и не приучил к работе по дому, все делал сам. Да и не в тягость это — выключатель починить, замок вставить — обычное мужское дело, неудобно ведь кого-то чужого звать на помощь. Мебель собирать приходилось частенько, и нравилась ему эта работа — успокаивался, когда держал в руках отвертку и молоток. Делал все любовно, аккуратно и не спеша. Последнее время, правда, пугало только загромождение пространства все новыми и новыми вещами. Словно не квартира, а склад какой-то. А сейчас



и вопрос возник очень тревожный: откуда брались эти вещи? Оплачены ли? Зачем они нужны?

Как, помнится, начинали жизнь? Кровать есть, стол есть — и все в порядке. И в море когда ходил, — деньги ведь были, могли бы и закупить всего, но не было к этому стремления. Главное в другом тогда было. Может быть, самые лучшие минуты в жизни, — когда входит судно в родной порт, и стоишь на борту, вглядываясь в знакомые силуэты портовых зданий, в березки, растущие вдоль канала, и знаешь — на пирсе ждет жена, самая желанная женщина в мире... быстро вниз по трапу, объятия, поцелуи и скорее на такси, быстрее домой! И месяц, а то и два в твоём распоряжении. Медовые месяцы, повторяющиеся после каждого рейса... А еще удивительнее и прекраснее: летние походы — палатка, вещмешок — и после однообразия морской глади, после грохота механизмов и качающейся палубы — божественная тишь в лесах, пение птиц и прозрачность родниковой воды. И весь этот мир принадлежит тебе. И казалось, все впереди...

Вот сказать сейчас Ларисе: давай плюнем на все, уедем в Чистово! Помнишь, — белые хаты на склонах холмов, дурман полыни, клеверные лужайки, запах скошенных трав. А озеро там, как осколок зеркала, вправленный в густую траву. Парное молоко по утрам приносила сгорбленная старушка — и бежали ей навстречу, а пацан — ему тогда было всего пять лет, следом за ними — кричал: ребята, подождите!

Она, конечно, все это помнит, но на предложение наверняка ответит: «Ты с ума спятил, а работа? А сын? Твое управление...». «У меня, считай, его уже нет, я свободен, давай все раздадим, все, что здесь в комнатах нагромодили, зачем нам оно?»

С кухни потянуло горелым — совсем забыл про

котлеты! Харузов встряхнулся, быстро прошел в коридор и почти столкнулся там с Ларисой.

— Господи, а запах, запах! — закричала она.

— Ничего страшного, это не самое страшное,— он выключил газ, сообщил из кухни: — Ерунда, почти не подгорели.

— Давай скорее, я опаздываю,— заторопилась Лариса.

— Лара, мне надо кое-что уяснить,— сказал Харузов, когда они уже сидели за кухонным столом.

— Ну не сейчас же, вечером полно времени, только не сиди ты до ночи там, в своей конторе.

— Скоро уже не буду...

— Значит всё, — охнула она. — А я не верила — и тебе, когда ты из Москвы вернулся, и слухам здешним. И даже когда Симончук позвонил!

— И до тебя добрался, — протянул Харузов. — Почему ты не сказала про телевизор? Завтра же надо отнести его и передать в профком. И что с этим видео? Я давал Саше деньги, он что — не заплатил тогда?

—•. Возможно, и не заплатил...

— Ах, вот как! — Харузов отодвинул тарелку.— Да ты понимаешь, что может произойти! В какое положение это все меня теперь ставит!

— Ты не волнуйся,— она положила ему руку на плечо.— Не одни мы так. Да мы вообще, считай, от всего сами отказываемся...

Он резко высвободил плечо, встал и, ни слова не говоря, вышел из кухни. В коридоре Лариса догнала его, наклонив голову, обняла. Волосы ее, аккуратно забранные в золотистый клубок па затылке, напоминали гнездо. Ему всегда раньше правилась именно эта прическа, а сейчас он поймал себя на мысли, что этот клубок, очень тщательно уложенный, раздражает его.

— Симончук уверен, что все зависит только от тебя, что можно все уладить,— сказала Лариса.

Эти слова окончательно вывели его из себя.

— Возьми сберкнижку и сними деньги,— резко сказал он. — Надо будет заплатить за все. И, очевидно, Симончук сказал тебе, за что!

— Только не груби,— сказала Лариса.

— Саша не звонил? — спросил он.

Она долго не отвечала, что-то искала в сумочке, потом заговорила быстро, почти скороговоркой.

— Где только я его не искала! Ума не приложу, что с ним!? Все я, все сама. Тебе ни до чего нет дела! Это все твой эгоизм! В центре мироздания — ты! Вот и добьешься своего. Мы останемся ни с чем! Ты не представляешь даже, на что они способны!

— Кто — они? — удивился Харузов. — Что ты думаешь?

Лариса ничего не ответила, молча прошла на кухню и там с ожесточением загремела посудой. Он предложил подвезти ее до работы, попросил, чтобы поторопилась. Лариса ответила, что ждать ее незачем, она не такая, как он, и при чем здесь работа, если надо заняться поисками сына.

— Сам он не придет! — крикнула она. — Мы ему не нужны, у тебя же никогда не было времени для сына, ты давно уже бросил его на произвол судьбы!

Спорить или что-либо возражать Харузов не стал, молча надел плащ и вышел на лестницу. Стоит ли так паниковать — не маленький, придет, куда он денется, не в первый раз такое...

В управлении Харузов сразу же вызвал Карцева. Тот, как всегда, был настроен оптимистично, хотя, как оказалось, и на него начали наступление.

— Представь себе, выкопали бестии! — сказал Карцев. — Помнишь, в прошлом году мне дали по-

четный знак за тридцать лет безаварийного плавания? Так вот, звонит главный капитан от Остудина — мол, зайти. Я в главк, а он мне письмо под нос сует — знаешь, подлинный донос на меня. Аноним, не смыслящий в морских делах ни бельмеса, доказывает, что я получил этот знак, пользуясь служебным положением, — вроде бы как сам себе присвоил, и такая подкладка: мол, скрыл аварию, все тот же случай, когда нас на горящего «грека» несло. Нас же тогда никто не смог обвинить! А главный капитан, хоть и кореш мой старый, заявляет: пиши, мол, объяснительную, Остудин требует. Чувешь, откуда ветер? Ну и чудачки!

Харузов не поддержал его ернического веселого тона. Становилось предельно ясно, что это только первые выпады со стороны «защитников» управления, новые угрозы могут быть значительно жестче. Ему стало как-то по-настоящему неспокойно.

— Ты объяснительную хоть продумал или так, с бухты-барухты написал? Учти, они недаром этот случай вытащили! — сказал он.

— А чего теперь бояться! — Карцев засмеялся. — В министерстве приказ подписали, а здесь — мелкота, не осмелятся они против приказа сверху выступать! А то что немного кусают нас с тобой — невелика беда!

— Все не так просто, и, боюсь, главная схватка нас еще ждет, — возразил Харузов. — Поддержали нас в министерстве потому, что время сейчас другое. Сегодня просто так нельзя сказать «нет». А с другой стороны, подумай: министерству ведь удобней иметь систему главков и объединенных управлений, чтобы не отвечать напрямую за работу заводов, вот поэтому и поддержали нас далеко не все. Там, учти, есть Тарповский и другие близкие ему по духу чиновники. Они тоже наверняка не сидят

сложу руки. К министру Тарновский вхож, местных марионеток за ниточки дергает и, возможно, завтра сам прибудет сюда — вот тогда всякое может случиться!

— Что с тобой, никак не пойму. Ты что, назад опять отработываешь? — Карцев вскочил, тряхнул головой, как бы сбрасывая невидимый груз. — Кто на тебя жмет? Ты только скажи!

— Да никто, ерунда все это!

— Симончук? — догадался Карцев.

Пришлось рассказать ему о неприятном разговоре и своих сомнениях. Настроение у Карцева сразу переменялось.

— Эх, черт, — с досадой произнес он. — Прав, оказывается, мой друг капитан Столбов, верно он мне трактовал: «Ты здесь, старик, в конторе, как в паутине. Сидишь тихо, не шевелишься — все о'кэй, а дернешься — сразу сильнее запутают». Я тебе еще на новоселье о его словах говорил, помнишь? Зря ты Симончуку все позволял!

Их разговор прервала Эмма. Звонил директор третьего завода — срочно нужен был начальник управления.

Харузов снял трубку. Послышался знакомый хрипловатый голос Стасевича. Он сбивчиво сообщил, что на завод к нему приехал Остудин со своими специалистами, проверяют автоматическую линию наплавки. Остудин настроен грозно, ищет виновных... Надо было срочно выезжать на завод.

Линия эта давно не давала покоя Харузову. Вложили в нее в свое время несколько миллионов рублей, а отдачи — ноль. Списать никто не решался — импортная, а переделать не разрешали ни главк, ни министерство. Василий Кириллович понял сразу — Остудин проверку затеял неспроста. Обычно его из кабинета вытянуть трудно.

На заводе Харузов нашел всех в механическом цехе. Специалисты главка сразу бросались в глаза: белые рубашки, галстуки — непривычная экипировка для цеха, но особенно выделялись новенькие каски на головах. К Харузову подбежал начальник технического отдела завода — совсем молодой паренек. Глаза широко раскрыты — наверное, впервые видит столько начальства сразу.

— Василий Кириллович, вас ждут! — крикнул он звонким голосом, стараясь пересилить цеховой шум.

Вокруг линии наплавки суетились заводские конструкторы и технологи. Со многими из них Харузов раньше вместе работал — начинал береговую жизнь на этом самом заводе... И линию поставили еще при нем. Он тогда, помнится, вместе со всеми крыл управление за покупку столь неудачного оборудования, не понимая, что закупками ведает минсудоимпорт, который на линию раскошелился, а специальных составов для наплавки и легированной проволоки не приобрел. Как обычно, — сэкономили тысячи, а выбросили на ветер миллионы.

Когда в тот год разобрались они на заводе, что на отечественных материалах не будет работать «чудо-техника», доложили директору, главному инженеру, те — Остудину, он — в министерство, а оттуда пришел такой ответ: какие вы, мол, инженеры, если не можете сами проволоку изготовить. Используйте легированные электроды и пускайте линию немедленно! Харузов возражал, но в главке на него ополчились и даже собирались делать выводы. Пришлось исполнить приказ: заложил в автоматику электроды — и все полетело. Только и успели два подшипника наплавить. Вот эти самые подшипники и сыграли недобрую роль: их возили па выставки, показывали в министерстве, даже акт о внедрении линии составили, премии получили — и успокоились.

А линия так и осталась стоять: не то экспонат, не то памятник головотяпству.

Харузов подошел к собравшимся. Стасевич сразу бросился к нему за поддержкой, стал доказывать, что заводчане ни в чем не виновны. Рядом ухал паровой пресс, звенели, предупреждая о своем движении, краны, слева шипела газосварка, с визгом врезался в металл нож гильотины, поэтому разобрать слова было трудно, спорить невозможно.

Все согласились с предложением Стасевича — пойти к нему в кабинет. Дружно двинулись за директором, на ходу продолжая начатый разговор.

— Скажем комиссии министерской, что линия на ремонте. Это самое безопасное, пусть придерутся! Доказать все равно ничего нельзя,— предложил главный инженер, обращаясь к Остудину.

— Это очковтирательство! — шумно дыша, отверг Остудин нелепое предложение.

В кабинете все расселись вдоль длинного стола, но почему-то сразу примолкли.

— Ну, товарищи! — гневно начал Остудин, — Кого мы хотим обмануть? Сегодня, как никогда, требуется смотреть правде в глаза, без всяких скидок. Простаивает импортное оборудование, и за это виновники — конкретные люди, должны ответить!

Харузов ждал, когда же выяснится истинная причина сегодняшнего сбора специалистов. Остудин прав, конечно, давно пора было взяться за эту линию, но где он был раньше, откуда такая резкая смена позиции? Не раз ведь докладывал ему, требовал принять меры, в ответ — никакой реакции, напротив даже: что вы, мол, лезете на завод с мелкой опекой, мы им не няньки, сами разберутся. Акт о внедрении есть — и дело с концом.

— Разве тут выяснишь, кто виновен,— забубнил Стасевич, когда Остудин закончил свое короткое

обличительное выступление, — тут кувалдой нельзя махать, надо вызвать специалистов, чтобы разобрались после наших изобретений...

— Чушь! — оборвал его Остудин. — Вы прекрасно знаете, специалисты — это валюта. Почему вы сами забросили линию?

— Надо давно уже было сдвинуть дело с мертвой точки, — сказал Харузов. — Я не раз напоминал об этом. А виновных — наказывать!

— Конечно, — заметил Стасевич, — вам-то теперь все равно!

Давал понять, что знает о сокращении управления.

— Василий Кириллович прав, — сказал Остудин. — Хватит разглагольствовать. Определитесь с приказом, установите, кто принял линию на завод, не вникнув в документацию.

Харузов вздрогнул: вот ларчик и открылся. Не вникли в проект, не разобрались в чертежах — ловкий поворот!

— Вы прекрасно знаете, что начальником отдела был я, — сказал он.

В кабинете повисла гнетущая тишина.

— Вот вас, Василий Кириллович, я и попрошу составить проект приказа, — сказал Остудин. — Коли вы с самого истока здесь миллионы прохлопали, вам и карты в руки. О заводской вашей деятельности мы говорить не будем, что теперь вспоминать, но как начальник управления — что вы в данной ситуации сделали? Заявляете везде, понимаешь, что ваше управление не вольно ничего решить, зажато, бедное, министерством в тиски! Заявляете, что заводы вам только формально подчиняются. Это самый удобный путь — устранить от решения деловых вопросов, ездить в министерство и там смущать руководство нелепыми предложениями!



Вступать в пререкания при всех, доказывать, что Остудин сам тормозил внедрение линии, было нелепо — никого сейчас не переубедишь.

Из присутствующих только один попытался возразить Остудину. Это был теперешний начальник техотдела, паренек, встретивший Харузева. Несмотря на застенчивый вид, он не особенно был смущен скоплением начальства.

— Простите,— заявил он.— Виноват тот,— я это утверждаю, — кто дал команду использовать наши электроды на импортной линии, у них же диаметр вдвое больше номинала, это варварство!

— А вы где были? — остановил его Остудин.

— На пятом курсе,— ответил тот.

Остудин засмеялся:

— Ну вот. Еще не работал, а туда же, в обвинители!

После совещания Харузов прошел в цех, взял документацию на линию: надо составлять приказ, надо и свою вину определить: не смог настоять на своем. Отвечать придется, но не это страшно, а то, для чего Остудин весь сыр-бор раздувает. Ведь похоже, что это прямое предупреждение: ах, ты на принцип идешь, так на, получай свое! Безусловно, Остудин завтра все доложит министерской комиссии, и вполне понятно, как доложит...

В управление Харузов приехал ровно в семнадцать, до конца рабочего дня оставалось всего полчаса. Тут же соединился с ним по селектору Карцев. Доложил, что собирал начальников отделов, с людьми, с их устройством худо-бедно определились, хотя и не со всеми. Связывался с гипропроектом,— там открывают бюро, ищут технологов. Можно будет пристроить женщин.

— Все идет как надо,— заверил Карцев.— Я зво-

нил в горком — там тоже нас поддерживают. Говорил с нашим парторгом Михеевым... беспокоится за устройство людей, но в целом на нашей стороне. Такие времена настали. Не может, понимаешь, корабль плыть, если днище ракушками и водорослями обросло. Надо в док поднимать — счищать наросты! Увидишь, министерская комиссия не даст Остудину даже рта раскрыть... Тут Фаворный все носится со своими обоснованиями, так я его предупредил — без подписи Харузева ни одна бумага в главк не должна уйти, и девочкам в канцелярии то же сказал!..

На селекторе мигали сразу несколько лампочек: плановый отдел, отдел труда, кадровики — все рвались на связь. Харузов соединился с Фаворным.

— Наконец-то, Василий Кириллович! Мы все здесь ждем вас как бога. Ваш Карцев ничего не хочет понимать, везде со своими капитанскими замашками лезет,— жаловался Фаворный.— А у меня все подготовлено, все очень доказательно получилось — теперь ни у кого не поднимется рука подписать решение о нашем сокращении, я сейчас к вам подскочу. Остудин звонил, сам Остудин мне сказал, что вы теперь измените свое мнение, так я сейчас...

— Я занят,— сухо отрезал Харузов.

— Вы еще пожалеете, вы...— возмутился Фаворный.

Харузов нажал на кнопку и отключил плановый отдел.

Неслышно вошла Эмма, положила па стол кипу бумаг — почта за день, сообщила: комиссия приезжает завтра, Остудин просит с утра подойти к нему со всеми обоснованиями...

Харузов кивнул, механически стал просматривать письма — из министерства ничего не было. Что ж, значит, главный бой завтра. Остудин, видите, уверен, что добился своего — одно за другим:

Симончук, теперь эта линия... Любой поймет: будешь сопротивляться дальше, получишь еще...

Домой Харузов пошел пешком. Небо было низким и хмурым. От горизонта до горизонта все заволочило фиолетовыми тучами. Накрапывал дождь. Харузов успел зайти в подъезд своего дома, когда хлынул настоящий ливень. Ларисы еще не было. Интересно, нашла ли она Сашку? Тоже взял привычку исчезать из дома! И чего им сейчас не хватает? Кажется, живи, учись, ведь никаких забот! Так нет — все наперекор... Почему не отдал деньги Симончуку? Сумма немалая, зачем она ему? Когда что просит, ни в чем отказа нет. В море ходил — себе почти ничего не покупал, а ему обязательно какую-нибудь заграничную вещицу тащил. Магнитофонов привез штуки три. Два исчезли в роте, где Сашка служил. А может, зря не требовал отчета во всем? Вот и привык сынок жить как заблагорассудится, словно и не в семье живет. Утром даже не кивнет, пройдет мимо, наглец,— будто ты неодушевленный предмет, так, часть домашней обстановки. С матерью еще может пошутиться — завелись свои секреты. А об отце вспоминает только когда деньги требуются. Но это еще цветочки. Первая ягодка — когда в вырезатель угодили. Может быть, и он, как отец, был неправ: надавал пощечин — ну и что? Еще больше увеличилась трещина... Пошли потом его компании. Осоловевшие глаза, развязность, блатные словечки, какой-то сленг, а не язык. А финал — шприц в ящике стола... Когда упустил Сашку? Кто виноват? Ведь какой был парень в школе — и отличник, и умница, а в десятом классе вдруг одни тройки пошли. Пристрастился правоту кулаками доказывать, послушать его — так всегда он прав. Да, всего хватало. Пора бы вроде и образумиться.

Двадцать два ведь уже! В его годы он, Харузов, и диплом защитил, и первую свою комнату заимел, свой угол. Лариса закончила институт, приехала. Жили в тесноте, но дружно, ничего друг от друга не таили...

А сейчас? Сам виноват... Есть же люди, живут себе потихоньку, считают — сколько годков до пенсии осталось. Можно ведь и так. Свое отработал — и в море, и на заводе. Когда тебе за пятьдесят — уже трудно что-то ломать. Представить не мог раньше, что, дожив до таких лет, человек еще не чувствует себя стариком. В море, когда ходил на траулерах, даже сорокалетних — называли их сорокеты — на подвахту старались не посылать. А здесь, на берегу, сорокалетний — это еще перспективный работник. Лозунг, правда, есть — дорогу молодым, но где они, молодые? Навидался всяких. Иные приходят после института — им бы жизнь понюхать, а у них одно стремление — сесть за стол понадежнее. Не у всех конечно. Вот на заводе начальник техотдела — ровесник сына, да и в управлении встречаются толковые ребята.

Месяца два назад зашел как-то инженер из отдела капремонта Полуэктов: голосок тонкий, женский, первое впечатление — жалобщик, обиженный, оказалось, нет — мыслящий парень. Придумал устройство для шлифовки гребных винтов, которое дает возможность добиться идеально гладкой поверхности. В результате — выигрыш в скорости судна на целый узел. Для флота это миллионы рублей экономии. Для флота, но не для заводов, там эта шлифовка — лишняя морока. В управлении, естественно, тоже приняли сторону заводчан, и вот — загоняли парня. Стал при нем созваниваться с главными инженерами, всюду одни отговорки: кто скорректирует сроки ремонта, где изготовят устройство... Вот

если бы работали в одной упряжке и заводы и судовладельцы — тогда другое дело, тогда бы не только свою ведомственную выгоду блюли!

Пришлось дело с внедрением этой шлифовки в Москве решать, с самим заместителем министра. Тот, хорошо, из новых, директор завода в прошлом, а по заскорузлым пальцам видно, что и в директора не с бухты-барахты угодил. Все дела отложил, вызвал своих помощников, потребовал инструкции, расчеты... Идею поддержал.

Вот если бы этот заместитель министра сам возглавил комиссию, сколько бы проблем отпало. Но и здесь не повезло: сообщили из Москвы, что он в отъезде.

Харузев решил поужинать, не ожидая Ларису, а потом заглянуть к Карцеву — очень тоскливо на душе стало, появилась какая-то неуверенность. Не ясно, совсем не ясно, как все сложится. Василий Кириллович набрал номер квартиры Карцева — длинные гудки. Позвонил диспетчеру: так и есть, зам еще в управлении, но где его искать диспетчер не знал, минут десять назад был на доках, потом еще куда-то уехал...

Во время разговора по телефону Харузев услышал голоса в коридоре. Наконец-то Лариса и, очевидно, сын с ней. Отыскался. Нервотрепка одна, куда ему деваться!

Харузев положил трубку. В комнате появилась необычайно оживленная Лариса, а за ней, — вот уж кого не ожидал! — медленно ступал сам Гарновский. И как будто не уезжал никуда, как будто оставался здесь по-прежнему начальником Харузева, спросил строго:

— Готов ли хозяин к приему гостя?

Харузев поднялся навстречу и растерянно про-

тянул руку. Тарновский легонько пожал пальцы Харузева, отдал плащ Ларисе и уверенно прошел к креслу, стоящему посреди комнаты.

Походка у него была прежней: ноги почти не гнулись в коленях, большая голова откинута, гладкие волосы разделены ровным пробором. Рубашка, как всегда, сияет ослепительной белизной, костюм сидит как влитой. Спокойные, хозяйские, неторопливые движения и полная уверенность в себе.

— Я сейчас приготовлю ужин, не успеете оглянуться,— засуетилась Лариса.

Харузов двинулся было за ней на кухню. Она жестом остановила его: мол, неудобно, иди к гостю, что же ты...

— Где ты его зацепила? — недовольно спросил он.

— Ну что ты, не злись, мы случайно встретились у гостиницы, я там искала Сашу. Иди же, неудобно...

Тарновский стоял у кресла и своим хозяйским взглядом озирал комнату, одобрительно покачивая головой.

— Вот любят у нас уверять — провинция,— сказал он вошедшему Харузову,— а где в столице найдешь дом, обставленный с таким вкусом.— Тарновский задрал голову.— Люстра бесподобная, я такую давно ищу! Первокласное у тебя гнездышко, ничего не скажешь!

Он почмокал вытянутыми губами и заулыбался.

— Вроде бы обжились,— сказал, как бы оправдываясь, Харузов.

Начало разговора ничего хорошего не предвещало. Тарновский стал длинно и нудно рассуждать о цепи случайностей и их взаимосвязи. «К чему он плетет все это?» — пытался угадать Харузов, но гостя не перебивал.

— Жизнь — цепочка столкновений,— продолжал Тарновский, — люди — это звенья, которые должны быть скреплены друг с другом, чтобы цепь не порвалась. Жизнь проверяет, насколько мы внимательны, насколько умеем ценить эту взаимозависимость...

Харузов вслушивался в витиеватые речи гостя, на всякий случай кивал: да, мол, согласен.

Тарновский всегда любил блеснуть эрудицией, хотя и читал мало, часто путал названия книг и авторов. В доклады, которые готовились для него, обязательно требовал вставлять высказывания Салтыкова-Щедрина или Чехова. В те дни, когда писались эти доклады, все управление жило как в лихорадке: в каждом отделе сочиняли так называемые вставки в предстоящее выступление. Казалось, даже воздух становился наэлектризованным — так все погружались в работу, а тот, кто отвечал за весь доклад целиком, становился самым главным лицом в управлении: все справки и вставки скапливались у него и не дай бог было что-нибудь упустить...

После отъезда Тарновского Харузов сразу же поломал эту систему. Для своих докладов он сам набрасывал тезисы, выписывал цифры и уже на трибуне выстраивал их, объединял и разъяснял. Правда, этому новому веянию подчинились не сразу, был даже случай, когда не просил никого, но знали, что будет конференция, и сочинили ему речь... Ведь если он, начальник управления, говорил с трибуны без заранее подготовленного текста, его подчиненным тоже приходилось следовать примеру своего шефа, а этого не все хотели...

И все-таки надо отдать должное Тарновскому: очевидно, тщательная отработка всех выступлений что-то ему дала, во всяком случае говорить он умел.

И вот сейчас он это неплохо демонстрировал. Лариса между тем быстро организовала стол.

Тарелки, салфетки, вилки так и мелькали в ее полных подвижных руках. Тарновский рассыпался в комплиментах. Лариса расцветала на глазах. Харузов, не раз наблюдавший своего бывшего шефа совсем в иной обстановке всегда жестким и властным, только дивился, насколько обаятельным он может быть.

Ел гость с завидным изяществом и в то же время с отменным аппетитом. Не уставал нахваливать хозяйку и все время шутил.

— Я теперь понял,— заключил он после очередного анекдота о женском непостоянстве,— я понял, почему, Василий Кириллович, ты собрался работы лишиться. Я все гадал — с чего бы это? А надо было сразу сообразить — при такой симпатичнейшей жене тратить время на сидение в кабинетах глупо. Ее стеречь надо, чтобы не соблазнили, не увели ненароком. Что, не прав?

Харузова не вдохновлял шутливый настрой гостя, постоянно вертелась мысль: зачем он здесь, просто так визиты этот человек не наносит, в этом городе ему есть куда пойти.

— А такой королеве, как твоя Лариса,— продолжал Тарновский,— не просто сторож нужен, ей король необходим, да не голый, а с владениями. Правда, Лариса?

— Ну что вы, Петр Захарович, какие владения,— засмушалась Лариса,— он у меня бессребреник!

— Уж ай-ли, такой ли,— протянул Тарновский,— помню, правда, как других осуждал, а теперь вижу — исправился, вон как квартиру обставил, загляденье прямо!

Это уже был явный выпад — мол, мне известно все, в моем бывшем, но все-таки моем управлении, от меня нет секретов.

Харузову захотелось тоже в ответ намекнуть



вежливо, но чтобы дошло, что он, Гарновский, и сам не святой. Например, если про бильярд спросить: «Как, в Москве, глазомер не растеряли?» — интересно, какая у него мина была бы? Но зачем идти на обострение, надо сначала узнать, чего же хочет начальник, с чем он пожаловал...

Доели жаркое. Лариса принесла морс в графине и бисквиты. У Харузева в холодильнике стояла еще бутылка коньяка — на майские праздники купил, да так и осталась непочатой. Предложить? Нет, пожалуй, не стоит. Правда, раньше шеф не обходился без спиртного, всегда держал у себя в кабинете. Любил проверяющим предложить рюмочку и кофе, при этом поясняя: у нас как на Западе сервис. Теперь время другое — этим не похвастаешь. Говорят, в Москве он уже такого себе не позволяет.

Когда Лариса оставила их одних и занялась на кухне мытьем посуды, Гарновский сразу же сменил тон: это уже был не обаятельный шутник, сыпавший любезностями и анекдотами. Перед Харузовым сидел прежний Гарновский: жесткий, не терпящий возражений, облеченный властью и диктующий свои требования.

— Я твой демарш прекрасно понял! — спокойно сказал он. — Ты захотел взлететь на волне перестройки и, естественно, попал в десятку: сейчас наверху поддерживают любое сокращение управленческого аппарата. Наше министерство не исключение. Ты вовремя выскочил со своими предложениями, тем более, что к руководящим постам пришли, надо прямо сказать, горячие головы, готовые все сокрушить. Я не стал возражать, я даже поддержал тебя. Мы посоветовались с министром. Такие люди, как ты, сегодня нужны в министерстве. Тебе намерены предложить пост главного специалиста по координации судоремонта. Но есть одно но... Ты серьезно настро-

ил против себя своих управленцев, наверняка пойдут анонимки. Демос, он ведь не понимает, что руководителю не пристало жить хуже своих подчиненных, им кажется, что мы пользуемся чрезмерными благами. Но это нам положено, мы заслужили это своим трудом. И поэтому не опасайся, я берусь отстоять тебя!

— Не надо меня отстаивать,— сказал Харузов.

Он ожидал всего, но только не такого поворота.

Ну и шеф! Как он сориентировался во времени! Пару лет назад он бы не то что выгораживать стал, он от строптивного работника мокрого места не оставил бы. Услышь его Лариса, он обрел бы надежного союзника: столица — ее давняя мечта, да и сам он, если откровенно, разве не соглашался с ней, что понастоящему можно развернуться только в Москве!.. А главное — решилась бы проблема с сыном, увез бы его подальше от всех этих странных компаний в столичный вуз. Решение, конечно, оптимальное для всех. Для всех, в том числе и для Тарновского. Не во благо себе этот человек никогда хлопотать не станет...

— Меня на надо отстаивать,— повторил Харузов. — Все несколько преувеличено, ваши осведомители не во всем правы...

— Ну зачем так грубо? — перебил Тарновский. — Скажем так, коллеги...

— Хорошо, пусть будут коллеги. Положим так: я согласен на переезд, а что дальше, что это изменит? Приказ ведь подписан!

— Да,— ответил Тарновский,— я привез его, но получил карт-бланш. Министр так и сказал: определись и действуй как сочтешь нужным.

— И вы определились?

— Да! — кивнул Тарновский.— Естественно, я еще в Москве понял, что сейчас необходимо. Дело

не в системе управлений. Трехзвенная или двухзвенная — какая разница! Дело в незаинтересованности людей. Работники-управленцы получают деньги независимо от своей отдачи. Отсидел спокойно день или крутился, как белка в колесе,— оплата одна. Сейчас, когда все переходят на хозрасчет, когда основной наш двигатель — рубль, надо все менять. Необходимо, как и на производстве, ввести для работников коэффициенты трудового участия и в зависимости от них — оплачивать. Вот тогда все будут крутиться.

— Написал больше бумажек — получи, разработал больше инструкций — тоже получи, да еще придется новые отделы образовывать, где эти коэффициенты станут усердно подсчитывать, так что ли? — иронически поинтересовался Харузов.

— Ты лучше над собой смейся,— отрезал Тарновский.— Это уже одобрено в верхах! Попадешь в министерство — поймешь. А здесь все будет нормально. С введением новой системы все просто заиграет!

— Дело не в системе,— возразил Харузов,— тормоз в многоступенчатости, ее все равно надо ликвидировать!

— И в этом я с тобой согласен, по все делается не так бесшабашно, как ты задумал. Нужны обоснования, расчеты. Этим я здесь и займусь, но уже без тебя. Твоя горячность здесь только повредит!

Харузов усмехнулся. Да, он преотлично знал своего шефа. Всплыл в памяти один из последних инцидентов: начальник коммерческого отдела чем-то не угодил шефу, продолжал держаться своего мнения, заявляя во всеуслышанье: что мне Тарновский, есть закон, и я его не преступлю. Через неделю тихо уволился по собственному желанию, но не это было главное, а тот разговор, свидетелем которого неволь-

но стал он, Харузов. В кабинете шефа стоял кадровик, и Тарновский внушал ему: проследите, чтобы этот пузырь, — имелся в виду начальник коммерческого отдела, — нигде не всплыл. Значило это, что теперь Тарновский не позволит неугоднему работнику устроиться на работу не только по специальности, но и вообще в городе. Харузов тогда пытался протестовать, — Тарновский обычно прислушивался к его доводам, но здесь сделал вид, что чрезмерно занят...

За окном окончательно стемнело. На улицах зажглись фонари, блики света играли на потолке; настольная лампа, которую включил Харузов, освещала только стол и их двоих. Все остальное пространство комнаты, погруженное в полумрак, отодвинулось, стерлось.

— Да, весьма занятные варианты, — произнес Харузов, как бы рассуждая сам с собой и не обращаясь к Тарновскому, — такой выбрали путь...

В комнату вошла Лариса: цветной поднос в руках, на нем дымящийся ароматный кофе. Она улыбнулась Тарновскому и спросила:

— Вы что-то серьезные оба. Мой, наверное, замучил? У него ведь только и разговоров, что о работе...

— Напротив, это я его мучаю прожеками, — ответил Тарновский.

Разговор в присутствии Ларисы опять стал легким, непринужденным, и если бы кто-нибудь незримо понаблюдал за ними издали — наверняка решил бы, что общаются трое самых близких друг другу людей — милых, интеллигентных, умудренных жизнью, но не придавленных грузом лет. Харузов, нет-нет, да и улыбался очередной шутке гостя, сам пытался острить, Лариса мило за ними ухаживала, подливала в чашки кофе.

И когда прощались, Тарповский долго благодарил ее, уверял, что давно так не отдыхал душою. Уже в коридоре, обращаясь только к Василию Кирилловичу, сказал:

— Значит, обо всем договорились, выступаем единым фронтом!

— Вряд ли,— ответил Харузов,— вряд ли мы с вами когда-нибудь будем заодно.

Тарновский не вспыхнул, не обиделся. На лестничной площадке даже похлопал Харузова по плечу, правда, заметил:

— Смотрите, не переусердствуйте...

Харузова передернуло. Он с силой нажал кнопку вызова лифта.

Когда они остались вдвоем, улыбка тотчас исчезла с лица Ларисы.

— Что, не договорились? — спросила она.

Василий Кириллович махнул рукой, подошел к окну. Дождь на улице не переставал. Он резко растворил раму, высунулся в окно,— в лицо пахнуло холодной колючей моросью. Пелена дождя размывала свет уличных фонарей и делала едва заметными огни в окнах соседних домов. На проспекте, столь шумном днем, сейчас почти не было никакого движения. Лариса что-то говорила за его спиной, шум дождя приглушал ее слова. Он повернулся, остро почувствовал запах дорогих сигарет Тарновского.

— Я все-таки надеялась, что вы найдете общий язык,— раздраженно продолжала Лариса.— Вспомни, скольким мы обязаны ему! Я, когда встретила его сегодня, сразу поняла: это наше спасение. А в тебе столько упрямства! Какая блажь! Перед пенсией не подумать о себе, о семье своей собственной...

Харузов смотрел на жену — красивое лицо, зна-

комое до мельчайшей черточки, и в то же время совсем чужое.

— Что ты говоришь, Лара? Какая во мне блажь?

— А чего ты добиваешься? Это самый разумный выход — переезд в Москву!

Оп опешил: откуда ей это известно? Подслушивала? Нет, не похоже. Значит, заранее все знала...

— Ну что ты смотришь на меня так? — с укоризной спросила Лариса.— Кто-то из нас обязан о семье думать!

— Ты знала?

— Да, он рассказал мне, и что из этого? Прекрасное предложение! Может ли быть лучше?

— Лучше? Ты считаешь, что нужно думать только о себе? — спросил Харузов и, подойдя к ней почти вплотную, не ожидая ответа, продолжал.— Пойми, хоть кто-то из нас должен когда-нибудь не только о себе подумать, а и об обществе, которому мы обязаны служить. Это долг наш, долг!

— Ты это Гарновскому говорил?

— К сожалению, нет,— ответил он и подумал, что зря ведь миндальничал с шефом. Нет, здесь не просто гостеприимство, это в генах — преклонение перед вышестоящими, боязнь высказать прямо свое мнение без всяких экивоков.

— Ты не об обществе печешься, ты опять свое «я» отстаиваешь! — не успокаивалась Лариса.— Гордыня у тебя превыше разума! Если ты откажешься, завтра мы можем лишиться всего. Всего!

— Человек никогда не может лишиться всего! Положение, вещи, уют — это все бутафория. Зачем нам это?

— То есть как, зачем? — удивилась Лариса.— Что за чушь ты несешь!

Выражение ее лица не предвещало ничего хорошего.

Харузов стал опасаться этих возникающих в последнее время все чаще ссор, после которых Лариса, высказав ему все, что накопело на душе, надолго замолкала. Иногда они неделями не разговаривали.

— Мы живем несколько не лучше других,— не успокаивалась Лариса.— Ты прекрасно знаешь, как обставлены квартиры и у Остудина, и у Фаворного вашего. Что, прикажешь спать на топчанах и лавки вдоль стен поставить?! Ах, какой ты чистенький! Ты ничего не знал! Все это делала я сама... Только для кого? Для тебя, для твоего же комфорта!

— Лара, прекрати,— взмолился он.

Но Лариса оседлала любимого конька, это надолго. Он ушел в свою комнату, демонстративно захлопнув дверь. Обычно после таких ссор он укладывался спать на старом продавленном диване. Лариса много раз порывалась выкинуть эту развалюху, но так и не решилась. Харузов, не раздеваясь, прилег, подсунул валик дивана под голову...

Через полчаса он услышал, как зазвонил телефон. По взволнованному голосу жены понял: наконец-то объявился сын. Потом Лариса замолчала, всхлипнула, и через мгновение дверь в его комнату распахнулась. По округлившимся застывшим глазам жены он догадался, что произошло что-то непоправимое.

Харузов приподнялся с дивана.

— Это не он, то есть о нем,— Лариса не могла говорить связно. — Он, о господи... Он в милиции, звонили оттуда.

— Что с ним? Почему?

— Я не знаю, они сказали, что задержан на даче.

Добиться от нее толком чего-то конкретного бы-

ло невозможно. Во всех житейских делах сохранявшая спокойствие, она совершенно теряла ориентировку, когда дело касалось сына.

Вот и сейчас — накинула плащ, заметалась по комнате, разыскивая зонтик. Идти в ночь, в дождь... И куда — в милицию. Дожили. Нет, не стоит паниковать! Не преступник же, мало ли что бывает: собралась молодежь на даче, пели, наверное, слишком громко, музыку свою сумасшедшую врубили.

— Из какого отделения звонили? — спросил он. — Я сейчас свяжусь с ними и все выясню.

— Нет, нет, только не по телефону. Я сама туда пойду! — бурно запротестовала Лариса. — Ему надо помочь, надо его вытащить оттуда. Ты даже не представляешь, что с ним могло случиться!

— Но и по телефону можно все узнать! — попытался он настоять на своем.

— По телефону! — повысила голос Лариса. — Ты привык все решать по телефону. Они же там не дураки! Знают, наверняка, что ты уже никто фактически! Да они и говорить с тобой не захотят по телефону! А если его избили, если ему врач нужен срочно?

Удерживать ее было бесполезно. Харузов, быстро набросив куртку, пошел за ней к лифту.

Дождь почти прекратился, на улицах было совершенно пустынно. Лариса бежала, не разбирая дороги, то и дело ступая в лужи, но, очевидно, не ощущая воды, хлюпавшей в ее полусапожках. Она двигалась как-то странно: казалось, корпус ее стремится вырваться вперед, опередить движение ног, голова тоже была наклонена вперед. Зонтик она так и не раскрыла. Харузов на ходу пытался успокоить ее, убедить, что ничего серьезного не могло произойти — по и его уже одолевали страшные видения: избитый сын, ножевые раны, опустошенная дача...



В милиции, в дежурном помещении, прямо на полу сидел мрачный субъект с кривым носом и громко самозабвенно матерился. Ярко одетая женщина, не обращая ни на кого внимания, размахивала руками, требуя утихомирить соседа по квартире. Сержант с угрюмым взглядом и кустистыми бровями давал ей какие-то раздражавшие ее советы. Выждав, когда она смолкнет, Харузов спросил о сыне. Сержант отвечал нехотя, односложно: видимо, за день ему порядком надоели просители. «Да, здесь... да, задержан... нет, пройти нельзя...»

— Зачем вы тогда сидите здесь, если толком ничего не знаете! — возмутилась Лариса.

Харузову пришлось успокаивать ее, а потом и сержанта, который начал повышать голос и очень уж уничижительно констатировал: «Ходят тут всякие мамыши по ночам! Откуда я знаю, что ваш сын натворил! Самим следить надо получше!»

Харузов достал из кармана красную книжку: солидное удостоверение с золотым тиснением,— еще Тарновский в свое время всем в управлении выдал такие книжки. Удостоверение подействовало, дежурный позвонил своему начальнику. Через минуту молодой лейтенант спустился по деревянной лестнице и любезно поздоровался, назвав Харузова по имени и отчеству. Лариса потребовала немедленной встречи с сыном, он не отказал, но объяснил:

— Видите ли, если бы ваш сын был несовершеннолетний, мы, безусловно, отдали бы его вам, но сейчас надо еще кое-что выяснить. С ним беседует заместитель начальника отделения майор Рыков.

— Пантелеймон Евсеевич? — уточнил Харузов. Он знал Рыкова, случалось бывать вместе на совещаниях в горисполкоме.

То обстоятельство, что Харузов знает его на-

чальника, сделало лейтенанта еще более любезным. Он провел их с Ларисой в комнату на втором этаже, усадил на какие-то шаткие стулья и рассказал довольно-таки подробно о том, в какую историю оказался замешанным их сын.

Оказалось, вчера поступил в отделение сигнал о том, что на одной из дач, где отсутствуют хозяева, постоянно собираются подозрительные молодые люди, похожие на наркоманов. Юноши были задержаны, почти ничего компрометирующего их не обнаружено. Только у одного нашли в кармане шприц, да и то парень оказался студентом мединститута и объяснить наличие этого шприца как-то можно. Дело, однако, осложнено тем, что юноши эти проникли в дом незаконно, и надо еще выяснить, с какой целью, что похищено, взломан ли ими замок или дача стояла в таком состоянии уже не первый день. Почти всех задержанных допросили и отпустили, но их сын вел себя агрессивно при задержании, и теперь больше всего от него самого зависит — будет ли на него заведено дело. К сожалению, он и сейчас не хочет ничего объяснять...

Лариса не перебивала лейтенанта, а когда тот вышел, чтобы узнать, можно ли им увидеть сына, сказала:

— Слава богу, что так. Он цел, и это главное... Обязательно добейся встречи с Рыковым: сейчас, по свежим следам все можно прекратить. Убеди, что нельзя им Саше крушить судьбу — ведь ему еще жить надо! Объясни все это. Я уверена, что Саша попал в эту компанию случайно, что он ни в чем не виноват!

— А кого же тогда обвинять в том, что он полез в чужой дом? — хмуро поинтересовался Харузов.

— Ты еще не понял, — она всхлипнула. — Ты ничего не понял! Это же подстроено, ты слышал, лей-

тенант говорил — сигнал. Это все специально сделано, все это из-за тебя!

Он хотел возмутиться: что за фантазия, что за привычка переключаться с больной головы на здоровую, но одернул себя — не затевать же спор здесь, в милиции! Надо же все-таки выручить сына и дома во всем разобраться. Само задержание — это уже хороший урок, пора ему образумиться! Даже если, как считает Лариса, все подстроено, то ведь опять же сам Сашка виноват: кто не нарушает закон, тому ничего не подстроишь. Зачем было лезть в чужой дом, да еще этот шприц... Рыкову ничего не докажешь, но он должен понять, что речь идет о судьбе студента, заканчивающего университет...

Рыкова разыскивать не пришлось, он сам вошел в комнату. Поздоровался, но как-то сухо, сразу как бы создав определенную дистанцию между ними, просителями, и собой, блюстителем порядка. Начал разговор с того, что вспомнил давний случай, когда их сын попал в вырезатель: мол, тогда полиберальничали, замаяли дело, и вот результат — новый эксцесс.

— У меня достаточный опыт работы,— заявил он безапелляционно,— я не раз твердо убеждался, если юноша ступил на стезю нарушений, надолго он нас не покинет!

Харузев не стал возражать, хотя был серьезно задет словами Рыкова. Сейчас дело не в словах: главное, выяснить, что же произошло с Сашкой и чем все это ему грозит.

Но Рыков ничего особого не сообщил, сказав, что, вероятно, сын сам все лучше им расскажет, и заключил: и пусть он, ваш сын, не смотрит здесь на всех, как на своих врагов — вроде не его должны судить, а он кого-то судит!..

— Я у него спрошу за все, да еще как спро-

шу,— заверил Харузов, — Я вам гарантирую, что это не повторится.

— Ладно,— неожиданно легко согласился Рыков, — забирайте его, но смотрите: еще раз попадет — и никакие просьбы не помогут!

— Да не будет следующего раза, он же не подзаборник какой-нибудь. Ведь все вложили в него, все: учится он неплохо, и дома себя нормально ведет! — зачастила Лариса.

— В наше время все перевернулось,— сказал Рыков. — Зачастую, как вы говорите, все вкладывают родители в чадо, и семья вроде обеспечена, а приходится разбираться нам. Печально, но факт: дети обеспеченных родителей тоже нередко становятся наркоманами.

— При чем здесь наш сын! — возмутилась Лариса.

— Я пока ничего не утверждаю, только боюсь, что дело на него все же придется завести.

— Зачем дело, что он такого совершил, чтобы дело? — моментально отреагировала Лариса.

— Давайте встретимся в ближайшее время и все спокойно обсудим,— взял инициативу в свои руки Харузов.

Рыков согласился.

Они вышли и стали ждать сына в коридоре. Он вскоре возник в дверях отдаленной комнаты. Вначале Харузову захотелось, как тогда, три года назад, в вытрезвителе, вкатить ему пару хороших пощечин, но минуту спустя два совершенно противоположных чувства боролись в нем: с одной стороны — неприятие сына: как так можно зарываться, что это еще за дела, а с другой — жалость: вот идет навстречу — всклокоченный, худющий. Что там творится сейчас в его душе, что произошло с ним на самом деле?

Лариса сразу бросилась к сыну — обнять его, поскорее увести отсюда. Сашка отстранился, сказал на ходу:

— Это им так не пройдет, я буду жаловаться!

— На себя,— оборвал его Харузов.

Дома Василий Кириллович хотел сходу начать серьезный разговор, но понял, что может сорваться. Не было сил. На пределе выдержал весь этот день, а его сменила еще более тяжелая ночь. Он прошел к себе, улегся на диван, но заснуть так и не смог. Сколько ни ворочался, сколько ни приказывал себе выкинуть все из головы, ничего не получалось: вначале он продолжал мысленно противостоять Тарновскому, доказывал свою правоту Остудину, а потом все это заслонила сын, милиция, невозмутимое лицо Рыкова и убежденность Ларисы, что задержание подстроено. Он понял, что не заснет, пока не поговорит с сыном.

Харузов встал, тихо прошел в соседнюю комнату. Сын тоже не спал. Лежал в темноте, ворочался.

— Послушай, Саша,— начал Харузов,— мне бы очень хотелось понять тебя, помочь...

— Мне не нужна твоя помощь,— сразу же оборвал его Сашка.

Харузов постарался сдержать себя и стал объяснять, что дальше так жить нельзя, что под угрозой все Сашкино будущее, что надо остановиться...

— Ничего мне не надо,— равнодушно отозвался Сашка.— Мне просто надоело быть сыном Харузова... Ты устроил меня в университет, ты выбил мне стипендию...

— Насчет стипендии ты это зря...

— Все равно, что бы я ни сделал, где бы чего ни достиг — будут говорить, что это только благодаря отцу...

— Может быть, я и дачу вместе с тобой взломал? — не выдержал Харузов.

— Никто там ничего не взламывал. Дача эта уже второй год пустует — ее для начальника одного выстроили, а тот за границей сейчас работает, зачем ему она?

— Пусть пустует,— сказал Харузов, пытаясь сообразить, кто из руководителей два года назад получал направление на работу за рубеж.— Ну и что? Пустует. Какое вы имели право? Я не понимаю, что это за сборища? Сессия на носу, ну, если бы хоть с девушками, немного понятно, а так? Неужели наркотики? Ты же давал мне слово!

— Наркотиками там и не пахло, это в милиции захотели нам дело состряпать. Девчонок мы через веранду выпустили, и ничего мы там не тронули. Пусть проверят, а потом дело шьют...

— Не пойму я тебя. Вот я сам был молодым, курсантом, тоже мы любили повеселиться, и всякое бывало. Но конфликт с милицией — такого не припомню, наоборот, мы милиции помогали, в дружине почти всегда...

— Оставь, отец,— с явной усталостью и безнадёжностью в голосе произнес Сашка,—опять мораль полилась. Мы все равно не поймем друг друга. Ты ведь тоже, как и все люди твоего ранга, говоришь одно, думаешь другое, лишь бы все было в рамках правил игры. А играете-то вы — смешно! — в справедливую жизнь! Но не такая она, как вы ее красиво хотите представить!

— Это ты напрасно все в общую кучу. Все опять виноваты, а речь о твоём завтрашнем дне! Мы за свои ошибки сами ответим.

— Я тебя, отец, об одном прошу — не ходи никуда, не унижайся. Пусть хоть сейчас как все, так и я...

— В Дон Кихота играешь, ты играешь постоянно, а не мы. Ну хорошо. Сегодняшний случай опустим для ясности, а прежние твои подвиги? Потом скажи, почему ты не отдал деньги Симончуку за видеосистему. Куда ты их дел?

— Да я несколько раз их ему приносил, он не взял. Сказал: не надо. Я тогда эти деньги Кацуку одолжил — ты его знаешь, он к нам приходил. Без стипендии остался, живет в общежитии. Ему надо один семестр продержаться, понимаешь? Летом заработает — отдаст!

Харузев стал объяснять, что он не против того, чтобы одолжить, — надо, значит, надо, но об этом следовало сказать ему, потому что теперь из-за этого будут неприятности.

— Успокойся, отец, — сказал Сашка. — Я уеду в Нижневартовск, буду работать, слезу наконец с вашей шеи, и у тебя не будет никаких неприятностей!

— А учеба? Что, все эти годы впустую? Стране нужны грамотные специалисты!

— Это все высокие слова, надоело. Стране нужны как раз рабочие. Об этом во всех газетах пишут.

Харузев возмутился — какое он, Сашка, имеет право так говорить! Какой еще ветер в голове, хоть и велик ростом, а ничего еще в жизни не понял. О чем тут говорить...

Лариса не спала: повернулась, тяжело вздохнула и придвинулась к стене, освобождая ему место. Харузев осторожно прилег с краю.

— Что Саша говорит? — спросила Лариса.

— Ничего серьезного, думаю, все обойдется, — ответил он.

— А мне кажется, что дело раздуют. Я так боюсь и за него, и за тебя... Дай мне слово, что завтра

ты не полезешь па рожон! Я прошу тебя, хотя бы ради сына, поверь, нам нужно уехать отсюда...

— Ладно, успокойся, все будет нормально.

Они еще долго лежали молча, плотная ночная тишина стояла в комнате. Оба не могли уснуть. Лариса повернулась к нему, положила руку ему на грудь. Вскоре дыхание ее стало ровным. Харузов продолжал лежать с открытыми глазами.

Разговор с сыном хоть и не очень обнадежил его, но хотелось верить, что действительно все будет нормально. Не такой уж пропащий их Сашка, просто хочет самоутвердиться, стать личностью. Только способы выбирает самые неподходящие, детские какие-то. Как защитить его, как направить на путь истины? В догадках Ларисы тоже что-то есть. Все дачи расположены в одном месте — у моря, рядом с крутым обрывом. Из города туда ведет единственная дорога, весь поселок на виду. Видели ведь и раньше, что ребята туда ходили, видели, но молчали, сигнал поступил только вчера. О чем сигнал? Ну хорошо, заметили — не те люди на даче,— тогда зашли бы, выяснили. Впрочем, мало ли что там могло твориться. Не всякий пойдет разбираться. Это если верить Саше, ничего зазорного не было... Хотя, сыну надо верить — иначе и путей к нему не найдешь...

Харузову вдруг показалось совершенно очевидным, что все подстроено, а если так, имеет ли он право рисковать судьбой сына? Все проходяще, все конторские баталии, а сын, ответственность за его жизнь,— это до гроба. Очевидно, события будут развиваться так, как кто-то сдирижировал, так стоит ли вызывать огонь на себя? Завтра утром в кабинете Остудина сказать всего два слова: я согласен. И впереди столица, перевод в министерство. Никаких проблем и вопросов. И на этом пути вдруг вставало перед глазами хмурое лицо заместителя



министра,— встречи с ним тогда не избежать. Изучающий взгляд, бровь, изогнутая косо вверх, и вопрос: «Как же это понимать, Василий Кириллович? Заатеяли нужное дело, сложное дело, а сами сюда?» Да, сыном не оправдаться. В столице для парня соблазнов не меньше...

Его разбудил электронный будильник, осторожно игравший привычную мелодию: «Синенький скромный платочек...» Лариса не проснулась. Харузов встал, стараясь не разбудить ее. Не включая света, наощупь собрал одежду и пошел в ванную. Освежающий напор холодной воды под душем, крепкий кофе — теперь можно начать день, уйти от которого или перескочить во времени не дано. Душ и кофе хотя и приободрили его, но в теле еще ощущалась тяжесть, виски сдавливало.

Лишь на улице он почувствовал себя несколько раскованнее. От вчерашнего дождя почти не осталось следов. Весеннее солнце давно уже взошло и в прозрачном, еще незадымленном, воздухе выплывали навстречу промытые дождем стены зданий и сочно зеленели холмы, тянущиеся к порту.

В кабинете Остудина напротив хозяина уже сидел Тарновский, а рядом с ним пожилой человек в массивных очках, и еще в глубине кабинета у окна стоял довольно-таки молодой парень в форменном кителе — оба, очевидно, из министерской комиссии. Настроены все они были мирно. Харузов, приготовившийся к тому, что все сразу накинутся на него, будут жать, пока своего не добьются, сейчас вдруг понял: да они же уверены, что он, Харузов, у них в руках и никуда уже не денется.

— Не выспались, Василий Кириллович, чего такой мрачный? — спросил Тарновский, обращаясь к Харузову на «вы» и даже с некоторым сочувствием в голосе.

Всё знает, понял Харузов, и о сыне уже доложили.

— Птицы громко поют, рано разбудили,— сказал Харузов.

Тарновский улыбнулся, а молодой человек, стоявший у окна, сказал:

— Весна, красота тут у вас на море. В отпуск бы сюда, а не в бумагах копать... запутано все так...

— А мы распутаем! — бодро заявил Тарновский.

Он сидел подчеркнуто свободно, как у себя дома, вытянув ноги. Видны были красные носки, мягкие изящные туфли с пряжками.

— А сделайте-ка вы вот что,— сказал Тариовский, обращаясь к Харузову,— соберите-ка сегодня общее собрание в своем управлении и решите всем миром, нужно ли ваше управление. Нужно — так мы поддержим, отстоим перед министром, а нет — значит, приказ в дело пустим.

— Естественный выход, иного не вижу, сейчас только собрание такие дела должно решать,— поддержал Остудин.

Харузов опешил. Теперь стало понятно, почему все они так спокойны. Какой безошибочный ход! Это только Тарновский мог изобрести: созвать тех, кого намеревались сократить и предложить им дать добро на свое сокращение. Какой казуист! Тут уж, действительно, можно быть уверенным, что все пройдет как по нотам: какой же коллектив захочет сам себя ликвидировать?

Василий Кириллович был готов ко всему, но только не к такому тупику. Если бы на него нажимали, уговаривали согласиться перевестись в министерство, — может быть, он бы и сдался: ведь и такой вариант для себя не исключал — судьба сына моментально все заслоняла, но тут решили не про-

сто устранить, а его же руками, вернее им же созданным собранием все перечеркнуть. И как, кому доказать сейчас, что не работники управления должны решать этот вопрос, кому объяснить, что речь идет об общей схеме судоремонта, а не о выгоде или невыгоде совершающегося для отдельных работников!

— Такое собрание бессмысленно,— сказал он, отчетливо, по слогам, произнеся каждое слово,— на эту проблему надо смотреть с государственной точки зрения, а не глазами служащего, подлежащего сокращению.

— Так вы считаете, все смотрят не с государственной, и только вы блюдете государственную пользу? — поддел его Остудин и усмехнулся.

— Кстати, и о вас лично,— бархатно пророкотал Тарновский.— Коллективу должны стать известными ваши, мягко говоря, личные проблемы, мы не намерены никого покрывать — перестройку надо делать чистыми руками. Правда и гласность должны стать достоянием всех.

Это был завершающий удар, достойный бывшего шефа. Теперь протестовать против собрания означало пытаться прикрыть себя, защитить от огласки. Все было рассчитано у Тарновского до мелочей.

У подъезда главка Харузева ждала машина. Федя Стрюков полировал тряпкой и без того идеально блестящие стальные бока. Солнце припекало совсем по-летнему, блики его отражались стеклами множества машин, приткнувшихся на стоянке. Харузов ослабил узел галстука, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Тело его, казалось, само излучало сильное тепло. Он скинул пиджак и только тогда почувствовал некоторое облегчение.

— Я к вашему дому подскочил пораньше,— объ-

яснил Федя уже в машине, когда они ехали по проспекту от главка к управлению,— жду, жду, никого нет, потом решил сюда подкатить.

Харузов сидел опустив голову и почти не вслушивался в объяснения шофера.

— Тут вот что,— продолжал Федя.— Вчера меня заместитель Остудина вызывал, все допытывался: куда я по вашим заданиям езжу, вожу ли жену вашу и сына. Я им сказал, что и в глаза ваших домашних не видел. Тогда они с упреками на меня: мол, начальника своего прикрываешь...

— Интересовались значит,— зло произнес Харузов.

Ну и котел устроили. Наверняка не одного Федю расспросили. Вот уже до чего дошло. Ну, хорошо, пусть будет по-вашему, соберем собрание.

В управлении, как ни странно, о собрании уже знали. В кабинете Харузова сидели Карцев и парт-орг управления Михеев.

Михеев был неосвобожденным парторгом, работал экономистом в финансовом отделе. По натуре медлительный, грузный, с людьми говорить он умел, всю нецелесообразность их конторы понимал, но прямо своего мнения не высказывал, любил повторять: как народ скажет. Вот и сейчас — идею собрания он одобрил, но когда Харузов предложил: первым вопросом должно обсуждаться его, Харузова, персональное дело, Михеев удивился и бурно запротестовал. Пришлось объяснять все по порядку.

— Ерунда,— категорически заявил Михеев.

— И не думай,— поддержал его Карцев.— Зачем людей с толку сбивать. Если в чем и виноват — можно разобраться на бюро. Сейчас иное важно, а ты своей дурацкой принципиальностью все испортишь! Все это твои личные мелочи.

— Для меня не мелочи,— возразил Харузов.—

К тому же на этом будут настаивать и Остудин, и Тарновский.

— Почему только тебя обсуждать! — возмутился Карцев.— Я первый тогда выступлю и расскажу о Симончуке, и о Тарновском все выложу. У меня есть что сказать!

— Давайте так,— пытался примирить их Михеев. — Предложим решить это собранию. Захочет народ — будем обсуждать. Как народ скажет.

— Народ! Народ! — Карцев вскочил из-за стола, повысил голос.— Твой народ — это управленческий аппарат! Я не хочу сказать, что все здесь бюрократы, что все будут держаться за свои столы, но ведь их большинство! Начальника, решившего их сократить, они конечно осудят, а дальше? Я министру сейчас буду звонить, я ему расскажу, что здесь заваривается!

— Подожди, не горячись,— остановил его Михеев и тяжело вздохнул.— Подожди, послушай меня: народ разный есть. Я ведь, чего скрывать, когда Василий Кириллович затеял убрать контору, как ненужную, тоже возмущался, а потом с людьми поговорил, вник, на заводах побывал и скажу: рабочие, инженеры в один голос за перестройку. Что же, ты считаешь — все вокруг только о себе думают? В этом, Карцев, твоя ошибка. Ты с народом мало советуешься!

Они еще некоторое время препирались, пока Михеев не махнул рукой, сказав Карцеву, что никогда не мог понять капитанов, которым море чересчур много власти дает и этим портит. Высказав это свое резюме, Михеев ушел. Собрание — его забота: надо всех оповестить, подготовить конференц-зал, поговорить с членами партбюро, в отделах с людьми побеседовать...

Почему-то сейчас, когда окончательно решили,

что собрание должно состояться, Харузов заколебался: неужели Карцев прав — дело все-таки будет погублено? Если проиграть ситуацию, то что сомневаться: первый вопрос все заслонит, а отказаться от него уже невозможно: надо уметь ответ держать, не только спрашивать с других. Да, нелегко будет доказать в такой атмосфере, что прав, что требуешь ликвидации управления не по своей прихоти, что па заводах тысячи людей ждут этой перестройки.

— Как ты считаешь,— спросил он неожиданно Карцева,— вправе мы здесь все решать без представителей заводов?

Карцев посмотрел на Харузова, улыбнулся. Это был выход.

— Конечно, надо пригласить директоров заводов, главных инженеров, всех специалистов — пусть скажут свое слово. Ты же с них ярмо хочешь снять! И Михеев нас поддержит. Это чем не народ — заводские. Это же и есть народ! Только ты со своими грехами и покаяниями, умоляю, не лезь!

— Хватит,— сказал Харузов.— Ты за меня не переживай. Иди, действуй. Только министра не дергай, у него и без нас дел достаточно...

— Что значит — не дергай,— сказал Карцев,— Фаворный все время туда звонит, всех настраивает, а мы молчим. Нас по одной щеке, а мы другую подставляй,— так, что ли?

После ухода Карцева позвонила Лариса. Он совершенно не ожидал ее звонка, мелькнула мысль — что-нибудь опять с сыном.

— Что произошло? Говори, я слушаю,— крикнул он в трубку.

— Все нормально, не беспокойся, я хотела сказать тебе...

— Говори же!

— Я ходила в милицию, там разобрались, циче-

го страшного. Они не будут сообщать в институт... А как у тебя? Ты согласился?

— Нет.

Она замолчала, Харузов ждал: сейчас начнутся упреки.

— Послушай,— сказала Лариса после некоторого молчания,— мне ничего не надо, ты не думай, ничего... Лишь бы все было нормально с тобой...

— Будет,— пообещал Василий Кириллович.

Она положила трубку, а он в каком-то оцепенении слушал длинные гудки. Что ж, хоть с сыном все относительно благополучно. Лариса приободрилась, наверное, думает, что именно ее поход в милицию все решил, а здесь явно что-то другое. Может, Тарновский ослабил напор? Лежачего не бьют, а он уверен в финале задуманного спектакля. Но как бы там ни было, сын — это самое большое место. И конечно, счастье, если Лариса поняла, почувствовала обстановку, если это не просто слова... тогда все становится много легче!..

Харузов попросил Эмму соединить его с директорами заводов: надо еще раз перед собранием поговорить с каждым из них. Он был уверен, что все они поддержат его, но все же необходимо уточнить позиции каждого.

Перед самым обедом позвонил Остудин. Сначала говорил о каких-то цифрах, которых плановики ему не дали, а потом совершенно неожиданно сообщил:

— Собрание отменяется, Василий Кириллович. Мы тут посоветовались — ни к чему оно, в демагогию все превратится. Действовать тут надо, а не разводить турусы на колесах!

— То есть как — отменяется? — поразился он.

— Ну, ты совсем неуправляемый! — загудел басом Остудин.— Тебе же как лучше приказывают, а ты опять лезешь в бутылку.

— Я вам что, марионетка? — закричал Харузов в трубку.

— Хватит, надоело — тебе приказывают — выполняй! — сказал в ответ Остудин.— Это не только мое решение! Кстати, приказа по линии не вижу! Опять воляничь? Здесь-то тебе не выкрутиться!

— Будет приказ,— ответил Харузов, слушая в трубке тяжелое дыхание Остудила.

Он мучительно пытался сообразить, чем вызван столь крутой поворот событий. Почему они меняют план? Ведь это же так удобно, сослаться на коллектив, смести неугодного начальника управления, проголосовать за сохранение прежних порядков, и все это руками коллектива. Тарновский и Остудин здесь ни при чем! И теперь отбой? Как же все объяснить людям? Кое-кто решит, что испугался за себя, пошел на попятный...

— Ты понял меня? — продолжал Остудин.— С огнем играешь!

— Собрание я не отменяю,— твердо сказал Харузов. — И вас с Тарновским жду ровно в семнадцать.

И положил трубку. Виски ломило. Он встряхнул головой, попытался расслабиться. Как же все это понимать? Мучительно сводились концы с концами. Это ведь не потому приказано отменить собрание, чтобы нервы его, Харузова, побереечь. Мы посоветовались — так сказал Остудин. С кем? Может, с министерством? Что-то у них произошло... Кажется, так... Тогда надо отменить собрание и все дела. Прийти пораньше домой и спокойно, не дергаясь, ждать исхода событий — это самый лучший вариант. Нет, что-то здесь не то. Скорее всего, отмена собрания — новая ловушка. Ведь приказ о ликвидации управления подписан в министерстве, он же в портфеле у Тарновского, и все эти его «карт-бланш»



только попытки затянуть дело. Теперь — чем вызван новый ход? Во-первых, они наверняка уверены, что он, Харузов, уже не станет отменять собрания. Сегодня же они пошлют министерский приказ по почте, а пока он идет — уже будет решение собрания. И Тарновский, и Остудин убеждены, что люди на собрании обязательно придут к нужному для них решению. С коллективом надо считаться. Сами они при этом останутся за кулисами, на собрание не придут. Вот и запутали все. Решение собрания будет отослано в министерство, и там тоже могут пойти на попятную... Отменить собрание сейчас? Но он уже не имеет права снимать с обсуждения вопрос о себе! Все барьеры преодолимы, Карцев прав, но есть еще один барьер — внутренний! И никто не имеет права уходить от суда над собой...

Загорелась лампочка вызова на селекторе — плановый отдел, зазвенел тонкий, срывающийся голос Фаворного:

— Василий Кириллович, у меня готовы все обоснования, я получил от Тарновского таблицу коэффициентов трудового участия. Мы с вами сможем оживить работу аппарата, я сейчас представлю вам расчеты...

— Не стоит, — остановил он Фаворного.

— Почему? Ведь собрание отменяется, и вообще все отменяется, надо думать, как работать дальше!

«Опять он все знает», — подумал Харузов. — Очевидно, прямая связь с Остудиным».

Он включил на селекторе вызов на связь всех своих заместителей и начальников отделов. Когда каждый из них подтвердил, что слушает его, сказал в микрофон отчетливо, выделяя каждое слово:

— Прошу всех прибыть в конференц-зал. Повестка дня вам объявлена. Ни о какой отмене собрания не может быть и речи...

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

Расстояние между судами все увеличивалось. Последний швартовный конец шумно плюхнулся в воду. Стоял абсолютный штиль, и чайки, сидевшие на зеркальной поверхности воды, казались вылепленными из воска. Плавбаза «Красный Кронштадт» начала подрабатывать винтом и разворачиваться на правый борт, на транспортном рефрижераторе «Колпино» вахтенный врубил тифон, нарушив тишину утра протяжными гудками. Суда расставались в океане. Транспорт, перегрузив в свои трюмы рыбу с плавбазы, снимался с промысла.

Туман, стоявший всю ночь, рассеивался, и над водой стелилась легкая белая дымка. Все вокруг было залито ярким светом. Люди, стоящие на палубах, были отчетливо видны на фоне ослепительно белых судовых надстроек.

На «Колпино» уходила в порт буфетчица плавбазы Катя Астахова. Она стояла одна на палубе носовой надстройки и пристально смотрела на отходившую плавбазу. Человек, которого без труда отыскала взглядом, не поворачивался в ее сторону и ни разу даже не взмахнул рукой на прощанье. Он стоял на мостике, окруженный своими помощниками, возвышаясь надо всеми. Недаром за рост его еще в мореходке прозвали «Фитилем», вот и прилепи-

лось к нему с тех нор это прозвище. Конечно, в глаза называть его так никто не решался. Начальник промысла, он, Вагин, был облечен здесь почти безграничной властью, но и эта власть была бессильна перед злыми языками, а начальник промысла должен быть во всем безупречен...

Катя заметила, как Вагин отделился, отошел от своих помощников, спустился на шлюпочную палубу и здесь, скрытый от посторонних взглядов корпусом разъездного катера, поднял руки над головой. Этот жест был предназначен ей, и что-то дрогнуло, обвалилось внутри... Она замахала рукой: ей некого было стесняться, ее никто не знал на «Колпино». И кому какое дело, с кем она прощается. Может, просто со своей базой. Четыре месяца она работала там: изо дня в день ранние подъемы, камбуз, салон, столовая, подвахты и авралы, затаренные, остро пахнущие пряностями бочки, и рыба, рыба непрерывным потоком, не дающая рукам ни минуты отдыха... Соленые шутки матросов-обработчиков в рыбфабрике. Молодые здоровые мужики. Мужчины без женщин. После каждого рейса она решала твердо — пора списываться на берег. Да, теперь тем более, пора — уже за тридцать. Женщина должна сидеть дома, это удел мужчин — странствовать по морям, что-то искать всю жизнь. Это в их природе — непостоянство...

Но на берегу она чувствовала себя чужой, неприкаянной. Близких подруг не было, а те же мужчины, которые на судне подолгу смотрели вслед, здесь старались ее не замечать: при встречах лишь сухо кивали, а если шли с женами, то вообще делали вид, что не узнают. За какой жар-птицей носило ее по морям? Заработок — ну что ж, это, конечно, тоже нужно, но теперь: кооперативная квартира, ковры, японская аппаратура — все есть, а как

же тоскливо среди всего этого сидеть и ждать неизвестно чего, и смотреть, как меняются светящиеся цифры на электронных часах! И если бы не Вагин, не их любовь, разве прошли бы эти годы в морях...

Морская жизнь. Как давно она началась... Тогда, в самом ее истоке, еще ничего не понимала — принимала каждое слово на веру, проще все было, и чувства были ярче, светлее. Пятнадцать лет назад. Целая жизнь вместились в эти пятнадцать лет — три океана и морей без счета. Застенчивый штурман превратился в грозного начальника промысла. А она осталась судовой буфетчицей. Надо было родить раньше, сразу. Испугалась, что скажут люди, одна, с ребенком, как вырастить его без отца?! А Вагин ведь тогда остался бы с ней — стоило захотеть... Он ведь не на виду еще был, не как сейчас, да и с женой своей хотел разойтись, ничего их, вроде, и не связывало: случайно, как бывает в молодости, расписался сразу после окончания мореходки, потом, видно, раскусил что к чему... Вот тогда-то и надо было не таиться, не скрытничать, пойти к его жене и открыть все. Не решилась — и ушли, убежали, растаяли, как след за кормой, те годы, и вроде бы к ним не должно было быть возврата.

Но жизнь идет по спирали, как говорит Вагин, и вот все повторяется, словно бобину с пленкой перекрутили и запустили фильм сначала, — так обычно делают киномеханики в судовом салоне, когда наступает тоска от безрыбья, в тягучие дни проловов. И опять новый виток. Опять Вагин, только она уже не та восторженная девочка, только теперь не промысловый траулер и поцелуй украдкой на палубе верхнего мостика, теперь — плавбаза и каюта-люкс, куда никто не может прийти без приглашения. Но кому нужны эти апартаменты, если не вернуть уже того Вагина — молодого нескладного штурмана и их

первый совместный рейс к берегам Сьерра-Леоне... Ведь тогда она, хоть и была моложе Вагина, уже не раз прошла Атлантику и опекала его, оберегала... Уже тогда видела — какой напор в нем, какое честолюбие, и сама разжигала это честолюбие. Зачем? Нужно ли было это? Ему, может быть, да, а ей? И вот теперь оп такой, каким хотела видеть его когда-то, — и в то же время совсем другой...

...База медленно ложилась на курс, уменьшалась в размерах, и Катя уже не могла различить лица Вагина, его продолговатых глаз под сросшимися бровями, его высокого лба, вьющейся, жесткой шевелюры... Транспорт вновь загудел, прощаясь с промыслом, загудел хрипло, отрывисто. База ответила протяжным, сдавленным гудком.

Солнце заметно приближалось к воде,— заканчивался промысловый день. На горизонте сейнера, взявшие уловы и лежащие в дрейфе с кошельками, полными рыбы, мигали прожекторами. Они ждали базу, манили ее к себе, чтобы сдать рыбу, и база, освобожденная от груза, разворачивалась к ним. С транспорта было видно, как бурлит вода за ее кормой, как изгибается на ровной глади вечернего океана ее след — белая с голубоватыми переливами пенная полоса. База медленно разворачивалась, и рубку ее заслонили грузовые стрелы и бочки, сложенные на палубе. Различать людей на ее борту было уже невозможно.

— Ну что ж, Вагин, прощай,— тихо сказала Катя, и к горлу подступила тошнота, как будто и не в полный штиль расходились суда, а швыряло транспорт на крутой волне.

Старшим помощником на «Колпино» был совсем молодой моряк с холеными бакенбардами и большими, почти немигающими глазами. Он провел Катю вниз, открыл предназначенную ей каюту и пожелал

спокойной ночи. Каюта была просторной, четырехместной, но, видимо, пустовала с начала рейса, и хотя все было прибрано, чисто кругом, — ощущался нежилой, какой-то больничный запах. Мерцали, отражая электрический свет, переборки, покрытые зеленым линолеумом, вдоль переборок стояли широкие, совсем не морские койки, свежие хрустящие простыни были аккуратно сложены в изголовьях; подушки она обнаружила в рундуке и одну из коек аккуратно застелила. Сразу же стало в каюте привычной — появился какой ни есть, но свой угол.

Катя решила не ходить на ужин. Ей не хотелось никого видеть, ни с кем не хотелось разговаривать. Ход у транспорта бойкий, узлов двадцать. Каких-нибудь восемь суток — и уже на берегу. Кому какое дело до нее; в порт идет пассажиркой, с судовыми работами не связана, почему возвращается — мало ли какая может быть причина...

Ночью Катя проснулась от того, что почувствовала — транспорт остановился: не ощущалось вибрации от работы дизелей, и было непривычно тихо. Она с трудом отвернула барашки задраек иллюминатора, и теплый тропический воздух наполнил каюту запахом рыбы. За бортом была такая плотная, почти осязаемая тьма, что казалось, мир заканчивался за круглым овалом, что там вовсе нет того широкого простора, который днем был залит слепящим солнцем и казался необъятным. Был просто провал, черная дыра — даже ни одной звездочки. Она догадалась, что каюта расположена на самой нижней палубе — неба и не должно быть видно, только вода — и она, эта ночная вода, выдавала себя легкими всплесками, журчанием у борта. Катя осторожно протянула руки к иллюминатору, словно опасаясь наткнуться на твердую неизвестную тьму, и, придвинувшись вплотную, выглянула наружу.

Вдали, в темноте, проступали слабые, вздрагивающие огоньки сейнеров: значит, «Колпино» еще не ушло из района промысла, значит, еще не все... Можно подняться в рубку, попросить радиста вызвать начальника промысла. Вот удивится Вагин, услышав ее голос в эфире!.. и все вахтенные на судах вольно или невольно станут свидетелями их разговора. Но будет ли он, этот разговор? Никто, конечно, не решится ради нее поднимать, беспокоить начальника промысла. Спросят: по какому вопросу? А она что ответит? Мол, решила вернуться и нужно его разрешение... Почему же его? Разрешить возврат буфетчице может и старпом, сейчас ведь его вахта...

Но как раз с ним-то, со старпомом, ей говорить не о чем. С самого начала рейса терпеть не могли друг друга. Старпом считал себя неотразимым. Может, кому-то и нравился, но только не ей: уж больно улыбка слащавая... Мужчина должен всегда оставаться мужчиной, а не превращаться в лакея. Когда заметил, что она иногда возвращается от Вагина ночью в кормовую надстройку, стал угодливо заискивать, понимающе посматривать. И не выдержал — отомстил на прощанье. В самый последний момент, когда она шла к сетке на пересадку. Вагин не спустился вниз проводить, помочь донести вещи... Сослался на то, что у него срочный промысловый совет, хотя никакого совета в этот час не было, не хотел, понятно, чтобы видели их вместе. Она несла чемодан, и сопровождавший ее старпом даже не предложил помочь. А когда засунула чемодан в сетку и ухватилась за вздрагивающие троса, процедил презрительно: «Фэтон подан, отгуляли, мадам. Долго таких никто при себе не держит!»

...Проснулась Катя рано. Она привыкла к тому, что в море буфетчица должна подниматься раньше других. Сегодня впервые никаких судовых забот и

обязанностей у нее не было. Место за столом ей определили в салоне комсостава — таков уж порядок в море: если ты пассажир, — независимо от ранга, завтракаешь, обедаешь и ужинаешь вместе с судовыми командирами, на правах гостя.

Буфетчицей на «Колпино» была симпатичная совсем юная девочка, похожая на стрекозу. Действительно — глаза выпуклые, черные, высокий узорчатый кокошник короной украшает смолистые волосы, а главное — движения легкие, быстрые. Буфетчицу звали Милой. Кате она сразу понравилась. Было только непривычно и неудобно сидеть без дела, смотреть, как Мила работает, как подносит ей, Кате, еду наравне со всеми. Катя опять вспомнила тот рейс, когда впервые она встретила Вагина. Тоже ведь была в те времена такой же подвижной и легкой, как Мила. И каким желанным и прекрасным все было: и море, и первая любовь, любовь — для нее на всю жизнь, а для Вагина? Ведь как было потом: по году не виделись! Так получалось — на разных судах в разные районы, и, как проблески счастья — встречи в океане, совпадение рейсов. Искал ли он этих встреч?

Рядом с Катей за столиком сидели радисты. Один из них, молодой, но слишком уж располневший, ел быстро, как будто кто-то торопил его, ел и успевал говорить, двое других молчали и лишь изредка с любопытством поглядывали на нее.

— Вот так нас, дурачков, нажгли, — возмущался толстяк, — на черта нам этот мизер пресервов! Так нет, стоп, машина, и догружайся! Теперь жди эту «Яшму», будь она неладна!

— Двое суток, как пить дать, теряем, — поддержал его другой радист.

Катя прислушалась к их разговору. О задержке на промысле говорили и за другими столиками.



Потом и на палубе она слышала, как недовольно чертыхались матросы, настроенные на скорую встречу с берегом. Ей было все равно,— днем раньше, днем позже. Это Вагин торопил, все подсчитывал дни, понял, что она уже не та влюбленная девочка, которая во всем с ним соглашалась. Дома Катю никто не ждал, и там, на берегу, сразу пришлось бы все решить окончательно. Четвертый месяц, времени в запасе уже нет... Думать о том, что произойдет, ей не хотелось. Пусть все идет как идет. Хорошо бы «Колпино» оставили па промысле еще хоть ненадолго, тогда и решать ничего не надо.

Она смотрела с высокого борта транспорта на утреннюю зеркальную поверхность океана, на силуэты промысловых судов, тающие вдаль, за линией горизонта. Среди сейнеров медленно передвигалась база, собиравшая утренние уловы. Все это было ей знакомо — и то, как база осторожно подходит к сейнеру, прикрывая его подветренным бортом, и как на сейнере начинают стягивать, а по морскому — подсушивать — невод, а в этом неводе стиснутая сетями бурлит и бьется рыба. На сейнерах всегда с нетерпением ждут подхода базы: быстрее сдашь улов — быстрее пойдешь в новый замет, а во время стоянки матросы обычно ищут предлог для того, чтобы попасть па борт базы.

У нее никогда не завязывались знакомства с матросами кошельковых судов: во-первых, за ее спиной, как тень, всегда был Вагин, даже если в это время он занимался промыслом совсем в другом океане, во-вторых, это не для нее — случайные суетливые встречи... Сейнер сдавал рыбу обычно часа четыре, потом отходил от базы и торопливо бежал искать новые косяки, а женщина оставалась на базе, где все знали о ее встрече и нередко зло подшучивали над ее увлечением. Наверное, и на «Колпи-

но» тоже нашлись бы остряки, узнай они истинную причину ее возвращения в порт.

Катя напряженно вглядывалась в силуэт базы, подошедшей к сейнерам, старалась угадать, ее ли это «Красный Кронштадт» или это другая однотипная база. Как там сейчас Вагин? Успокоился, наверное. Доволен, что вышло так, как он захотел, что добился своего и сейчас занят, как всегда, суматошными делами промысла: уговаривает «Колпино» принять дополнительные пресервы, ругается с промысловиками, норовящими сдать улов без очереди, распределяет топливо с очередного танкера... Он всегда делился с ней своими заботами, и она уже не мыслила его без этих забот, понимала, как необходимо ему перед кем-то исповедываться. Он вслух взвешивал свои действия, решения... Она всегда принимала его сторону, — так, по крайней мере, наверное, казалось ему. Катя действительно боялась ссор — они виделись не так уж часто, и было глупо омрачать встречи размолвками, но когда он бывал слишком крут, несправедлив, — она старалась исподволь, осторожно повлиять на его решение, смягчить его, успокоить.

Помнится, лет пять назад, в Северном море, он принимал на борту своей плавбазы высокое начальство. Дела на промысле складывались не ахти как, и вот сам Тубенко, начальник управления, решил навести порядок. По характеру еще более горячий, чем Вагин, он стал резко вмешиваться в работу капитанов, принимал решения ни с кем не советуясь, — промысел будоражило. И вот этот Тубенко прибыл на их плавбазу. С необычайной легкостью, несмотря на тучность и возраст, вскарабкался по раскачивающемуся трапу и сразу же, едва ступив на палубу, накинулся на Вагина. При людях Вагин смолчал, а потом у себя в каюте высказал своему шефу все, что

о нем думал, напрямую. В общем, нашла коса на камень.

«Завтра же подаю рапорт, пусть этот чиновник сам встает на ходовой мостик, пусть загонит и базу, и весь флот в полный прогар! — кипятился Вагин.— Он ходил в море, когда сети вручную трясли, когда СРТ считались крупными судами! Представляешь, дал команду, переходить к вестовым банкам... Да он угробит там флот в первый же шторм! Это раньше там ловили — тогда какая у судов была осадка: два-три метра! А сейчас уже все, финиш! Сейчас на глубинах надо работать!» «Ты прав,— успокаивала она его. — Ну, хорошо, подашь рапорт, спишешься, флот будет, как ты говоришь, в прогаре. Кто от этого выиграет? Промысловики-то все знают тебя... Подожди два-три дня, вот увидишь, Тубенко долго не пробудет здесь, он не глупый человек, просто у него свои амбиции»,— настаивала она.

Вышло в конце концов так, как она и предполагала. Тубенко покинул борт плавбазы, смолк его голос в эфире, флот заработал спокойно, без нерво-трепки; и план взяли, и все было в порядке. Недаром Вагина считали удачливым капитаном.

Были случаи и похлеще, чем с Тубенко — море есть море... И пожары вспыхивали, и на мель выскакивали — все было, и всегда она была рядом с ним, с Вагиным, и старалась сделать так, чтобы он верил в свои силы, в свою удачливость. И потому любил он повторять: «Ты для меня, Катюша, как талисман».

И о чем только не переговарили они в долгие рейсы, каждый из которых по-своему запомнился ей. Раньше, в первые рейсы, для таких разговоров им не хватало времени. Редко выпадало остаться наедине. Каждой встречи она, тогда еще совсем девчонка, ждала с замиранием сердца, но с самого на-

чала их отношений все время надо было таиться, чтобы не вызвать разговоров на судне. Теперь, в этом рейсе, у Вагина была отдельная каюта-люкс, кабинет, спальня с такой широкой кроватью, что и на берегу не в каждой семье бывает, к тому же ванна, — о чем еще мечтать?! И никто не мог зайти, не предупредив заранее; правда, часто звонили по телефону. Звонок был резкий, похожий на сигналы аврала. Поначалу он очень пугал ее, хотелось быстро вскочить, сжаться в комок, стать невидимкой. В принципе, ей нечего было бояться, просто, видимо, передавалось настроение Вагина, его нервозность. Власть не раскрепостила его, напротив, он стал еще более осторожным, и это теперь очень раздражало Катю. Уже не екало сердце, не томило сладкое предчувствие в день свидания, что-то отошло в прошлое, что-то стало привычным... Может быть, если бы они были вместе на берегу, все было бы по-другому, но Вагин всякий раз, когда об этом заходила речь, объяснял, что сейчас не время: то жена болела, то теперь сына надо поставить на ноги, мол, вот окончит институт, тогда...

Все он объяснял убедительно, но только теперь, в этом рейсе, Катя как совершенно очевидное осознала, что нужна Вагину только в море. Встреч на берегу он избегал, а если они и были, то, она убедилась в этом, немного значили для него. Вся их настоящая жизнь проходила здесь, в Атлантике. И получалось, что только в море Катя и чувствовала себя человеком, необходимым в общем течении событий... Она всегда четко выполняла свою работу, была обходительна, терпелива, старалась не поддаваться сиюминутным настроениям, старалась быть ровной со всеми. Мужчины, как дети, требовали постоянного ухода; на малых судах-ловцах, где обычно не было женщин, царили хаос и запу-

стение, на базах же и транспортах присутствие женщин заставляло всех ежедневно бриться, гладить рубашки, застилать койки в каютах. По заведенной традиции она, буфетчица верхнего салона, убирала каюты комсостава, следила за чистотой и при помощи старпомов добивалась наведения идеального порядка.

Такая уж была ее планида — ухаживать за другими. Родителей она лишилась рано: отца не помнила совсем, а мать умерла, когда Кате было пять лет. Сироту приютила сестра матери, крикливая, но добрая тетка Зина, у которой своих детей было полно. И оказалось, что лучшей няньки, чем Катя, не сыскать. Давно уже нет тетки Зины, разъехались кто куда ее дети, обзавелись своими семьями. Иногда лишь дают о себе знать праздничной открыткой, которую получает Катя вовсе не к празднику, а возвратившись из очередного рейса, и тогда вдруг нахлынут воспоминания о детстве... Хочется поехать, увидеться, а когда происходит желанная встреча, становится ясно, что стали они, ее двоюродные братья и сестры, совсем чужими людьми, и что ближе к душе даже матросы, с которыми ходила в очередной рейс. Слушает родня в степном Павлодаре рассказы про океан, про иностранные порты, рассматривают женщины подарки, а между собой конечно осуждают ее. Единственным дорогим для нее человеком, ради которого она приезжала в далекий город, был племянник Даня. С ним она любила играть, когда тот был еще совсем малышом; часами читала ему сказки, а потом, когда Даня пошел в первый класс, рассказывала всякие морские истории, которые он слушал, затаив дыхание. И вот сейчас Даня в пятом классе, и не только внимает ее рассказам, но и сам делится заботами — школа, друзья, волейбол. Ей все интересно, и Даня это чув-

ствуует ведь! Даня, Даня, добрая душа!.. Говорит как-то: «Переезжай к нам, ты, наверно, устала от своей работы,— будешь жить в моей комнате, места хватит». Как ей приятна его забота, если бы он знал! Значит, не из-за подарков прикипел к ней пацан, — каждый раз ведь привозит ему из далеких рейсов то кубик-рубик, то компьютер миниатюрный, то магнитофон. Видно ведь, как горят глаза у мальчишки, а вот, выходит, не нужны ему в будущем никакие дары...

Мать у Дани вечно занята: работает на мукомолке, устает, на сына кричит. Как-то остановила ее, пытаясь защитить Даню, та вспыхнула: «Своих воспитывай! Небось слаже в морях с мужиками болтаешь, чем обузу на себя взваливать!»

Попробовала бы сама эту сладость! Разве объяснишь им, как трудно привыкнуть к изматывающей качке, к бездомью, к едкому запаху аммиака в рыбцехе, а главное, к тому, что вокруг тебя сплошь большая вода — без конца и без края... Если бы не Вагин! Давно бы все бросила, давно бы приблизилась к своему берегу...

...К полудню на «Колпино» просто некуда было деться от жары. Что-то разладилось в системе кондиционирования, и в поисках прохлады люди потянулись на верхние палубы. Солнце повисло над головой раскаленным сгустком, палубный настил жег ноги. От глянцевого пространства воды солнечные лучи отражались как от зеркала, и океан, который, казалось, должен был нести прохладу, сам превратился в источник тепла.

На юте был бассейн. Катя слышала, как плещутся там свободные от вахт матросы, как звонко они перекликаются. Зажмурь глаза, и представится лесное родниковое озеро и барахтающиеся у берега дети тети Зины...

Катя подошла ближе к бассейну. Вода в нем была маняще прозрачной, и сквозь ее голубизну отчетливо было видно дно, выложенное кафелем. Захотелось сбросить липнувший к телу сарафан, окунуться, плавать и смеяться вместе со всеми, но мысль, что могут заметить, понять по ее полнеющей фигуре причипу этой полноты, эта мысль остановила ее. Она подумала, что в душевой вода много холоднее и решила спуститься туда.

Катя не ошиблась. Колкий живительный поток пролады хлынул на разгоряченное тело. Она откинула голову, чтобы по мочить волосы, подняла руки. И вдруг стало удивительно спокойно, как будто водяные струи уносили куда-то с собой все ее огорчения и сомнения. «Холодная вода, прямо как из родника,— подумала она.— Удивительно, как это она, пробежав по системе, не нагрелась. После такого душа хорошо будет забраться в постель и забыться, не думать ни о чем. Каких-нибудь два-три дня на перегрузку с «Яшмы», потом самый полный ход, неделя и берег... Может быть, это наконец-то последние десять суток морских странствий!»

Но уснуть ей не удалось,— кто-то тихо постучал в дверь. Катя накинула халат и открыла. В каюту осторожно вошла Мила. Она была в очень короткой юбке, открывающей тонкие стройные ноги, и в цветастой кофточке с оборками. Совсем юное создание, девочка-школьница, да и только.

— Ах, боже мой! — воскликнула Мила еще с порога.— Я смотрю — нигде вас нет, поначалу даже испугалась, всех спрашиваю — никто не знает! Да и я толком ничего не знаю!

— Садись, буду рада познакомиться,— сказала Катя.

Мила не заставила себя упрашивать: непринужденно уселась на койку, поджав одну ногу под себя,

и начала говорить... Катя слушала, кивала, изредка поддакивала. Раньше она вот так же, как Мила, была готова открыть душу первому встречному, обожала своих кратковременных подруг на судах, готова была все для них сделать, пока несколько раз не обожглась. Разные бывают женщины в море, что греха таить: кто за легкой наживой в путь пускается, кто личную жизнь устраивает — да мало ли какие причины в моря манят! Ей вот в одном рейсе и «повезло»: попалась напарница с виду, вроде, душа-деваха — и простая, и случайных связей сторонится, хотя многие к ней клинья подбивали. А она хоть бы что, усмехается только: «Я уже десять лет в моря хожу, у меня на мужиков аллергия!» И Катя раскрылась перед ней, разоткровенничалась — так захотелось поделиться с кем-нибудь своей болью... После этого житья не стало. Как будто подменили напарницу — пошли намеки, подковырки, даже угрозы. Надо же, всего-то и нужно было этой соплательнице — ее, Катю, запугать, чтобы молчала, потому что обнаружила и у нее тайна: приспособилась на камбузе брагу варить да матросам заграничные шмотки сбывать. Не выдержала тогда Катя, про совесть ей напомнила. «Кто бы мне указывал!» — рассмеялась в ответ напарница. И вот впервые пошла Катя на открытую схватку... Что тогда началось! Война настоящая. Пришлось все-таки рассказать Вагину, надо было. Он, конечно, сразу все на свои места поставил: напарницу эту списал, отправил в порт. Мало этого, вслед за ней послал рапорт и требование: передать дело в суд. «Я в парток пойду, все узнают, чем вы здесь занимаетесь», — угрожала напарница, уже когда у сетки с вещами стояла. «Не бойся, — сказал тогда Вагин Кате, — пусть идет куда хочет, в рыбацком флоте ей делать нечего!..»



Вот так она, Катя, в первый раз получила урок от жизни! Вспоминала сейчас все это, слушая Милу, которой все в новинку, все кажется прелестным и чудным — и океан: ах какая ширь, с ума можно сойти, и матросы на «Колпино» — ну просто один к одному парни, и особенно старпом — это только по большому секрету: влюблен в нее начисто, настаивает даже, чтобы расписались после рейса и жили вместе и на берегу.

— А там, на берегу, его никто не ждет? — спросила Катя.

Мила будто споткнулась на бегу, покраснела:

— Там не в счет! Он ведь не знал, что встретит меня, он уже и радиogramму ей дал, что между ними все кончено...

«Странно, как все повторяется, — подумала Катя. — Вон ведь сколько матросов — молодых, неженатых, так нет, почему-то именно старпом...»

— Идемте ко мне, — предложила Мила, — кофе поьем, посмотрите, как живем: я с кастеляншей в одной каюте. Она добрая такая, только старенькая, — лет сорок, наверно... Ходит в море очень давно, а все привыкнуть к качке не может. А я вот сразу поняла, как надо переносить болтанку: я в шторм ем много и пою. Все песни, что помню, перепою! Меня морская болезнь и не берет.

— Ты молодец! — похвалила Катя. — А я сначала никак не могла приспособиться. На траулерах ходила, а те как с волны опустит — все внутри обрывается. А посуда!.. летит со стола, как живая, хоть и скатерть заранее намочишь, и штормовки по краям стола поставишь. Тарелок за рейс разобьет — пропасть, попробуй на берегу списать...

— Мепя звали на траулера, а я испугалась: говорят, там так бывает, что женщина одна на судне! А с Вагиным вы тоже на траулере встретились?

Мила почувствовала, что спросила что-то не то, и заторопилась:

— Идемте же, да не слушайте вы меня! И только не обижайтесь, пожалуйста!

Катю словно водой окатили. «Вот такие секреты на промысле, а он надеется, что никто не знает!»

На палубе их ослепило яркое солнце, на небе по-прежнему не было ни одного облачка. «Колпино» лежало в дрейфе. У носовой тамбучины они заметили группу судовых командиров, смотревших на воду. Матросы, игравшие в волейбол на кормовой надстройке, прекратили матч, столпились у лееров и тоже вглядывались в океанский простор. Вдали, по зеркальной поверхности прыгал, как водяная блоха, юркий катер. Он ходко бежал к «Колпино», на глазах превращаясь из едва различимой точки в нечто рельефное. Вот уже стали видны люди на его борту, и Катя смогла прочесть надпись: «Красный Кронштадт». Значит, вестник оттуда, с ее плавбазы.

— Идем же, ничего интересного! — протянула Мила.— Опять продукты станут выпрашивать, знаю я их!

Но Катя как будто прилипла к палубе, что-то захолонуло внутри. Вдруг Вагин опомнился, понял все...

С борта «Колпино» спустили трап. Старпом подергал его, проверил — прочно ли закреплен, что-то сказал пожилому матросу, по-видимому, боцману. Похожий на тюленя капитан «Колпино», не вынимая изо рта коричневой трубки, подошел вплотную к фальшборту.

Катер притирался к борту; на вираже взметнул веер брызг и замер точно в том месте, где был опущен трап. Катя шагнула к леерам и сразу увидела Вагина. Видимо, до этого он стоял за рубкой катера, а теперь перебрался в нос, готовясь ухватиться за

трап. Катя видела, как ловко он поймал канат, подтянулся, точно встал ногой на перекладину, а через мгновение уже оказался над планширем. К нему потянулись руки — помочь, но он опередил всех и легко прыгнул на палубу.

Катя замерла. Взгляды их встретились, и она поняла, что он заметил ее, и даже не сейчас, а еще раньше — с борта катера.

— Катя, Катя, я зову, зову тебя, а ты? — Мила дергала ее за рукав.

Милу отвлек старпом, позвал к себе, что-то долго объяснял, а Вагин улыбался и здоровался с судовыми командирами. Мила кивнула головой: мол, все ясно, отошла от старпома и сказала:

— Катя, дорогая, помогите мне стол накрыть, это же сам Вагин!

Стол сервировали в просторной капитанской каюте. Неведомо откуда появились ярко-желтые апельсины, на камбузе срочно отваривали креветок, технолог принес рулетку из скумбрии, но главным украшением стола стала красная икра. В последний момент хватились, — нет салфеток. Мила побежала к себе в каюту, за ней неотвязно, как тень, последовал старпом: он отвечал за подготовку стола, и это давало ему повод быть все время рядом с Милой.

Катя смотрела на них, и казалось ей, что видит она самую себя, ту, очень давнюю, вышедшую в первый рейс... Старпом обращался к Миле хотя и официально — Томила Вячеславовна, так оказывается ее звали, — но в голосе его совсем не было начальственных старпомовских ноток, напротив, слова произносились тихо, почти нежно, и каждое наполнялось особым смыслом и значением. «А ведь он в нее влюблен по-настоящему, — подумала вдруг Катя, — да и Мила тоже, просто тает...»

Когда старпом и Мила вернулись с пачками салфеток, Катя заканчивала приготовление своего «фирменного» салата из кальмаров. Конечно, Вагин поймет, что сделала этот салат она, не стоило бы так стараться, но уж привыкла делать все добросовестно.

Старпом что-то шептал Миле, Катя не прислушивалась, — пусть милуются, их время, — но шепот был какой-то настораживающий, недобрый. Мила молчала, улыбка с ее лица исчезла, но серьезной она показалась Кате еще красивее.

...Ну нельзя же при посторонних! — услышала Катя шепот Милы, — вот кончится рейс, решишь все — я это уже сто раз говорила...

Катя кашлянула: стало неудобно быть свидетелем их разговора, и в то же время какое-то удовлетворение родилось в ней: молодец Мила, вовсе не стрекоза оказывается, орешек-то крепкий! Так и надо с самого первого рейса, так и надо!

Мила тем временем подошла к Кате, улыбнулась как ни в чем не бывало. Катя одобрительно кивнула ей и подала тарелку с салатом. Надо было спешить, чтобы закончить все приготовления до прихода в салон Вагина и незаметно уйти. И все-таки не успела!.. Заслышав голоса и шаги по трапу, ведущему к капитанской каюте, Катя скользнула в буфетную и решила в каюте капитана больше не появляться. Из буфетной, расположенной в салоне и примыкающей непосредственно к капитанскому блоку, она слышала, как усаживались за стол, продолжая спор, начатый на палубе и в трюмах, куда капитан, очевидно, водил Вагина, чтобы тот сам убедился, что свободного места не осталось. Вагинский голос перекрывал остальные. Говорить и убеждать он умел. Но капитан «Колпино» не сдавался, он проносил фразы медленно, слегка грацируя:

— И снова утверждаю, уважаемый Василий Игнатьевич, хоть вы и начальник здесь, и говорите, что вам виднее, мы не будем подходить к «Яшме», и не только потому, что пресервы мы взять не можем, а еще и потому, извините, что транспортный флот, в отличие от ваших любимых траулеров, имеет строгий график эксплуатации. Нас по приходу ждет док, за который мы бились давно. Учтите, обрастание съедает у нас целых три узла!

— Вы меня все равно не убедили,— возражал Вагин.— Я уже объяснял положение на «Яшме». Пресервы там начали делать по собственной инициативе, главк это одобрил. Я обещал выгрузку, а вы хотите ее сорвать!

Катя подошла вплотную к переборке, вслушиваясь в разговор. «Значит, это Вагин задержал транспорт,— поняла она,— но ведь это же против него, ведь ей нельзя задержаться даже на несколько дней. Может, он передумал?»

— Я хочу заметить,— продолжал капитан, в его голосе теперь прескальзывала нервозность — вслед за нами идет «Неман», исключительно быстроходный транспорт. Через сутки он будет здесь и тогда...

— «Неман» остановлен в Ирландии,— перебил Вагин.

— Передайте тогда пресервы на любой траулер, снимающийся с промысла,— предложил кто-то из сидевших за столом.

— На траулерах нет емкостей, приспособленных для перевозки пресервов,— парировал Вагин.

Катя слушала знакомый голос, понимала, что Вагин, как всегда, прав, но мысль, что сейчас его волнует только «Яшма», была уж слишком обидной. Незаметно Катя покинула буфетную и быстро спустилась по трапу. Когда она шла по палубе к кормовой надстройке, ей казалось, что все матросы, встре-

чавшиеся на пути, знают о ней и Вагине, об их отношениях, и смотрят насмешливо вслед.

В каюте она заперла дверь и, не раздеваясь, легла на койку. Значит, Вагин не специально придумал эти пресервы, так сложились обстоятельства, над которыми даже он не властен. Но как же это? Не подойти, не сказать даже двух слов... А может быть, он сейчас ищет ее, и спросить ни у кого не может... Такое у него положение: начальник промысла, непогрешим, незапятнанная репутация. Это только такая покорная дурочка, как она, могла любить его столько лет, могла всех отвергать ради него. Ведь как был влюблен в нее капитан «Турмалина» Ахат, грустный и немногословный Ахат. Как было с ним спокойно и хорошо. Так нет, и здесь появился Вагин, как будто почувствовал, что она уходит из его жизни, и уходит навсегда. Это ведь надо, какое получилось совпадение: работал тогда Вагин с флотом у берегов Южной Америки, а на подмену шел к Дакару, где уже был заказан ему билет на самолет. И вот он пересек Атлантику на быстроходном транспорте «Пассат» и вышел точно к борту «Турмалина». Ветер тогда был сильный, клочьями срывало пену с волн, штормило, не утихая, целую неделю — все равно подошел на шлюпке. Она была в каюте у Ахата, когда по судовой трансляции объявили: «Капитан, начальник промысла просит». Ахат позвонил в рубку: «Скажите, что я отдыхаю, выйду на связь позже». «Да здесь он, у нас на борту, просит в рубку подняться», — растерянно сообщил вахтенный.

После той встречи два года они не виделись. Вагин хоть и не показал вида, но был взбешен... наконец-то почувствовал, что такое ревность! «А мне какво все время помнить о твоей жене!», — сказала она ему тогда, на «Турмалине». Конечно, досталось Ахату за непорядки на судне: Вагин есть Вагин.

И все-таки ей ни с кем не было так хорошо, как с ним. И в море и на берегу.

Правда, встречи на берегу были столь редки, что их можно перечислить по пальцам. И Вагин на берегу был все время каким-то настороженным, все время оглядывался, когда вместе шли по улице, старался выбирать безлюдные переулки... Хотя... было и другое — домик в лесу, сосны прямо у окна, красные гроздья рябины, целая неделя — только вдвоем, будто и не существовало никого в мире, кроме них. Или еще, однажды зимой, когда у нее гостили родственники и казалось, некуда деться, они нашли заброшенный небольшой стадион, и потом она часто вспоминала заснеженные скамейки, теннисные корты в сугробах, поцелуи на морозе. Им было тепло вдвоем; они одинаково чувствовали прелесть зимы, которой не видели несколько лет подряд, изнывая в январе от духоты тропиков. Почему-то на стадионе сохранился один-единственный светильник, и снежинки искрились в его свете, будто ниспадал на землю серебряный дождь.

— Ты любишь меня, Вагин, скажи, что любишь, — все время повторяла она тогда.

— Ну сколько можно спрашивать, — отвечал он и крепко целовал...

В море было все по-другому, по и в море надо было таиться... Приходить в его каюту так, чтобы не заметили, говорить шепотом, — корабельные переборки слишком тонки, надо было все время сдерживать себя. Только на пустом заснеженном стадионе можно было громко смеяться... И после стольких лет, после стольких дней и ночей: «Не вздумай затягивать дольше!» Она не выдержала тогда и заплакала. Он стал ласковым, утешал, весь день ходил рядом, не обращая внимания на взгляды матросов, пока наконец не уверовал — все будет так, как он хочет...

Включили кондиционирование. Тихий шелест наполнил каюту, наконец-то стало прохладно. По звуковой трансляции объявили: «Команда приглашается на ужин». Катя встала, выпила стакан сливового сока, целую банку его она обнаружила в холодильнике. Потом опять улеглась, накрылась ворсистым одеялом, и в который раз ощутила тяжесть и теплоту во всем теле, где зарождалась новая жизнь, над которой Вагин был теперь не властен.

Она уже задремала, когда в дверь каюты осторожно, по настойчиво постучали. Вагин — сразу догадалась она. Стук повторился. Катя встала и подошла вплотную к двери. Их разделяла теперь только тонкая переборка. Было отчетливо слышно его порывистое дыхание. Он тоже, видимо, почувствовал, что она стоит рядом.

— Катюша, открой... Открой, я остался здесь на всю ночь, к «Яшме» подойдем только утром.

Она молчала. Через некоторое время услышала, как удаляются шаги по длинному коридору, потом со скрежетом открылись задрайки двери, ведущей на верхнюю палубу...

Утром она проснулась рано и долго смотрела в открытый иллюминатор. На всем пространстве светлело небо, которое еще не хотели покидать крупные южные звезды, мерцавшие зеленоватым светом. Легкая зыбь прокатывалась по безбрежной поверхности большой воды, и, вздымаясь на этой зыби, отходил от борта вагиинский катер. Она спокойно глядела ему вслед, ощущая свежесть рассветного ветра. Встающее солнце наполнило отблесками светлешую синь океанской глади. Мысленно она прощалась со всем этим сливающимся воедино простором света и воды, впереди ее ждала другая еще неизведанная ею жизнь.



## СТРЕЛЬНА

Трудно было поверить, что время движется к полуночи. Мягкий ровный свет белой ночи разливался вокруг и делал все таинственным и невесомым. Автобус, мчавшийся от аэродрома в город по безлюдному шоссе, казалось, глиссировал в штилевом пространстве белесого океана, пока не выплыли навстречу ряды домов, застывшие в спокойной сиреновой дымке, и шофер сбавил скорость. Конечная остановка была в самом центре города, на улице Гоголя, где ленинградцев встретили друзья и родственники, а капитан рыболовного траулера Константин Степанович Кодацкий, не обремененный вещами, бодро зашагал по направлению к Невскому проспекту.

Место ему было забронировано в первоклассной гостинице: номер с высоким лепным потолком, тяжелые красные портьеры свисали по краям широких окон, объемная ванная поблескивала голубоватым кафелем, две уютные кровати аккуратно застелены, на полированном столе — телефонный аппарат. Звонить куда-либо было поздно, да и по сути — некому. Родных в этом городе не осталось. До войны были, а война их не пощадила: одни сгнули в блокаду, другие погибли в пригороде Ленинграда — Стрельне. Как погибли — он не знал. Конечно, давно надо было навести справки, но беспрерывные рейсы в Атлан-

тику почти не оставляли свободного времени. Бессонные ночи, жестокие штормы, швартовки в дожде и тумане, потоки рыбы — сливались в его воспоминаниях в бесконечную реку без истока и устья. Напряжение, накапливающееся из года в год, можно было бы разрядить хорошим отдыхом, но и на берегу, во время стоянок, капитана редко оставляют в покое: выгрузка рыбы, ремонт, набор кадров, снабжение — сотни мелких и больших вопросов...

И в те немногие дни, что оставались свободными от этой суеты, он уезжал на свою заброшенную дачу, ковырялся в земле и любовался цветами, кустами сирени, заросшими травой грядками и всем тем, к чему так тянуло и чего так не хватало в далеких рейсах.

В командировку он поехал охотно. Давно хотелось побывать в городе, с которым связаны были воспоминания детства. Правда, задание оказалось не совсем обычным. Траулер его встал на заводской ремонт, хлопот было предостаточно, как и всегда в начале работ, однако несмотря на это, главный инженер сказал: «Справятся без вас, в Ленинграде сейчас вы нужнее. Там будут идти переговоры с представителями немецкой верфи по согласованию проекта. Вам потом ходить на этих судах, поэтому смотрите как следует что заказывать.»

Константину Степановичу бросилось в глаза, что главный очень сдал: тяжелые красные веки, подушки под глазами, седина. Заметив его сочувственный взгляд, главный усмехнулся: «Думаешь, здесь, на берегу, у нас сахар. Вот побудь в моей шкуре хоть на одних переговорах, увидишь, сколько нервов надо потратить — не меньше, чем на капитанском мостике!» Надежный теплый кабинет и уходящая из-под ног палуба — какие могут быть сравнения! Кодацкий улыбнулся, но возражать главному не стал.

И теперь, ночью, сидя в пустом и гулком номере гостиницы, он пытался представить своих партнеров по переговорам, и то, как он будет с ними разговаривать через переводчика, и как это будет все эффектно выглядеть. Он видел такие встречи по телевизору — рукопожатия, улыбки, обходительные фразы. Что здесь трудного?

Утром в номер позвонили из Гипрорыбфлота, и нежный женский голос сообщил, что переговоры начнутся в одиннадцать часов здесь же, в гостинице, в апартаментах главы немецкой делегации. Был сообщен и четырехзначный номер комнаты, куда следовало подойти,— желательно, без опоздания.

До назначенного часа надо было как-то скоротать время, и Кодацкий спустился по широким пролетам каменной лестницы в холл гостиницы, потом выпил в буфете довольно-таки крепкого кофе и вышел на Невский проспект. Поток спешащих людей увлек его за собой. Идти медленно в такой суете было невозможно, и поэтому он воспользовался первым же подземным переходом, чтобы выбраться на другую, менее многолюдную сторону проспекта.

Кодацкий узнавал вокруг знакомые здания, дворцы, памятники. Небо было безоблачным. Майское солнце высвечивало золото куполов и шпилей, за чугунными оградами парков сочно зеленели деревья. Здесь не было высотных домов, обычных для сегодняшних застроек, но старинные двух-трехэтажные строения не потеряли со временем своего величия. Особенно поразили его развернутый строй колонн Казанского собора и золотой купол Исакия. И душе постепенно передавалось настроение торжественности, праздничности. Наконец-то он в городе, о котором так давно мечтал и который постоянно жил в его памяти.

На проспекте бросилась в глаза надпись на гра-

нитной стене одного из домов: «Эта сторона улицы наиболее опасна при обстреле». В каменной нише лежал букетик гвоздик. Здание было старинное, с колоннами, за ним еще такое же, слева виднелась игла Адмиралтейства. И это все хотели разрушить, превратить в прах, стереть с лица земли — и город, и людей в этом городе!

«Раскат площадей и улиц разряжен Петром без осечки», — вспомнились ему строки поэта. И стоит ли скитаться по морям, стремиться к заходам в чужие порты в поисках красот и чудес, когда здесь, у тебя на родине, все это соединено в одном неповторимом городе...

Он молча стоял у ниши с цветами, вереницы спешащих, улыбающихся людей обтекали его. Почти у всех веселые, беззаботные лица, живые, подвижные глаза. И одежда яркая, модная — не хуже, чем в любом иностранном порту...

В гостинице Кодацкого ожидал представитель министерства. Им оказался Кравцов, его бывший конкурент по мореходке. Тучный и подвижный, Кравцов сразу заполнил пространство номера, говорил и смеялся захлеб. И Кодацкий все пытался вспомнить, как же его зовут, но всплывало только, что тот был профоргом курса, всегда горластым, всегда деятельным и шустрым. И сейчас было сразу видно, что он не утратил былой своей активности. Выяснилось также, что вся ответственность за переговоры возложена на него, Кравцова, что он вхож к самому министру, что к его мнению прислушиваются и в Суде импорте, и даже в инспекции Регистра.

— Это же чудесно, Костя! Мы вместе! — с искренней радостью восклицал Кравцов. — Я теперь спокоен, у меня гора с плеч... А то боялся — пришлют какого-нибудь чиновника, который в наших морских делах ни бельмеса не смыслит! И вообще,

старик, тебе не надоело болтаться в морях? А то, смотри — нам, в министерстве, опытные кадры позарез нужны!

Кравцов говорил беспрерывно, и было ощущение, что сразу несколько человек спешат наперебой высказать все накопившееся за долгие годы молчания...

Номер главы немецкой фирмы Дитриха был явно рассчитан на устройство приемов и совещаний. Очевидно, ему предоставили самые просторные апартаменты, какие можно отыскать в ленинградских гостиницах. Здесь все было подготовлено к встрече: сдвинуты впритык два продолговатых полированных стола, аккуратно разложены папки, блокноты, чертежи, остро оточенные карандаши. Сам Дитрих — высокорослый, весь ухоженный и подтянутый, встретил Кодацкого любезной улыбкой и целой россыпью комплиментов, которые едва успевала переводить миловидная девушка в очках с тонкой переливающейся оправой.

— Скажите господину Дитриху,— попросил ее Кравцов, показывая на Кодацкого,— что это не просто знаменитый капитан, но и мой лучший друг по мореходному училищу. Он полномочный представитель управления, которое будет получать ваши траулеры. Он в морях не один год рыбачит — к нему стоит прислушаться!

— Это исключительно хорошо,— перевела девушка ответ Дитриха,— это будет весьма полезно мне и моим коллегам. Позвольте их представить.

Кодацкий по очереди пожал руки должговязому и рыжеволосому заместителю Дитриха с незапоминающейся сложной фамилией, вертлявому толстяку с выпуклыми глазами — главному конструктору Штоффу и, наконец, самому пожилому из них — инженеру-конструктору Любварскену. Это был плотный крепыш с ежиком жестких седых волос. Как потом ока-

залось, именно с ним Кодацкому и пришлось работать.

— Приступим, с вашего разрешения, Евграф Васильевич! — Перевела девушка слова Дитриха, обращенные к Кравцову.

Кодацкий улынулся, как же он не вспомнил сразу: конечно, Евграф, ведь в мореходке и кличка у Кравцова была — усеченное имя — «граф», очень ему подходящая.

Обмениваясь любезностями, все расселись в удобных мягких креслах, придвинутых вплотную к столам, и сразу же склонились над чертежами. Кодацкий внимательно слушал переводчицу, стараясь не упустить ни одного слова из длинной речи Штоффа, которую она вполголоса повторяла, склонившись к Кравцову, по-русски. Часть немецких слов была понятна Кодацкому, и неожиданно для себя он вдруг обнаружил, что схватывает смысл длинных тирад Штоффа и может не прислушиваться к тихому голосу переводчицы.

Новый траулер зримо представлялся Кодацкому: видно было, что здесь все продумано основательно — винт дает отменную тягу на тралениях, промысловая палуба широкая, мощность лебедки с запасом, позаботились проектанты и о жизни людей в море: каюты даже для простых матросов только двухместные, везде коврики, диванчики, тумбочки — все размещено предельно рационально.

Заметив, что Кодацкий слишком часто одобрительно кивает, Кравцов, улучив момент, шепнул ему:

— Смотри построже, нам надо цену сбить, от лишнего отказываться будем, особенно от обстановки кают, уж слишком роскошно для нас!

— Посмотрим,— ответил Кодацкий вполголоса. Не доказывать же сейчас Кравцову, насколько необходим уют в дальних рейсах, когда каюта становится

для человека единственным прибежищем, если хотите, родным домом, и поэтому важна даже расцветка переборок и совсем не лишние и подставки для цветов, и полки для книг...

Часа в четыре переговоры прервали — пора было пообедать. Кравцов был категорически против гостиничного ресторана и настоял на том, чтобы поехать в Дом учителя — это недалеко и обстановка шикарная, как-никак бывший дворец. В этом действительно роскошном здании, пройдя длинными запутанными коридорами, они отыскивали уютную столовую, где почти все столики были свободны. Кравцов много шутил, рассказывал один за другим забавные случаи, заразительно хохотал. Кодацкий лишь изредка вставлял одно-два слова и слушал своего бывшего однокурсника невнимательно.

— Тебя, Костя, не узнать! Был, помню, огонь-мужик, а теперь что? В секту молчунов записался? — удивлялся Кравцов.

— Извини,— сказал Кодацкий,— привык. Десять лет безвылазно в Атлантике, с той поры, как развелся с Еленой.

— Разошлись? Вот не ожидал, неужели? А почему?

— Чуть какая-то, если разобраться, хотя, сам виноват. Прощать не умею... Да и советчики в таких делах всегда находятся.

— Значит, один. Так это же подарок судьбы! — отреагировал Кравцов.— Я как вырвался из Москвы, так просто душой помолодел, ощущение свободы необыкновенное — моя ведь ни па шаг, все под контролем. А здесь я человеком себя чувствую. Обязательно сходим с тобой сегодня в ресторан, я тебя познакомлю — у меня есть прелестная пассия. И подруга у нее не хуже. Женим на ленинградке. Одна что ли такая, твоя Елена? Я помню ее, с гонором всегда

была. А ты еще — ого-го! Трудовой мозоль впереди не заметен, загар — тропический, сразу видно, капитан! Заманчивая у тебя для баб профессия... И в море король, и на берегу!

— Да нет,— протянул Кодацкий и подумал, что вот Кравцов, как и многие, полагает, что капитаном быть — это великое благо. И не объяснишь, как тяжело отвечать за всю команду, терпеть одиночество. Весь рейс как по канату идешь — нельзя, не имеешь права! — споткнуться: всегда чувствуешь за спиной дыхание экипажа. Каждый трал должен быть полным — иначе ты все равно плохой капитан. Трал, еще трал — рыба, потоки рыбы, а значит — заработок! И ты обязан обеспечить людям этот заработок. А когда ты отдыхаешь, когда спишь — никого не касается, поэтому и нет его, этого отдыха. Порой даже минутного расслабления нельзя себе позволить...

— Ну так как насчет вечернего вояжа в ресторан? — повторил свое предложение Кравцов.

Чтобы как-то смягчить свой отказ, Кодацкий постарался улыбнуться и сказал:

— Сегодня нет что-то настроения...

До гостиницы они доехали быстро — поток машин уже не был таким плотным, как до обеда. В вестибюле их ожидал Дитрих с неизменной улыбкой на лице и столь же благожелательный и оживленный Штофф. Все пошло своим чередом — чертежи, расчеты, вопросы, ответы. Кодацкий предложил мелкие улучшения в промысловой схеме, Дитрих охотно согласился и теперь обращался преимущественно к Кодацкому. Кравцов недовольно хмыкал...

Наконец явились и конструкторы из Гипрорыбфлота, ввалились в номер шумной гурьбой и сразу засыпали вопросами. Переводчица едва успевала схватывать смысл. Штофф вынужден был еще раз пояснять проект...



Закончили работу поздно вечером. Когда Кодацкий возвратился в свой номер, то сразу же понял, что к нему кого-то подселили. И судя по довольно-таки старомодному пальто, висевшему в коридоре, какого-нибудь бедолагу командировочного. Неужели придется еще выслушивать и разбираться в его проблемах!.. Ладно, время позднее — деваться некуда, успеть бы только поужинать да и спать...

Кодацкий спустился на первый этаж к ресторану — У входа никого не было. Он уже намеревался войти, когда заметил табличку на дверях: «Спецобслуживание». Из-за дверей выглянул швейцар, внимательно посмотрел и отвернулся: видно, сразу раскусил, что не иностранец. Кодацкий возвратился к лифту: бог с ним, с рестораном, есть, на худой конец, буфеты. Поднялся на пятый этаж: где-то ведь должно располагаться свободное для доступа кафе. Ему не повезло. И эта точка общепита оказалась уже закрытой. Посоветовали спуститься па третий, где он обнаружил великолепный бар, не хуже, чем в любом европейском ресторане: приятный полумрак, дразнящий запах кофе, стойка из красного дерева, за ней батарея бутылок с яркими этикетками, на витрине под стеклом — бутерброды с красной икрой. Миловидная девушка появилась за стойкой, вопросительно посмотрела на него, улыбнулась и вежливо сообщила: «У нас все только за валюту».

...В номере уже появился сосед. Как и предполагал Кодацкий, он оказался пожилым человеком с очень обычной внешностью: крупный нос, взлохмаченные серые волосы, нездоровый цвет лица. Но глаза у него были живые, с искринкой. Он сидел за столом, застланным газетой. На ней расположились батон, открытая банка ставриды, кусок колбасы. На тумбочке стояла металлическая кружка, из которой торчал маленький кипятильник.

— Иван Иванович,— представился сосед и тут же предложил: — Присаживайтесь! Перекусим.

— Придется,— согласился Кодацкий,— в нашей гостинице, по-моему, только иностранцев кормят!

— Так они же, браток, не дома. Надо им по-хорошему все представить, чтобы впечатление не портить,— сказал Иван Иванович. — Мне-то не привыкать, снабженец я, в командировках частенько. Гостиницу пробил, и тому надо радоваться, не до ресторанных деликатесов.

— Всегда мы так,— сказал Кодацкий,— не как все. За границей то, что ты иностранец, ничего не значит. Они своих куда больше жалуют... А тут в буфет и тот не попадешь...

— Я вот, считай, везде побывал, повсюду,— подхватил Иван Иванович, доставая ножом консервы из банки,— у нас завод большой, всего не хватает: кабеля нет, изоляции в обрез — вот и мечемся, всякое бывает, терпеть надо... А в Ленинграде я свой. Блокадник я, медаль имею за оборону города, а с ней мне здесь всегда место в гостинице обеспечено. Что ни говори, крыша над головой — это главное.

Вскипела вода в кружке, Иван Иванович сыпанул из пачки чая, дал отстояться, потом разлил по стаканам и развернул пакет целлофановый с домашним пирогом.

— Во живем! — сказал он, с аппетитом поглощая консервы.— Таковую жратву да в блокаду — па целый цех бы хватило! Вот сколько времени прошло, а сажусь за стол, всегда вспоминаю. И без припасов я никуда. Жена, молодчина, это дело уяснила — всегда мне в поездку снедь наготовит...

Узнав, в чем суть командировки Кодацкого, Иван Иванович хмуро поинтересовался:

— А немцы какие по возрасту там у вас на переговорах — молодые или есть такие, кто воевал?

— Вряд ли они воевали, вот только если один, да и то точно сказать нельзя.

— Это хорошо, что молодые,— заключил Иван Иванович,— я бы с такими, кто воевал, и говорить бы по-хорошему не смог... Блокада во мне сидит... Ты не поверишь,— после некоторого молчания продолжил Иван Иванович,— а я тогда сорок пять килограммов весил, это при моем-то росте! Потом уж, как в ополчение призвали — выправился, а то ведь сто двадцать пять граммов хлеба на день получал, да и какой то был хлеб,— глина, считай, а не хлеб. Мы с пацанами как приспособились — землю на Бодаевских складах добывали. Сгорели те склады, а там сахар был, вот земля эта сладкая нас и спасла. Что хочешь на нее можно было выменять. А то еще была такая царская еда — дуранда. Знаешь, что это? Жмых подсолнечный. А потом зима пришла, спали, не раздеваясь. Вперемежку лежали — и мертвые и живые. Хоронить сил не было... Это же какими зверьми надо быть, чтобы людей на такое обречь! Вот какие они, брат, твои коллеги...

— Да их ведь тоже заставляли идти,— возразил Кодацкий.— Гитлер их такими сделал.

— Просто ты им все списываешь,— вздохнул Иван Иванович.— А впрочем,— он махнул рукой,— что прошлое ворошить! Ты же пехотинец после войны родился?

— Не угадали,— ответил Кодацкий,— конечно, не солдатом еще был, но тоже всякое пришлось повидать...

На следующий день на переговорах решили разделить: обсудить каждую часть проекта в деталях — специалист со специалистом. Кодацкому достался рыбцех, а в партнеры — инженер-технолог Любварскен. Засели они в помере у Любварскена.

Здесь было не столь просторно, как у Дитриха, но зато много света. Окна в номере были необычайно большие с прекрасным видом на Невский. Любварскен сидел спиной к окну и был лишен удовольствия наблюдать широкий и многолюдный проспект. Кодацкий же, изредка отрывая взгляд от чертежей, видел движущийся поток машин и ровные линии зданий, в церскнективе сходящиеся у Адмиралтейства.

Выяснив, что он не курит, Любварскен снял со стола глубокую хрустальную пепельницу и смахнул в ящик тумбочки сигареты. Голос его звучал ровно, глуховато, говорил он по-русски, причем почти без акцента. Казалось, он сросся с креслом и почти не двигался, иногда лишь поднимая голову и глядя на Кодацкого небольшими, спрятанными под выпуклыми надбровьями глазами. Взгляд у него при этом был какой-то извиняющийся и в то же время пристальный.

Сейчас, когда они сидели так близко друг к другу, что изредка при разворачивании чертежей их руки соприкасались, Кодацкий увидел, что у Любварскена на правой руке недостает двух пальцев. Его возраст, эта рука и знание языка наводили на мысль, что мог он здесь, в России, бывать и не гостем. Похоже, что они ровесники с Иваном Ивановичем,— интересно, как бы они говорили, если бы вот так пришлось сидеть рядом и решать общие дела...

Конечно, в проекте были недоработки. Надо было убедить Любварскена, что филейные машины под крупную треску уже не годятся: нет такой рыбы, надо ориентироваться на скумбрию, а следовательно, менять линию обработки. Любварскен делал вид, что не понимает, разводил руками и вздыхал. Но в конце концов сдался и пообещал добиться согласия фирмы на переоборудование. Он только никак не мог взять в толк, почему так поздно встал вопрос о замене,

ведь в проект внесены те машины, что заказывали предварительно. «Есть определенный порядок, мы не должны нарушать этот порядок»,— твердил он. «Ordnung» — вырвалось у Кодацкого. Любварскен внимательно посмотрел на него и кивнул. «Нарушать ничего мы не собираемся, но обстоятельства меняются, теперь мы ловим совсем не ту рыбу, что ловили вчера»,— объяснял Кодацкий. «Хорошо. Будем ждать ответа. Вероятно, получим его завтра, тогда окончательно все и решим», — согласился Любварскен.

Было уже часов девять вечера, когда они расстались и Кодацкий вышел из гостиницы. В ближайшем магазине он купил различной снеди — надо было как-то отплатить за вчерашний ужин своему соседу по номеру. Но Ивана Ивановича, к сожалению, в гостинице не оказалось. Есть в одиночестве не хотелось, и Кодацкий, раскрыв купленную утром газету, попытался углубиться в чтение, однако содержание статей никаких мыслей не будило. Он откинул газету, и взгляд его надолго застыл па окне. Там, за окном, стояла белая ночь, и город все не успокаивался. Огромный город, он поглотил все окраины, слился с ними, стал еще больше и просторнее. И Стрельна теперь в городской черте,— об этом сказали в справочном бюро, где он пытался выяснить адреса родственников. Никого из них так и не отыскали — не значились такие в списках жителей. Завтра можно будет самому туда съездить...

Кодацкий ворочался, вставал, ходил по комнате. Почему-то именно сегодня так не хватало старика-соседа. Какое-то внутреннее беспокойство все более охватывало его. Чувство это было сродни тому, что, случалось, накатывало в море, как предошущение приближающейся опасности. Он пристально смотрел на мелькающие по степам полосы света — движение

по проспекту не прекращалось и ночью, к тому же напротив гостиницы, по карнизу здания бежали яркие буквы рекламы,— свет от них тоже врывается в комнату.

Сиреневый, с красноватыми оттенками, этот свет был призрачный, дрожащий, какой-то потусторонний. Свет ночного города. Города, о котором помнил всегда, который часто снился ему. И всегда эти сны соответствовали тому, что обозначалось понятием — «до войны».

До войны был в его жизни этот большой город, по потом его сменил другой, затерянный в зелени, почти игрушечный — белые дома, красные крыши, крохотная церковь. Вспомнилось, как вернулись они в этот маленький город из эвакуации. Ему тогда было ровно семь лет, он это помнит точно, потому что надо было идти в школу, но школы не было. Города вообще не было. Камня на камне не осталось... Среди руин и воронок стоял столб, а на нем фанерный щиток с надписью: «Остановись, солдат,— здесь был город Великие Луки!»

Тогда он впервые увидел немцев, до этого существовавших в его детском воображении в виде огромных чудовищ с рогатыми касками. Пленные расчищали улицы, разбирали развалины, методично передавая по цепочке кирпичи и старательно складывая их в штабеля. Ходили по разрушенному ими городу совершенно свободно, без конвоя. По вечерам появлялись у землянок — временных жилищ возвратившихся горожан. Осторожно, почти неслышно подходили к порогу и протягивали руки. И люди, пережившие ужасы войны, делились с ними хлебом, выносили остатки супа, заправленного лебедой и крапивой, наполняли эмалированные котелки. Что же это было? Всепрощение? Почему? Ведь так остры и страшны были воспоминания о недавних, еще не

остывших пожарах, об ужасе бомбежек, страхе и унижениях. Ведь всего год назад эти же вояки чувствовали себя здесь хозяевами, несли смерть и разорение... Пленные казались тогда похожими друг на друга. Может быть, среди них был и Любварскен... Может быть, и в его памяти живет этот разрушенный город, трижды переходивший из рук в руки, город, где никого не пощадили. И если даже Любварскен не был в пем, не причастен к его разорению, все равно, был в других местах — мало ли развалины оставили фашисты на своем пути...

Кодацкий отчетливо помнил морозный зимний день сорок четвертого года, себя на базарной площади Великих Лук в маминой, доходящей до пят телогрейке; людей в тулупах и валенках, скрипы телег, дымок из укутанных ртов и странное деревянное сооружение в центре площади — виселицу. Очень медленно подъезжали к ней грузовики с откинутыми бортами, и наши солдаты с автоматами на груди неторопливо, по-хозяйски, поправляли петли на шеях у приговоренных. И главный палач города, бывший комендант полковник фон Зас обмочился, — светло-зеленые его галифе потемнели, и весь он судорожно вздрагивал. «Жаль, что мертвые не смогут увидеть это», — сказал отец. Он уже тогда тяжело болел, — простреленные легкие вызывали неостановимый нутряной кашель, вместо ноги — тяжелый суставчатый протез, — жить ему оставалось меньше трех лет.

Через несколько дней после казни фашистов отец взял его с собой на работу. Домой они возвращались поздно вечером. Ехали на скрипучих санях через совершенно пустынный, казалось, покинутый людьми город. Было страшно — ходили в тот год слухи о нападениях банды под названием «Черная кошка». Сани скользили по мерзлому снегу в беспросветной мгле — электростанция еще не была восстановлена.

И вдруг перед ними открылась базарная площадь. Неяркий костер освещал тела повешенных, обледевшие трупы мерно покачивались и стукались друг о друга. Отец, не переставая, нахлестывал натрудившуюся за день лошадь, сани скрипели по наезженной колее. Почувствовав, что сын испуган и дрожит, отец сказал тогда: «Что ты, Костик, это же не люди, это ироды, хуже иродов!»

Как давно все это было. Стареть стал — того, что случилось несколько дней назад и не вспомнить, а тут и забыть хотелось бы, да как забудешь. Война... Всех раскидала — кого на фронт, кого в эвакуацию. Надо все-таки попробовать отыскать хоть кого-нибудь из родни в Стрельне. Не может быть, чтобы совсем никого там не осталось...

Сон пришел лишь под утро. Иван Иванович так и не появился: как потом выяснилось, он встретил старых своих друзей-фронтовиков...

На следующий день поехать в Стрельну опять не пришлось. Оказалось, что Любварскен еще ночью получил ответ на свой запрос, причем очень обнадеживающий: сообщалось, что машины легко перенастроить на обработку более мелкой рыбы. Можно было только позавидовать тому, сколь оперативно там, у них, умеют все решать: в тот же день, пожалуйста, готов ответ. Любварскен положил телеграмму па стол, и Кодацкий машинально прочел ее. Сообщалось, что завод не только может перенастроить машины, но и поставить другие — малогабаритные.

Любварскен, помахав телеграммой, отложил ее в сторону и заключил: «Что же, перенастройку мы будем делать». О том, что возможна поставка других машин — ни слова. Видимо, получил четкие указания от Дитриха существенно ничего в проекте не менять.

Этот и следующий день переговоров Кодацкий, несмотря на некоторую возникшую антипатию к



Любварскену, старался быть сдержанным, говорил вежливо, спокойно: все-таки перед ним был представитель крупной верфи, и, надо отдать ему должное, разбирающийся в своем деле инженер. И не может быть здесь места проявлению личных эмоций и настроений: главное — получить более совершенный траулер, остальное не имеет никакого значения. Что же касается утаенного сообщения, то здесь надо, очевидно, решать вопрос с Дитрихом.

Любварскен между тем, казалось, совсем не замечал настроения партнера, говорил мягко, растягивая слова, подтверждал свои доводы скрупулезными расчетами.

— И все-таки,— упрямо сказал Кодацкий,— что бы вы там ни подсчитывали, как бы у вас все там четко ни получалось, я настаиваю на замене оборудования!

— Что же, господип Кодацкий,— ответил Любварскен. — Если у вас имеются твердые возражения, я вторично запрошу завод-изготовитель, и мне надо посоветоваться с моим шефом. Думаю, вам тоже следует обговорить замену машин с господином Кравцовым.

На следующий день Дитрих отменил переговоры. Его вызывали в Москву, в министерство. Кодацкий, воспользовавшись этим обстоятельством, решил осуществить свои давние планы и за полчаса на электричке добрался до Стрельны.

Вот не предполагал, что здесь все так изменилось! Бывший когда-то дачным, поселок разросся, подступил к заливу многоэтажными стандартными зданиями. Леса не было и в помине. Вереницы машин, автобусов и троллейбусов, бесконечные толпы пешеходов. В его прежнем, правда, довольно-таки туманном представлении, Стрельна была тихим и уютным мес-

том. Вспоминались рыжие сосны, солнечные поляны, деревянные веранды дач... Лет пятнадцать назад, когда мать еще была жива, он, получив очередной отпуск, собрался было ехать сюда, спросил адрес родственников, и мать вдруг очень настойчиво стала отговаривать от поездки и все время повторяла: «Ничего не ищи, нету там никого, не ищи...». Тогда он не придал особого значения ее словам, да и не было времени задумываться — жизнь безудержным вихрем крутила его — радостная, полная забот и надежд жизнь... Первая практика, первые рейсы — и важно было не то, что позади, а то, что перед тобой, что еще предстоит.

А теперь вот, когда остался один, без отца и матери, без Елены, почувствовал, как все-таки страшно это — неужели один из всех, живших на этой земле Кодацких? Какая это глупость, что Елена не решилась родить. Все бы тогда пошло по-другому, у обоих жизнь не прошла бы зря... Может быть, хоть сейчас отыщется кто-нибудь из родни. Посидеть бы вместе, вспомнить детство, вновь обрести забытое чувство домашнего очага.

Но где отыскать их, родных? Ничего здесь, в Стрельне, не рождало ассоциаций с запомнившимися картинками довоенного бытия. Лишь па мгновение, когда после неудачных попыток что-либо разузнать в райисполкоме, он вышел к заливу и прислушался к плеску прибоя и шуму нескольких чудом сохранившихся сосен, когда увидел кусты малины и ежевики, растущие вдоль берега, ему показалось, что именно это место он помнит, и что здесь, за этими одинокими соснами, стоял дом с узорчатой деревянной верандой, дом, полный света и детских голосов. И отчетливо всплыла в памяти девочка с тугой черной косой, протягивающая ему лукошко с красными ягодами. Девочку звали Соня. «Это твоя кузина»,—

объяснили ему, и слово «кузина» было непонятно и совершенно не подходило к смеющейся девочке. А вдруг она сейчас выйдет навстречу, взрослая, уже немолодая женщина, его ровесница, узнает ли он ее?

Пробродив по улицам Стрельны почти до вечера, он уже собрался возвращаться в Ленинград, как вдруг в переулке увидел что-то знакомое и остановился перед единственным деревянным домом, стиснутом высотными зданиями. Возле дома, в палисаднике, огороженном аккуратным зеленым забором, сидели две худенькие старушки в одинаково вылинявших, но опрятных платьях, в столь же одинаковых темных вязаных кофтах и выжидательно присматривались к нему.

— Добрый день,— сказал он, и старушки привстали, а одна из них подошла поближе к забору.

— Заходите, если что надо, вон там калитка, щелкodu поверните,— сказала она.

Конечно же, это был соседский дом из его детства, а старушки были те самые жизнерадостные сестры, одна из которых дружила с его матерью.

То что он услышал от старушек никак не вязалось с сегодняшним весенним теплым днем, с равномерным плеском прибоя, вообще с жизнью вокруг. А эти женщины, видевшие все собственными глазами, как ни в чем не бывало продолжают жить, греться на солнце, радоваться теплу. И он сам, тоже столько лет живший спокойно, не пытавшийся даже ничего узнать, продолжает сидеть здесь на скамейке и еще о чем-то спрашивает, как будто мало ему того, что услышал...

— Так значит, Николай был вашим родным дядей, значит, вы помните его? — несколько раз повторила одна из старушек, вытирая заслезившиеся глаза кончиком шерстяного платка.

Как же он мог забыть его, дядю Колю!.. В такой

же теплый майский день он появился когда-то в их великолукском доме. Дядя Коля вернулся тогда из Испании и подарил ему, Костику, синюю пилотку с кисточками — «испанку». Весь загорелый, мускулистый, напряженный, как пружина, рассказывая, он вышагивал по комнате, и половицы под его сапогами скрипели. Потом вдруг неожиданно заразительно хохотал, подбрасывал его, маленького и визжащего от страха и удовольствия, к самому потолку. Миниатюрная жена дяди Коли, мамина младшая сестра, хрупкая и боязливая тетя Лина, ахала и тоже восторженно смотрела на дядю Колю — еще бы! Ему, Костику, он казался тогда почти богом... На следующее лето поехали в гости к ним, в Стрельну. Дом дяди Коли всегда был открыт для многочисленных друзей и родственников. Сюда приезжали как на дачу — сосновый лес, озонный воздух, притягивающая ширь залива, по вечерам долгие и шумные чаепития, песни под гитару...

Как теперь он узнал от старушек, когда началась война, дядю Колю назначили командиром батальона ополченцев. Сейчас Кодацкий понимал — это назначение, видно, вселило уверенность в его домочадцев в то, что Стрельны не сдадут. Если уж дядя Коля здесь, рядом с домом, в вырытых заранее надежных окопах держит оборону, все будет в порядке — враг не прорвется. А дядя Коля, занятый своими ополченцами, просто не успел втолковать им, сколь велика грозящая опасность.

Сестры рассказали, что буквально через несколько дней после ухода дяди Коли поселок содрогнулся от взрывов, закутался дымом и языками пожарищ. И день и ночь шли по его горящим улицам отступающие войска, а дяди Коли все не было, и только на трети сутки бомбежек и обстрелов, вечером, его,

в окровавленных бинтах, потерявшего сознание, наши бойцы принесли к его собственному дому и положили на пол веранды.

Так, связанные необходимостью ухода за дядей Колей, все родственники остались в Стрельне: бабушка Вера Петровна, совсем уже дряхлая, полуслепая, и, кроме Лины, еще две мамины сестры: художница Аня — любимица всей их большой семьи, тетя Полина — студентка-первокурсница «иняза», и дочка тети Лины и дяди Коли, та самая кузина Соня.

Старушки предполагали, что больше двух недель дядя Коля пролежал в подвале — ведь многие его знали в городе, он одно время работал председателем райсовета, был, как говорится, на виду. А потом — выдал ли его кто-нибудь, заметил ли, а может, сам не выдержал, выбрался из дома, попытался разыскать оставшихся в городе друзей — неизвестно. Подростков не знали.

Рассказали они только то, что произошло с дядей Колей и его семьей на их глазах...

Фашисты окружили дом, случилось это днем, быстро и внезапно. Дядя Коля не успел скрыться и прямо там, в подвале, его, вероятно, закололи штыками. Видимо, расправились не сразу, потому что он сопротивлялся. Во всяком случае, через некоторое время после того как солдаты вошли в дом, из него выскочил офицер, держась за живот. Тетя Лина тоже, очевидно, сопротивлялась, пыталась защитить мужа — ее выволокли сестры всю избитую, в крови...

И на виду у жителей поселка, согнанных у дома, продолжилась кровавая расправа. Всю семью дяди Коли вывели к детской площадке, где уже давно никто не страгивал с места колес карусели и застыли без движения одинокие качели. Жителей отеснили к тому месту, где был уложен деревянный настил

для городошной площадки. Беременную тетю Аню привязали к двум согнутым березам, и один из фашистов резанул тесаком по веревкам, стягивающим стволы. Березы рванулись — и страшный крик разорвал тишину. И в этот миг перестало биться сердце бабушки, Веры Петровны, — она отчаянно ойкнула, как сказали старушки, вздохнув в этом месте рассказ почти одновременно, — ойкнула и сползла с деревянного настила на пыльную песчаную дорожку. Это избавило ее от мучений. Ей уже не дано было увидеть, как выстрелом из пистолета в затылок прикончили Полину, ее любимую дочку, и как размозжили голову маленькой Соне, швырнув девочку на металлические стойки качелей...

Когда старушки замолчали, он не стал, а вернее, не смог ни о чем больше их расспрашивать... Городошная площадка... Когда-то они с Соней любили играть там на ровных желтоватых досках. И вот именно на этих досках все и оборвалось. Откуда такое дикое изуверство? При чем здесь женщины и дети? Ничего не осталось человеческого в тех выродках в фашистских мундирах. Хотели запугать, доказать человеку, что он ничто, что тот, кто вздумает сопротивляться, будет смят, погибнет в мучениях, как семья дяди Коли. И он, Костя, мог тоже очутиться там, дело случая... Ведь собирались в то лето в Стрельну. И ничего тогда бы не было для него, ничего — все оборвалось бы тем страшным днем...

Когда Кодацкий добрался до гостиницы, было уже восемь часов вечера. В вестибюле повсюду сновали туристы. Отдельные русские слова тонули в потоке гортанных чужих говоров. Он с трудом протиснулся сквозь эту многоязычную толпу к лифту.

В номере за письменным столом сидели Кравцов и Иван Иванович и с азартом шлепали шашками.

Кодацкий у двери сразу же попытался развернуться и уйти, по Кравцов заметил его:

— Ты где бродишь? Я тебе звонил, день-то был наш, свободный. Решил, что специально не отвечаешь. Вот, спустился проверить. Ты же меня подводишь! Обомшел, что ли, в своих морях? Дамы ждут! А ты ведь должен знать — чего хочет женщина, того хочет бог. Так, Иван Иванович?

— Разумно,— подтвердил Иван Иванович и побил сразу три кравцовских шашки.

— Сдаюсь! Сдаюсь! — воскликнул Кравцов и смахнул шашки с доски. Они с треском раскатились по полу. Иван Иванович стал было их собирать, но махнул рукой и полез в холодильник, откуда тут же извлек консервы и бутылку молока.

— Нет, нет, — запротестовал Кравцов, — никакой еды! Мы сейчас уходим!

Все это Кодацкий наблюдал молча, словно бы издалека. Действия и слова Кравцова, Ивана Ивановича, казались ему совершенно неестественными.

— Ты где был в войну, Евграф? — спросил он и, не ожидая ответа, сел на кровать и отвернулся к стене.

— При чем здесь война?—взорвался Кравцов. Он уже не на шутку разозлился: столько ждать — и вот тебе благодарность.— Мы же детьми были! — Он повысил голос.— Ты что, не в своем уме? Теперь я понял: ты их ненавидишь! Да, да — ты ненавидишь! И Дитрих это понял. Они говорили с Любварскеном о твоей несговорчивости, о твоей подозрительности. А я еще пытался тебя защищать! Ты безответственный человек, ты переговоры хочешь сорвать! Но, учти, мы этого не допустим!

Кодацкий почувствовал, как жар охватывает его. Голова и все тело наливались тяжестью.

— У меня к тебе одна просьба,— сказал он.—

Только одна. Позвони в министерство, чтобы меня заменили, а я дам телеграмму своему шефу, найду предлог... А теперь — уходи!

— Выспись хорошенько, потом поговорим,— бросил Кравцов и не спеша двинулся к выходу.

Когда дверь за ним захлопнулась, наступила внезапно глубокая тишина. Нарушил ее Иван Иванович.

— Это не из-за меня, случаем, сыр-бор? — задал он неожиданный вопрос. — Это я, дурак, вас подзуживал, что с немцами переговоры ведете и про блокаду вспоминал. Только не так все это просто, осуждать нас, теперешних. К примеру, если бы немцы запчастей для кабеля дефицитного поставили, да я бы у них за милую душу купил, хоть и блокадник, и от своего горя не отрекаюсь,— все помню. А вы ведь и вправду, что о войне помпнуть можете? Детьми было ваше поколение...

— Детей тоже убивали,— прервал его Кодацкий.

— Не изничтожишь ненависть ненавистью, это не я придумал,— Иван Иванович махнул рукой.— Не для нас это, не для наших людей... В мире все должны жить, если прошлое поднимать — крови не оберешься... Вот бродил я опять по городу сегодня, никуда конечно не денешься от видений тяжелых, тех годов не вычеркнешь... А вот привели бы ко мне сейчас тех, кто город осаждал и кто голодом морил нас, и сказали бы: на автомат — стреляй! Не знаю, смог ли бы... Вот Гитлера, или Бормана, или кого другого из их шайки — тут бы рука не дрогнула. И еще тех, кто сейчас хочет бойню затеять, — их ненавижу! Ведь потом и судить их, гадов, кто начнет, некому будет — такое сейчас оружие...

Кодацкий машинально кивнул, не понимая, что собственно пытается доказать ему сейчас сосед по номеру. Преступники — есть преступники, все они



должны понести наказание. Нужно ли всепрощение, к чему оно приведет... Возможно ли вообще иметь какое-либо дело с теми, кто убивал?

Вот он сядет завтра в кресло напротив Любварс-кена. Что сказали бы ему бабушка, тетя Аня, дядя Коля, если бы могли заговорить? Неужели он должен улыбаться тому, кто, может быть, был среди их палачей! И он, Кодацкий, жил ведь как ни в чем не бывало, раз и навсегда малышом, на базарной площади, уверовав, что возмездие свершилось. Да, они, погибшие, если бы это было возможно, прокляли бы его! За это тупое бездумие, за то, что легко смирился с их исчезновением, забыл о прошлом... Ведь знал обо всем — о зверствах, об убийствах... Читал, видел фотографии — груды протезов, тюки волос... все, что осталось от тех, кто закончил существование в аду Дахау, Освенцима, Майданека... Миллионы погибших, миллионы невинных жертв, страшные, непредставляемые цифры, а за ними оборванные судьбы людей, людей, которых он совсем не знал. Те, что замучены в Стрельне, — они не просто несколько единиц из этих миллионов... Их голоса, их лица ожили в его памяти! Но почему сразу после войны хотели все забыть? Устали, наверное, люди страдать, мучиться, умирать. Уцелевшие жили взахлеб. В землянках, в бараках, потом в тесных коммуналках шумно отмечали праздники, собирали вечеринки, вдохновенно танцевали под мелодии заигранных пластинок. И он тоже танцевал, пел... И не задумывался, почему мать старалась не говорить о тех, кто когда-то жил в Стрельне. Да и позже — почему он спокойно взирал на торговцев в припортовых лавочках Лас-Пальмаса и Амстердама, в которых выставлялись товары специально для русских моряков, и торговцы эти изъяснялись по-русски. Наверняка были среди них и бывшие фашисты, и власовцы. И не

задумывался тогда над тем, почему они благополучно существуют на земле? Почему не судили всех, вершивших зверства, всех, без исключения! Казнили только главарей. Но были же исполнители! Чтобы уничтожить миллионы людей нужны сотни тысяч палачей. Миллионы убитых! Прерваны цепи целых поколений. У Сони, у тети Ани могли быть дети — их никогда не будет! И сегодня те, кто убивал, кто стоял у газовых печей, спокойно следя за температурой, кто сталкивал во рвы, обкладывал хаты соломой, поливал эту солому бензином из канистр, смотрел за тем, чтобы из подожженных домов никто не вырвался, кто слышал вопли мучеников и считал, что все это узаконено, что все это необходимо для расчистки жизненного пространства, — живут, стареющие, окруженные уютом, уверовавшие в свою безнаказанность, в то, что все их прошлое палачество амнистировано!

И он, Кодацкий, оставшийся в живых один из своего рода, даже не пытался узнать, и, может быть, так бы и не узнал ничего о судьбе родных, если бы не эта командировка...

Теперь он думал обо всем этом, уставясь в стену гостиничного номера. Иван Иванович, чувствуя, что с его соседом что-то случилось, пытался растормошить его:

— Давайте-ка чайку — и спать! Утро вечера мудренее!

Кодацкий встряхнул головой, молча встал с кровати, подошел к столу, отхлебнул из стакана глоток уже остывшего чая и сказал:

— Возможно, завтра мне придется уехать, такие дела...

Иван Иванович вздохнул и стал медленно застилать кровать.

Кодацкий подошел к окну, прислонился лбом к

холодному стеклу. Уехать — это самый легкий вариант. Нет, он не имеет на это никакого права, дело надо доводить до конца...

Утром они снова сидели напротив друг друга. Любварскен, конечно, не мог догадаться, что за чувства бушуют в душе его партнера, но почувствовал, наверное, его напряжение.

Видимо, Дитрих и его фирма были заинтересованы в заказе, и Любварскен старался по возможности обходить острые вопросы и, прежде чем что-либо сказать, подолгу размышлял. Иногда он просто молча протягивал Кодацкому листок, исписанный цифрами: что может быть доказательнее простого инженерного расчета!

— Я настаиваю,— Кодацкий поднялся и подошел к окну,— я настаиваю на замене оборудования, вы напрасно стараетесь уйти от этого!

— Но вам же придется тогда доплачивать, стоимость проекта резко возрастет,— возразил Любварскен,— и при этом ничего нельзя предполагать заранее: через десяток лет, возможно, вы опять будете ловить и обрабатывать крупную рыбу, и тогда...

— У верфи нет проблем по замене,— перебил Кодацкий.— Вам ведь сообщили в телеграмме, что поставка нужных нам малогабаритных машин возможна!

Любварскен недоуменно пожал плечами и тоже поднялся.

— Так вы прочли телеграмму? — удивленно спросил он.— Вы знаете немецкий?

— Я его изучал совсем не так, как вы русский,— резко ответил Кодацкий,— Ваш язык у нас учат в школах, вузах. Мы не мстительны, понимаете?

Любварскен вежливо кивнул и вынул из папки вчерашнюю телеграмму.

— Смотрите,— его беспалая рука ткнулась в текст.— Здесь действительно сказано о менее габаритных машинах, но перед фразой стоит — «кейне». Это отрицание...

Кодацкий взял телеграмму и еще раз внимательно прочел. Действительно — отрицание, как он сразу не заметил!

Надо было собраться, откинуть эмоции. Конечно, «кейне» — частица отрицательная, вряд ли Дитрих мог пойти на подлог. Вот и Любварскен не смутился, объясняет спокойно, обещает снова запросить завод-изготовитель. «Они могут сделать другие машины, могут, но это значительно повысит стоимость заказа». Знает, на что нажимать, знает, что деньги у министров ограничены, что это не просто деньги — это инвалюта...

— Что-то смущает вас, господин Кодацкий? Мне кажется, что вы чувствуете какое-то недоверие ко мне, а потому излишне подозрительны, — произнес Любварскен, нервно перебирая листы в своем блокноте.

— Что вы сказали? — Кодацкий сжал голову руками, потом резко всем корпусом повернулся к Любварскену, — Мы покупаем траулеры и платим недешево, потому мы диктуем условия и только мы будем определять — какой траулер нам нужен! Время, когда вы могли диктовать свои условия, прошло! Вы поняли? — он старался говорить ровно, не повышая голоса.

— Я понимаю, что вы имеете в виду, я понимаю, что вы все время хотите сказать мне, в чем обвинить. Может быть, на вашем месте я был бы столь же резок,— медленно, с трудом подбирая слова, сказал Любварскен и опустился в мягкое кресло, свесив беспалую руку, которая сейчас показалась Кодацкому какой-то неживой, неестественной. Она почти ка-

салась пола, эта рука, в прошлом, возможно, наводившая на людей дуло автомата...

— Ошибаетесь, не понимаете вы ничего! — резко сказал Кодацкий. — Долго шли по России и все равно ничего не поняли!

— Я не хотел ехать на эти переговоры, — сказал Любварскен, обхватив беспалой рукой подбородок. Рука эта теперь выглядела как клешня, да и сам Любварскеп напоминал затаившегося краба.

— Что, боитесь за прошлое? — спросил Кодацкий и подошел почти вплотную к нему. Вы ведь неплохо устроились в жизни, судя по всему. Убивать и после этого жить спокойно, можно ли?

— Да, было страшное время, — сказал Любварскен. Он поднял голову, но посмотреть в глаза не решился. — Вы, очевидно, были младенцем еще тогда, а мне некуда было деться. Приказывали стрелять. На то и война...

— Приказывали, — протянул Кодацкий. — Приказывали стрелять, приказывали зарывать людей живьем, приказывали вешать! Приказать можно только тому, кто слепо исполняет приказ. Поставьте передо мной любого человека, тем более старика или ребенка — и прикажите убить, да я лучше сам стану под пули!

— Что с вами? Что происходит? — спросил Любварскен и впервые посмотрел прямо в глаза Кодацкому. И Кодацкий увидел какую-то растерянность в этом взгляде.

— Что со мной происходит? — переспросил он. — А что бы происходило с вами, если бы у вас уничтожили всех родных? Женщин, детей, понимаете? Если бы вот так, как здесь, под Ленинградом, у вас где-нибудь в Гамбурге, или еще в каком городе, вашей сестре, например, разбили голову об металлические стойки!

Любварскен вздрогнул, нервно передернулся и еще более вжался в кресло.

— Вам страшно? — спросил Кодацкий.

— В мои годы уже ничего не страшно,— сказал Любварскен.— Я понимаю вашу боль. Это все ужасно! Меня заставили пройти этот ад. Я был уверен, что стану героем, из меня тогда легко можно было сделать солдата. Я, как и все мои сверстники, верил фюреру, дурман повис тогда над Германией! Слово против — и человек обречен...

— Вы и не пытались ничего сказать! — бросил Кодацкий.

— Пойдите, дайте мне объяснить,— попросил Любварскен,— выслушайте меня.

Он достал из ящика стола пачку сигарет, чиркнул зажигалкой и жадно затянулся.

— В сорок третьем пришел мой черед погибать,— продолжил он,— после марш-броска я попал в мясорубку под Гомелем. И первое русское слово, которое хорошо усвоил, знаете какое? — котел. Леса и непролазные болота, голод... Озверелые лица, драки за кусок несвежей конины, случаи людоедства. Мой товарищ Хорст попытался бежать,— фельдфебель всадил ему штык в шею. В восемнадцать лет, знаете, не хочется умирать. Да.— Он помолчал, вынул еще одну сигарету.— Хотя жизнь и невеселая штука... Меня ранило уже после прорыва из котла, и я отстал от части. За флягу шнапса удалось достать фальшивые документы — так стал отпускником. Подделка была грубовата, поэтому, добравшись до рейха, старался обходить большие города и не сталкиваться с полицией. Наконец я попал в Кельн, на мою родину, матери в живых уже не застал. Знакомые рассказали, что некому было вызволить ее и несколько дней она пролежала под развалинами — балка придавила ей ногу... Умерла она нелегкой смертью. Я спрятался

в подвале и выходил только по ночам, но меня все-таки выследил сын соседей — двенадцати лет, из гитлерюгенда... Дети в войну тоже становились жестокими. Он хохотал, когда меня выволакивали из подвала и били сапогами... Приговорили к смерти, трое суток я ждал казни в одиночной камере. На четвертые сутки английские самолеты высыпали на город тысячи бомб, все рушилось и плавилось вокруг, а я один, наверное, в городе радовался этому жуткому хаосу. Контуженный, почти оглохший, я очутился на воле. Тюремь как таковой уже не было. Я приобрел гражданскую одежду и вместе с земляками разбирали развалины, завалы. Меня схватили, к счастью, не гестапо, — полевая жандармерия, удалось отговориться, я для них выдумал убедительную историю и снова был обмундирован и вооружен. Судьба опять хранила меня — в первой же перестрелке мне срезало очередь из автомата пальцы на руке, видите? — Он пошевелил рукой и вопросительно посмотрел на Кодацкого.

Кодацкий молча кивнул. Любварскен зашарил по столу в поисках сигарет, обнаружив пачку, вынул сигарету, но, махнув рукой, засунул ее обратно. На некоторое время в комнате воцарилось тяжелое молчание, потом Любварскен снова заговорил.

— Я побрел в поисках госпиталя и вышел на встречу русским танкам, которые прорвались с тыла. Я пытался затеряться в толпе, боялся плена, что говорить, но наткнулся на узников из концлагеря — тут бы мне и смерть, если бы не подоспели русские солдаты... В теплушке — так, помнится, назывались вагоны—я проехал половину России—разрушенные города, необрушенные поля, истощенные, плохо одетые люди... Тогда я уже осознавал нашу вину... Потом я очутился на Урале, в Соликамске, где почувствовал, что такое настоящие морозы и открыл для себя, ка-

кая она, эта русская таинственная душа. Я понял еще тогда, что люди устали, что они не хотят ненавидеть друг друга. Вы меня понимаете?

Кодацкий молча слушал исповедь Любварскена, чувствовал, что тот говорит правду, что это не выдуманное, а выстраданное прозрение. Но все могло быть у него и иначе, даже так, как предполагал он, Кодацкий. Дело случая. Чего же он ждет, этот бывший солдат вермахта сейчас — сочувствия? Он получил свое, пострадал от войны, но ведь он не был беззащитен, как те, в Стрельне...

Они сидели молча, и это молчание затягивалось. Любварскен побледнел, дышал тяжело, на лбу его проступили бисеринки пота...

— Да, всех нас тогда перемолол один молох, война, — наконец устало произнес Кодацкий.

— Я не совсем понимаю, что значит — молох? — растерянно спросил Любварскен. Он смотрел на Кодацкого настороженно, готовый к любому исходу разговора.

— Молох — это чудовище, требующее жертв, машина, поглощающая человеческие жизни, — пояснил Кодацкий.

— О, да, да, — торопливо произнес Любварскен. — Вы совершенно правы! Вы извините, я много говорил здесь, извините, может быть, это ни к чему. Сегодня последний день переговоров, давайте еще раз посмотрим план цеха...

Кодацкий присел к столу, отодвинул пепельницу на край, развернул план цеха, и они склонились над чертежами.

И пока множили цифры, обсуждали чертежи — они отлично понимали друг друга, но в отдельные моменты, когда возникала пауза в этом потоке цифр и технических терминов, когда их взгляды сталкивались, Кодацкий вновь ощущал какой-то внутренний



протест против своего присутствия здесь, своих слов, своих жестов и не в силах был подавить его.

Любварскен, видимо, понимал это, и ему тоже было не очень уютно у себя в номере. Всегда подтянутый, ровный, он стал сбиваться, забывал русские слова, нервничал. Он позволил себе ослабить галстук, а потом и вовсе снял его, и беспалая его рука непроизвольно вздрагивала, когда он проводил линии на чертежах, и линии эти получались не такими ровными и четкими, как в первые дни переговоров.

Наконец они подписали новый план цеха. Любварскен облегченно вздохнул и откинулся на спинку кресла. Кодацкий уже начал складывать чертежи, когда в комнату вошел Кравцов.

— Ну, как вы тут, Константин? — спросил он обычным своим бодрым голосом.

— О, все очень нормально, — откликнулся Любварскен, — мы, как это у вас говорится, нашли общий язык.

Кравцов развернул чертеж, и видно было по его лицу, что оценил их работу.

— Ну вот и прекрасно! — воскликнул он. — А то Дитрих волнуется, да и я не меньше. Уже и конструкторы Гипрорыбфлота все согласовали, и инспекция, только вас ждем! Сейчас подпишем контракт — и небольшой банкет. Дитрих устраивает, его право!

Из номера Кравцов и Кодацкий вышли вместе, Любварскен извинился и сказал, что немного передохнет и тогда уже поднимется к Дитриху.

— Это обязательно, идти на банкет? — спросил Кодацкий, когда они стояли в кабине лифта.

— Ты что, совсем спятил? Это необходимо! — вскипел Кравцов, резко нажав на кнопку. — Привык, понимаешь, делать все, как ему хочется! Другой бы вообще накатав на тебя телегу, чтобы не фордыбачил! Благодарю, что я тебя не первый день знаю...

Хорошо, хоть дров не наломал... И скажу тебе, как другу: не умеешь ты жить, радоваться жизни не умеешь!

— Радуйся, я тебе не мешаю! — отрезал Кодацкий.

— Опять грубишь, — обиделся Кравцов, — смотри, не пожалел бы потом.

Кодацкий вернулся в свой номер, ощущая во всем теле такую усталость, как будто целый день он не в уютной комнате сидел, а дергался на мостике, швартуя свой траулер к плавбазе в сильнейший шторм. Он растворил окно и, не раздеваясь, бухнулся на кровать.

Проснулся от того, что Иван Иванович осторожно шевелил его за плечо.

— Вы уж извините, — оправдываясь, сказал он, — но тут все звонят вам, банкет вроде, вы должны быть там...

— Ах, да, конечно, банкет, — откликнулся Кодацкий, — да, да, вы правы, мне надо идти...

— Ну как вы там, договорились обо всем? — спросил Иван Иванович и, не ожидая ответа, заключил: — Ну, естественно, коли банкет, значит, все подписали... Да, вот проходит время... Были враги, теперь вроде как и друзья. Все забывается.

— Нет, Иван Иванович, не все, — сказал Кодацкий и привстал с кровати.

Он подсел к столу, взял протянутый Иваном Ивановичем стакан с горячим чаем, но тотчас отодвинул его в сторону и набрал номер справочной аэропорта. Улететь можно было через несколько часов.

## ВРЕМЯ ПОИСКА НЕ ОГРАНИЧЕНО

Этой ночью луна умерила свой свет, и на промысле опять появилась сардина. Суда кошелькового лова жадно ринулись в заметы, голоса капитанов в эфире стали резкими, на мачтах судов замелькали оранжевые огоньки. Надо было не упустить долгожданный момент, успеть вовремя выйти на косяк, успеть обметать его. После долгих томительных дней проловов, после безрезультатных поисков предчувствие удачи будоражило людей.

Капитан «Диомеда» Петр Петрович Малов всматривался в ползущую под самописцем ленту эхолота, слушал переговоры в эфире, часто менял курс и мерил рубку широкими шагами. Здесь, в тропиках, океан не успевал остывать за ночь, и воздух был душным и сырым. На новом судне Малов вышел впервые, до этого были у него только СРТ, а тут наконец добился, получил на верфи сейнер из новостроя — с механизированной системой для выборки кошелька, с приличной скоростью, с приборами, которые писали не только крупные косяки, но и мелкие стайки. Хотя и много было претендентов с высшим образованием на этот сейнер, но все-таки доверили приемку ему, человеку с опытом.

И, действительно, свое он отмолотил — пятнадцать лет почти безвылазно; каюта на СРТ крохотная,

не развернуться, с водой — экономия: ни умыться, ни белье вовремя сменить, а здесь — апартаменты, баня досками дубовыми выстлана, пар сухой. И, конечно, дело не только в комфорте, а в том, что есть возможность взять любой улов. Теперь надо закрепить на этом судне, оправдать доверие, доказать, что не зря дали ему мощный сейнер. Но пока ничего хорошего не получалось: сначала невод не могли настроить, потом только приладились, взяли пару хороших уловов — обстановка скисла. И вот сегодня «наука», так называли они поисковые суда, обещает рыбу, но здесь и без науки ясно: луна — на ущербе, и рыбные записи эхолот начал чертить сразу после захода солнца... Правда, и судов на эту рыбу ринулось предостаточно, и не только свои: западнее работает флотилия японцев, а совсем рядом пристроились два норвежских траулера.

— Штурман, курс? — спросил Малов, вглядываясь в сейнера, бегущие параллельными галсами. В свете судовых огней были видны крутые буруны, вздуваемые их форштевнями. Казалось, будто белые рыси распластались над водой и мчатся наперегонки. Малов подошел к локатору и переспросил, уже резко:

— Курс? Штурман, вы спите?

— Курс восемнадцать, — второй штурман тряхнул копной светлых волос, как бы сгоняя дрему.

Второй штурман Сухов — опытный рыбак, не то что остальные штурмана, почти мальчишки. Но в этом рейсе дело не ладится и у него. Малов старается не дергать Сухова, по сдерживать себя сейчас, когда идет поиск, трудно. И он уже называет Сухова не по-дружески — Сергей, а говорит ему — «вы» и «штурман». На берегу, встречаясь с капитанами, Малов любил поговорить о том, что в море он научился видеть каждого человека «насквозь и глубже», что о многих из своего экипажа он знает больше, чем

они сами о себе, и при этом иногда добавлял: даже неинтересно становится! И его друзья — капитаны — соглашались с ним, потому что, действительно, за рейс, проведенный на одном судне, можно узнать о человеке больше, чем за годы жизни на берегу.

Все они на виду друг у друга — палуба всего-то два десятка метров в длину. Здесь просто некуда деться, поэтому любой, даже самый замкнутый, расскажет все о себе, раскроется. А тем более, если встречаешься с человеком не в одном рейсе, а в нескольких подряд, как по заказу. Не только жизнь своего «соплатателя» тогда узнаешь, а и сны будут известны, какие тому снятся. Хоть и не очень разговорчив Сухов, но Малов знал о нем почти все.

Жизнь часто ломала и крутила Сухова, но тот считал, что ему всегда везло. Впрочем, может, и так, с какой стороны посмотреть: в первый год войны оказался в партизанском лагере, зажатом в кольцо карателями, но чудом уцелел. Тогда его заставили, угостили — отправили самолетом на большую землю к своим: мол, живи, пацан, без тебя управимся... Потом завод — сутками в формовочной среди едкого запаха литья — выдержал. Было не до учебы, голодуха невероятная, у станков женщины и старики, да еще такие же, как он, пацаны. Пытался в вечернюю школу ходить, но засыпал под монотонные объяснения учителей, не выдерживал. После войны пришлось навестывать. Добился своего, кончил мореходку, стал старпомом, но попал его траулер в такую круговерть, хуже не придумаешь. Выбросило их на камни.

Гигантские волны в щепки раздробили о рифы легкий траулер, и тут невероятно повезло — ни один человек из команды не погиб. Море внезапно стихло, как бы удовлетворившись разнесенным по всем швам траулером, и оказалось, что выкинуло их на отмель,

которая тянулась на несколько миль до самого берега. На рассвете они осторожно побрели по этой отмели. Огромное красное солнце, всхлотившее над водой, освещало их путь. Целые сутки цепочкой брели по пояс в воде. Иногда проваливались с головой, захлебывались — но крепко держали друг друга. Выскочив из провала, снова нащупывали ногами узкую грядку, как будто специально уложенную здесь, чтобы соединить их с берегом, с жизнью.

После того случая Сухов два года ходил боцманом, потом восстановили, но разрешили выходить штурманом, только штурманом. Так и сказали в инспекции: о капитанстве забудь. И теперь, когда он подошел к тому рубежу, что лишает человека моря, у него разладилась жизнь на берегу: жена, стойко терпевшая долгие годы, ушла в себя, замкнулась, и жизнь вдвоем стала настолько невыносимой, что очередной рейс был желанным и единственным исходом. И тут опять повезло: в пятьдесят лет! — к нему пришла любовь, да такая, о которой он, может, и не догадывался никогда, и не думал, что существует подобное чувство; на судне все знали об этом, потому что его Людмила была рядом — она работала начпродом на плавбазе «Крым». И потому, что все видели, насколько это серьезно, никто не подтрунивал над Суховым, а, напротив, старались помочь ему, и даже Малов сделал так, что единственные два улова они сдали именно на плавбазу «Крым», и на период выгрузки Сухов был отпущен туда.

Малов не сковывал действий Сухова, — опытный штурман его вполне устраивал, и к тому же не конкурент: всегда при начальстве вылезет с критиканством своим. И по этой причине путь Сухову на капитанский мостик заказан, хотя в промысловой хватке ему не откажешь.

Вот и сегодня первым заметил стоящий косяк именно Сухов. Акустик, молодой парень, прикорнул возле приборов на минутку и, вздрогнув, открыл глаза, когда Сухов крикнул:

— Пишет!

Перо самописца провело на ленте первую жирную черту, потом вторую, третью, сигналы эхолота, напоминающие равномерное цвирканье сверчка, стали двойными. Привычное ухо улавливало, как доходят они в толще воды до сплошного потока рыбы и равномерная их музыка прерывается желанным отзвуком эха.

— Слева заметал! — тонким голосом крикнул старший механик — неповоротливый, похожий на медведя, Кузьмич. — Опять не успеем, я же говорил, опять!

Кузьмич, как обычно, паниковал, и Малов в такие минуты его ненавидел.

— Где ваше место? — крикнул Малов. — В машину, срочно!

Кузьмича как языком слизнуло.

Слева, на соседнем сейнере замелькали оранжевые огни, понеслись по мачте вверх — вниз, вверх — вниз.

— Правее, заходи на ветер, Сергей, — уверенно сказал Малов.

— Есть правее, — четко ответил Сухов.

— Акустик, твою за ногу, — крикнул Малов, — наводи! Что же ты молчишь?

Судно метнулось вправо, заходя па ветер, мачты описали круг, резко качнулись звезды, и дернулся узкий серпик луны.

— Пошли буи! — крикнул Малов в мегафон.

Загудели блоки, зашуршали, скользнули в воду два пузыря — плавучие якоря, увлекая за собой первые метры сети, затрещали, застрекотали по палубе

наплава — кругляши из пенопласта, в свете прожектора потянулась образуемая ими белая дорожка, в темной воде поскакал впереди нее буй — красный шар с мигающей лампочкой внутри, надежный ориентир и маяк. Судно накренилось на вираже, рванулось от сетей, чтобы потом вернуться к ним.

— Акустик! Где косяк?

— Левее, Петрович!

— Ракету давайте, ракету,— зашумел с палубы тралмастер Вагиф, мечущийся вихрем среди добытчиков.

Теперь надо не упустить богатый косяк, не дать ему уйти под киль. Сухов схватил ракетницу и выстрелил в воду с борта, противоположного тому, с которого выметан кошелек — надо отпугнуть косяк, загнать его в сеть.

— Старпома бы поднять, пусть потренируется на замете,— сказал Сухов Малову.

— Пусть спит пацан,— ответил Малов,— ему еще хватит работы на своей вахте! Обойдемся без него!

Через час стянули невод. По кошельковой площадке шумно стекала вода с выбираемых сетей — казалось, что идет дождь. Потоки воды хлестали по резиновым комбинезонам матросов, невидимыми ручьями устремлялись к бортовым шпигатам, с урчанием прорывались сквозь них, чтобы снова слиться с океаном.

Малов слушал шуршание воды и вглядывался в черноту за бортом.

Темные пятна вздрагивали, бились у балберов — это рыба пыталась вырваться из ловушки. Стайки были подвижные, и вода бурлила, будто внизу, в толще ее, включили гигантский кипятильник. Невод стягивался все туже.

— Вах, рыба! Рыба! — кричал на палубе Вагиф, пританцовывая и подскакивая.



— Тонн пятьдесят — не меньше,— сказал Сухов.— Пойду, помогу ребятам.

Внизу, на палубе, добытки подтягивали сеть к борту, накидывали ее на планшир. Матросы шутили, смеялись,— работа шла споро.

— Повара сюда! Где шеф? Дремлет? — кричал Вагиф.— Пусть наберет свежей, уха будет! Эй, Ефимчук!

— Красавица, а не сардина,— довольно сказал Малов.— Одна к одной, вот это дернули!

Даже единственный из экипажа не занятый в замете повар Ефимчук появился на палубе. Он медленно нагнулся к воде и зачерпнул сачком сардину. Рыба блестела и билась в его руках.

Малов видел сверху, как Ефимчук аккуратно перебирает рыбешку, и в который раз подумал, что очень повезло ему с поваром. Хоть и впервые в море, но все у него поставлено солидно, чувствуется класс. Для настроения команды хороший кок — считай, полдела. А этот молчун — умелец! Каждый день — новое блюдо!

Сухов, тоже смотревший вниз, сказал:

— Ну и кашевар! На замете и то спит, первый раз вижу такого.

— Повару и не положено работать на палубе,— сказал Малов — чего ты злишься?

— Да не злюсь я,— Сухов улыбнулся,— просто вижу, что не из того теста этот повар.

Малову уж не первый раз приходилось защищать Ефимчука от нападок Сухова: повар был его гордостью, он сам взял его в рейс, случайно встретив в приморском ресторане. Старик был одинок, как перст, мотался по стране, не находя своего места, а когда предложил ему пойти поваром в рейс — глаза загорелись, оживился. И зря штурман вяжется: человек первый раз в море, пусть пообвыкнет, окле-

мается. На палубе и без него обойдутся — молодых хватает. Ребята все как на подбор, здоровьем не обижены.

Когда закончили подборку невода, уже посветлело, но в воздухе стояла непривычная сырость, звезды заволакивало пеленой, на море опускался туман. Малов прошел в радиорубку, чтобы связаться с начальником экспедиции — договориться о сдаче рыбы. Сухов уже сидел здесь — видимо, надеясь, что и в этот раз будет принимать улов плавбаза «Крым».

Очередь была большая, удачно заматали еще восемь судов, рассчитывать на сдачу можно было только к исходу дня. Но главное было сделано — сегодняшней улов перекрывал все отставание от плана, — приборы показывали, что в кошельке много больше, чем пятьдесят тонн, но, чтобы не сглазить рыбу, и, зная, как неохотно берут плавбазы большие уловы, потому что не могут их быстро обработать, Малов доложил, что взяли около пятидесяти тонн. Говорить он старался нарочито спокойно, равнодушно, сдерживая бьющуюся в нем радость.

Позади была ночь без сна, и теперь можно расслабиться, отдохнуть. Почти все матросы уже разбредлись по каютам.

Малов ни разу еще с начала рейса не мог заснуть по-настоящему. Едва ли можно назвать сном ту полудрему, которую капитан изредка себе может позволить. Ночью, когда шел поиск, вообще не уходил с мостика, а если и спал, то чутко, как кот, — не пропуская ни звука. Но теперь был тот случай, когда капитан сделал свое дело, улов в кошельке, — остается только ждать очереди на сдачу. Малов впервые за рейс полностью разделся, ощутил прохладу простыни и радость от соприкосновения разгоряченного тела с ее освежающей чистотой.

Он заснул моментально и ни разу, наверно, не пошевелинулся, пока в четыре часа пятнадцать минут его не затряс за плечо Кузьмич, который к тому же кричал тонким срывающимся голосом:

— Петр Петрович! Сухов исчез!

Малов вскинулся на койке, выскочил в рубку в одних плавках. Там уже объявили тревогу, под толстым колпаком стекла метался красный огонек авральной сигнализации.

— Я поднялся в рубку принять вахту, а Сухова нет, обыскали все судно — не нашли,— доложил старпом.

— Что же вы стоите! Срочно на воду шлюпки! Боцман! Где боцман? — крикнул Малов и побежал к шлюпке.

Плотный туман окружал судно. Включили прожекторы, но сноп их света увязал в густой пелене и был бесполезен. Шлюпка сползла вниз и исчезла в тумане.

— Так у нас ни черта не выйдет! — сказал Кузьмич.— Надо вирать шлюпку!

— Включите тифон, Сухов должен услышать, если далеко не отнесло. Да быстрее же! — приказал Малов.

Тонкий пронзительный вой судового тифона повис в тумане. Кошелек с рыбой мешал движению сейнера. Кто первый предложил выпустить рыбу,— Малов не помнил. В рубке все поняли, что вести поиск и сохранить рыбу одновременно невозможно. Тралмастер Вагиф перегнулся через борт, повис вниз головой, отнайтовывая сливную часть невода, боцман стравливал бежной конец, накинутый на шпиль. Рыба, освобожденная из сетей, хлынула сплошной лавой. В тумане не было видно, как она всплывает, и Вагиф у самого борта мог различать мертвенно-бледный цвет плавающих кверху брюшками рыб и тем-

ные пятна косяков, клином уходящих от судна. Казалось, не будет конца этому шуршащему за бортом потоку.

Начальник экспедиции промысловых судов Аркадий Семенович Шестинский получил сообщение об исчезновении Сухова в четыре часа тридцать минут. Радист флагманской плавбазы «Крым» принес радиограмму в каюту и сказал, что «Диомед» находится на связи. Смысл текста не сразу дошел до Шестинского. Он замотал головой, как бы стряхивая с редких волос невидимую воду, наскоро сполоснул лицо, бриться не стал, хотя и имел такую почти автоматическую привычку — утром первым делом брать в руки электробритву. Пока вытирался, пытался сообразить, что предпринять. Этого еще не хватало — потерять человека! Ну и промрайон попался, а ведь уверяли в управлении, что самый спокойный, что рыбалка стабильная, что почти не штормит...

А тут с самого начала все наперекосяк: пролов за проловом, рыба есть — транспортов нет, транспорта подошли — рыбы нет, потом без топлива неделю загорали. Капитаны все сваливают па руководство, а значит, на него, Шестинского, в нем видят источник неурядиц. Может быть, они и правы: оторвался от моря, слишком долго сидел в конторе, и теперь он для них не прежний удачливый промысловик, а представитель этой конторы. Давно забыты те годы, когда он выводил флот на рыбу, хотя и сейчас ведь тоже вывел, и еще как вывел — почти все с полными кошельками сардины. А теперь скажут: на рыбу вывел, человека проморгал. Рыбалку придется свертывать — до нее ли теперь!

В радиорубке Шестинский вызвал на связь капитанов всех судов экспедиции. Надо было срочно

снимать свободные сейнера с заметов и организовывать поиск. Вблизи «Диомеда», по его расчетам, было около десяти судов — флот работал кучно. Его плавбаза была тоже рядом с районом заметов. К тому же где-то в этих широтах должен быть спасательный буксир «Стремительный». Переговорив по радио с капитанами судов, Шестинский оставил на связи «Диомед», одобрил действия Малова, — правильно, рыбу надо выпускать срочно, сейчас не до нее...

На связь вышел «Стремительный», и его капитан подтвердил, что идет к «Диомеду», но видимости нет — сплошной туман. И тут в эфире наперебой заговорили о тумане. Шестинский вышел из рубки на крыло мостика. Все вокруг было погружено в белые клубы тумана. Непроницаемая его стена отбрасывала всякие мысли о целенаправленном движении судов. Отсюда, с мостика, не видно было ни мачт плавбазы, ни кормовой ее надстройки. Шестинский с тоской всматривался в белую мглу. Сухов, второй штурман Сухов, — Шестинский напряг память, — что связано с этой фамилией? Это не тот ли Сухов, что ходил с ним в креветочную экспедицию? Он вспомнил его лицо, фигуру — мужик па вид крепкий, но уже в годах. Каково ему сейчас одному в океане, да еще туман этот проклятый. И как угораздило выпасть за борт? Люди в море гибнут обычно от страха, а не от того, что нет сил держаться в воде. Только бы не сдали нервы! Вода теплая, надо экономить силы, не надо дергаться... Надо просто держаться на воде. Взойдет солнце, рассеется туман, и тогда суда обнаружат его.

Шестинский не мог уловить — движется база или замерла, скованная плотной белизной. И только когда вошел в рубку, понял, что судно медленно идет к очередному кошельку. Первым его побуждением было остановить это движение, подключить базу к

поиску Сухова, но, чуть помедлив, он не стал отдавать такую команду: гигантская машина базы в тумане мешала бы сейчас тем сейнерам, которые выходят на пеленг «Диомеда». И чем скорее освободятся суда, лежащие с рыбой, чем скорее база примет их уловы, тем больший район можно будет охватить поиском при помощи этих судов.

База двигалась осторожно, рев тифона периодически сотрясал воздух. Где-то впереди тонким попискиванием откликнулся сейнер. Машинный телеграф замер на отметке «самый малый вперед». Капитан плавбазы, Иван Аверьянович, низенький, подвижный, с лохматой головой, размахивая руками, метался по рубке.

— Рулевой! Курс? — каждую минуту хрипло повторял он.— Громче дублируйте команды, чтобы я слышал!

Заметив Шестинского, капитан остановился и спросил:

— Ну как с «Диомедом»?

— Пока ничего,— ответил Шестинский.

— А мы вот к «Наяде» идем, если позволите. Очередь ее сейчас, близко она, только не найти никак,— сказал капитан, как бы оправдываясь.

Шестинский ничего не ответил. Конечно, надо освободить «Наяду» от рыбы, а потом направить сейнер к «Диомеду». На базе бороздить океан в поисках бесполезно,— если уж «Наяду» не могут отыскать в тумане, то что говорить о Сукове...

С поручней, с верхней рубки, с навесов падали тяжелые капли воды. Солнце по времени уже должно было взойти, но свет его, видимо, еще не в силах пробить белую мглу, прорваться сквозь нее. Шестинский запретил по радио все разговоры, не относящиеся к поиску Сухова, и велел докладывать обстановку каждые пятнадцать минут.

Надрывно захлебываясь, загудела плавбаза, предупреджая сейнер о своем приближении. Шестинский почувствовал, как вой тифонов буквально пронизывает его. Такой гул можно услышать на большом расстоянии. Может быть, его сейчас уловил и Сухов, и это придаст ему силы, поможет продержаться на воде.

Вот и «Наяда» ответила тремя тонкими гудками.

— «Наяда», «Наяда»! Где вы? — прохрипел в мегафон капитан.— Какого черта молчите? «Наяда», не исчезайте со связи, постоянно сообщайте свои действия! — глаза у капитана сузились, покраснели, мускулы лица были напряжены.

Вахтенный штурман оторвался от экрана локатора, вид у него растерянный:

— Не вижу «Наяды», исчезла!

Капитан всматривался в белое пространство, и от пристального стремления проникнуть сквозь него, в глазах возникали и искрились белые мухи, похожие на непрерывно идущий снег. «Наяда» уже не в поле зрения локатора, а в мертвой зоне, совсем рядом, и каждое мгновение может стать роковым, ведь громада базы движется прямо на сейнер.

— Эй, на баке! Смотреть внимательно!

Очертания людей на баке расплывчаты, они как будто плавают там — над палубой, которой не видно, кружатся, как бы привязанные к фок-мачте незримыми концами.

Где же «Наяда»? Почему так тянут со швартовой? Шестинский уже не раз забегал в радиорубку, о Сухове — ничего нового. Надо срочно переходить на «Наяду» и возглавить поиск, а то они там торкаются напрасно, каждый сам по себе. Десять судов — можно прочесать весь квадрат.

Тифон смолк, и все в рубке услышали, как справа за бортом залаяла собака, потом стали различимы

отдельные голоса. «Наяда» оказалась совсем рядом! Отчетливо слышен стрекот ее двигателя. На базе машинный телеграф дернулся и замер на отметке «стоп». Смолк двигатель на «Наяде». База и сейнер сближались по инерции.

Первым увидел «Наяду» вахтенный штурман.

— Вот же она! — кричал он и ткнул пальцем в туман.

Теперь и Шестинский заметил как справа, в молочном пространстве, медленно, словно изображение на фотобумаге, начал прорисовываться силуэт сейнера: сначала смутный, расплывчатый, затем появились труба, надстройка, мачты.

— Ну и швартовка! Почти вслепую, — сказал капитан плавбазы. Он вытер ладонью пот с лица, повернулся к Шестинскому: — Рыбы у них на «Наяде» — кот наслезил. Мы мигом возьмем, полчаса, не больше.

Работали быстро, все знали обстановку. Закрепили концы, притерлись бортами, загрохотал стами — ковш, который подали с базы для рыбы.

Шестинский перешел в радиорубку, попросил радиста вызвать всех на связь и приказал сейнерам прекращать заметы и подключаться к поиску Сухова.

— Пусть приборы ищут рыбу, пусть хоть сотни тонн ищут, — метать невода запрещаю! Всем судам вести поиск. Время поиска не ограничено!

Когда Шестинский вернулся в рубку, то увидел начпрода базы Людмилу Сергеевну. Женщина в рубке — явление сверх необычное. Шестинский долго смотрел на нее в недоумении, а потом перевел взгляд на капитана, чтобы убедиться, что и тот тоже видит женщину — своего начпрода. Людмила Сергеевна, — обычно аккуратно причесанная, улыбчивая, сейчас казалась растерянной, постаревшей, и капитан почему-то не приказывал изгнать ее отсюда, из святая



святых — рулевой рубки. Было это и странно, и непонятно: Аверьяныч, вместо того чтобы метать громы и молнии, стоял сконфуженный, всем своим видом как бы оправдываясь перед ней. Видимо, до этого он безуспешно пытался ее успокоить, а теперь, поняв бесполезность слов, молча озирался вокруг. Тот самый Аверьяныч, который женщин считал источником всех бед на флоте,— вдруг сник и растерялся.

Заметив Шестинского, Людмила Сергеевна вытерла лицо синим носовым платком и, громко всхлипнув, сказала:

— Вам все безразлично! Человек тонет! А вам наплевать! Вам только рыба, рыба! Стоите спокойно, а он сейчас один, задыхается, он...

— Полно тебе, Сергеевна,— вахтенный штурман робко дотронулся до ее плеча.

Но успокоить Людмилу Сергеевну было невозможно, и последние слова ее уже были в дверях:

— Если вы, мужики, не можете, я сама, сама...

Капитан закашлял, фыркнул и забурчал:

— Распустились бабы... Она думает, что только ей дело до Сухова. Крепко они закрутили... А женщине только позволь сесть на шею,— она тебе шпоры в бок, и чем больше ты позволяешь, тем шпоры глубже!

Шестинский чувствовал, что капитан говорит совсем не то, что Аверьяныча тоже гложет червь сомнения, чувство вины,— ведь можно было не брать рыбу с «Наяды». Зачем, кому нужен этот мизер? Если пропадет человек — вот будет беда! И почему не приказал «Наяде» выпустить рыбу? В таком положении, как сейчас, не надо ни к кому прислушиваться, решил — и точка. Шестинский всегда сокрушался, что именно резкости ему не хватает, понимал, что здесь, в море, нельзя быть нерешительным, но

одно дело понимать, а другое — действовать... И начальник базы перед рейсом наставлял — на промысле вы хозяин, за все спрос с вас, а будете миндальничать — быстро свернете шею. И вот напрозорчил...

В это время по радио на связь вышел «Диомед», и сразу в рубке все затихли, а Шестинский, взяв микрофон, подтвердил прием.

— Аркадий Семенович,— услышал он сквозь потрескивания в эфире голос Малова,— пока безрезультатно... нужны еще суда...

Дальше все забила морзянка и какой-то треск — не то барабаны, не то позывные береговых станций.

— Сейчас перехожу на «Наяду»,— сказал Шестинский в микрофон,— иду к вам, продолжайте поиск, обстоятельства исчезновения Сухова дайте мне подробно и продублируйте на берег, и пускайте ракеты — постоянно, не жалейте, как поняли... прием.

Шесть сейнеров и буксир «Стремительный» двигались в кабельтове друг от друга. Суда разрезали слои тумана прожекторами и пронизывали пространство непрерывными гудками. Они равномерно прочесывали неподвижную и пока еще невидимую штилевую гладь океана в надежде, что Сухов держится где-то поблизости и каким-то чудом удастся заметить его, или он сам сумеет подплыть, когда будут проходить рядом. Туман начал медленно рассеиваться, и это укрепляло у всех надежду на спасение Сухова. Воздух стал светлеть, и на востоке сквозь толщу тумана уже проглядывал матовый диск солнца. Белая пелена отступала от бортов, и видна стала вода. Море было сегодня совсем штилевое, ни одной рябинки, лишь буруны от движения сейнеров тревожили поверхность плавно расходящимися волнами.

Люди на «Диомеде» молча вглядывались в слой

тумана, пронсящиеся вдоль борта. Не верилось, что Сухов, опытный рыбак,— многие знали его не по одному рейсу, вдруг оказался за бортом. Почему? С какой стати? Оступился? Что-нибудь пытался сделать: поправить троса, подтянуть невод? Первый настоящий замет, такой замет, что все неудачи перекрыл бы, и вот, вместо большого улова — метания в тумане. Все это удручало Малова — рушились его надежды на удачный рейс, представлялось бесславное возвращение в порт, тягомотина объяснительных, параграфы приказов, докладные... Но и это можно вынести. Самое страшное, если поиск напрасен. Малов постарался отогнать эту мысль, но все-таки недоброе предчувствие не покидало его...

А то, что он узнал от Баукиина и Ефимчука, совсем выбило из колеи.

Баукина на судне называли «рязанским парнем». Весь он был какой-то заторможенный, с замедленной реакцией. Вышел в рейс всего-то во второй раз, и одно у него на уме — заработок. Когда о деньгах идет речь — сразу оживает и в уме считает быстро, не хуже компьютера получается. Все коэффициенты знает, и сколько кому на пай, и сколько за переработку,— здесь он профессор, тут у него хватка. А когда дело коснулось жизни человека, когда молчать преступно,— после часа поисков только объявился, стал сбивчиво, с пятого на десятое, бубнить:

Часов в пять, капитан, верно, слышал я, шумели на палубе, по нужде проснулся, вроде Сухова голос был и Ефимчука... Тогда-то я не подумал ничего, а сейчас вот смекаю: не иначе, они шумели, а тогда что, я ведь так вроде проснулся и не проснулся...

Говорил Баукин как-то очень неуверенно, а проверить — как проверишь?

Почудилось ему это или нет?

— Почему ж ты молчал, черт задери! — взорвался Малов.

Баукин сжался, испуганно стал оправдываться:

— Да смутно же было: то ли так, то ли нет, то ли поблазнилось мне...

— Поблазнилось,— процедил Малов.

«И откуда только таких выискивают! И чего им у себя в деревне не сидится»,— раздраженно подумал он. С самого первого дня, с момента отхода Баукин почему-то раздражал его: навыков никаких, а на уме одно — урвать кусок потолще и — к себе в деревню. Такие моряки теперь пошли... разве это кадры? Временщики!

— Ладно, Баукин,— сказал Малов,— сейчас не до домыслов, точные нужны факты, постарайтесь припомнить все...

Баукин молча покинул капитанскую каюту. Малов сосредоточенно расхаживал от переборки к переборке. При чем здесь повар? Что там у них произошло? Не хотелось верить Баукину, но все-таки он поднялся в рубку и приказал вызвать Ефимчука.

Кто-то из моряков еще вспомнил, что когда закончили замет и пошли перекусить в салон, то завтрака там не обнаружилось и пришлось довольствоваться остатками вчерашнего ужина и компотом. Случай для аккуратиста Ефимчука тоже необычный.

Повара долго искали, каюта его оказалась запертой. В конце концов нашли в провизионке.

Он вошел в капитанскую каюту, резко распахнув двери, и, когда уселся на диванчике, Малов увидел, что под левым глазом у повара свежая ссадина. Обычно чисто выбритое, холеное лицо Ефимчука сейчас казалось серым, брови редкие, почти незаметные... скорее не лицо, а маска прорезями глаз смотрела на капитана. Малов после недолгого молчания спросил:

— Где это вас так угораздило, шеф?  
— Со всяким бывает, Петр Петрович...  
— На вас это не очень похоже, и возраст уже не тот! Мне нужна ясность: почему и что с вами произошло?

Ефимчук приподнял брови и пожал плечами.

— Не надо притворяться — только что мне сообщили, что именно вы тот человек, который последним видел Сухова, и не только видел... думаю, и след он вам не зря оставил, а? В чем дело? Почему не доложили сразу?

— Виноват, Петр Петрович, сразу не доложил, в этом виноват,— сказал Ефимчук, и глаза его заслезились. Он вдруг придвинулся к Малову вплотную и заговорил почти шепотом, скороговоркой, боясь, что его прервут, помогая жестами коротких пухлых рук.

— Понимаете, Петр Петрович, наверху у меня, на надстройке, знаете, где кладовка небольшая, кое-что там по мелочи — капуста, картошка, ну и ночью сегодня не спалось что-то, слышу, кто-то ходит там, ворошит припасы, я поднялся: смотрю, тень какая-то у плотика спасательного, узнал штурмана нашего. Плотик он отвязывает. А чуть я зашуршал, он так и замер, потом, смотрю,— пакеты к плотику таскает. Дело-то весьма подозрительное, хоть и начальник он, а смекнул я сразу, что нечисто здесь. Хотел бежать доложить, а тут он заметил меня. Я ему: «Ты, мол, что здесь делаешь?» А он на меня: «Молчи, мол, говорит, если жить хочешь». Тут и дошло до меня, что он задумал. На плотике, гад, удрать собрался! «Ах, ты, говорю, сукин сын!» — а он мне кулаком... Очнулся я, а его и след простыл... Ну, думаю, ладно, одумался — и черт с тобой...

Малов слушал Ефимчука не перебивая, а когда тот умолк, выскочил из-за стола и закричал:

— Что вы мне мозги крутите! Вы что, идиот или

наивный мальчик? Прошел час поисков! А вы изволили мне только сейчас это сообщить! Да вам надо было сразу, немедленно поднять тревогу. Вы что, не понимаете, что такое в море — человек за бортом? Какое право вы имели молчать!

Ефимчук медленно поднялся с дивана и, уже не глядя на капитана, сказал твердо:

— Конечно, оплошал я, Петр Петрович, но почему? А потому, что знаю — неприятности может принести вам этот случай, из доверия выйдете, с капитанов попросят... Не хотел я раздувать это дело и потому не сказал никому. Пусть, думаю, считают, что исчез штурман просто так, упал случайно за борт. А если вскроется, что хотел удрать, заранее готовил уход, тут ведь совсем другое дело... Я обещаю, Петр Петрович, никому ни слова, твердо обещаю... Сухов давно на дне, следов в океане не останется, и я думаю для всех лучше — чтобы меньше шума было, и вам будет спокойнее тоже.

— Как? Что вы советуете мне! — возмущился Малов.— Кто бы ни был Сухов, хотел ли он удрать или... Найдем — увидим! — Он повернулся, закрутил задрайки иллюминатора и, не оборачиваясь, добавил: — Впрочем, людей не будоражьте, молчите, а сейчас уходите и помните: если все это ваша выдумка — я вам не защитник!

У Малова не было времени анализировать события, лишь одна мысль не давала ему покоя: кого же теперь они ищут? Друга, старого опытного штурмана или же врага, хуже — предателя! Тогда, выходит, это не поиск, а погоня. Думать об этом не хотелось. Может, отчаяние, минутное настроение. Запутался штурман: жена, Людмила. Влюбился. Нет, это не повод, чтобы решиться на такой шаг, нужны более веские причины...

Неужели не раскусил его, неужели столько лет

ошибался? И задуматься вроде было о чем. Вот и на отходном собрании в присутствии самого высокого начальства как он высказался, как себя показал: зачем, мол, соцобязательства. Выловим вдвое больше, а сдать рыбу некуда, транспорта о наших обязательствах не знают, липа это, мол, все. Его, конечно, поставили на место. Но чего он добивался — лезть в бутылку, при матросах. Хотя... опять что-то не то: если собрался удрать, зачем высвечиваться... И все-таки, ведь не первый случай — на собрании. Осуждал все и раньше, критиканством занимался, вон, совсем недавно — говорили между собой в кубрике откровенно, а он: мол, не продумано управление флотом, вот, мол, в Норвегии... Тогда дал понять ему: а не перегибаешь ли палку, ты посмотри, какая у них потогонная система, не видят они людей, им прибылы только подавай. А он, значит, в ответ: «А сам ты, Петрович, видишь людей?» Да, это было у него, привычка все с западом сравнивать, может, так и получилось — от слов перешел к делу?.. Значит, упустил Сухова, просмотрел, а надо было копнуть поглубже, не обрывать тот разговор, а похитрее себя держать — поддакнуть, раскусить. Поздно. И если прав Ефимчук, куда денешься? Все у него продумано, и момент четко выбран: один на вахте после замета, судно с кошельком не может двигаться, значит, не ринется сразу за ним в погоню, люди спят беспробудно после ночной рыбалки,— все учтено. Но повар — тоже штучка! Видеть, что человек сбежал и не поднять тревоги. И с чего это так обо мне заботится? Откуда такая преданность? Хотя, взяв его в рейс, можно сказать, уважил старика, может быть, у того это мечтой всей жизни было. Ну хорошо, положим, Ефимчук прав, но скрывать все — зачем? Конечно, на берегу, если выяснится, затаскают — не усмотрел, не разобрался, какой ты капитан? С сей-

нера наверняка снимут, долго еще придется отмываться. Вряд ли Ефимчук все это представляет, скорее, боится за себя, что тоже попадет в передрыгу... В главные свидетели идти придется...

Когда Малов поднялся в рубку, там был только старший помощник, — молодой парень с лихо закрученными гусарскими усами и густыми бакенбардами. Даже здесь, на промысле, не расставался он со сшитой по специальному заказу фуражкой, отличающейся высокой тульей. Дело свое старший помощник, несмотря на свои двадцать три года, знал, а форс у него был только внешний — начитался, наверное, романов о флоте, вот и держит марку. Но ничего не скажешь — старпом был исполнительный малый, хотя его невозмутимость порой просто бесила Малова.

Несколько раз Малов проверял прокладки, но ошибок в записях судового журнала не было. На судне матросы звали его «Витюня», — так обращались к нему в радиограммах родные. Старпома это явно раздражало, и он всякий раз поправлял: «Виктор Ильич — пора усвоить». Малову же возражать не решался и только однажды на переходе заявил: «Капитан, вы мне не бабушка, а я давно не младенец!»

Петр Петрович постоянно чувствовал, как этот молодой штурман наступает ему на пятки. Стоит чуть оступиться — и этот молодец на капитанском мостике. От того, что он знал, как гладок и прост его путь — путь специалиста с дипломом высшей мореходки, ему всегда хотелось поставить этого мальчишку на место, ткнуть носом в допущенные промахи. Они несколько раз крупно поговорили. Сразу на отходе старпом уперся, как баран в новые ворота: стал требовать от снабженцев замены тросов — нашел, выискал где-то порванные пряжи, и вынь да положь ему новые тросы. Это грозило со-



рвать отход, из-за глупой принципиальности какого-то пацана попасть в неловкое положение. Спрос ведь с него, с капитана, а тут из-за ерунды, только получив назначение, угодить в немилость... Малов не хотел и не мог подводить управление, Малов обещал выйти именно в этот день, сроки были оговорены и согласованы.

— Забудьте ваши учебники,— закричал он на старпома,— здесь рыбацкий флот, а не богадельня, и, если вы этого не поняли сразу, списывайтесь, пока не отдали трап! Мне отвечать за отход, а не вам!

Старпом тогда промолчал, но от снабженцев не отвызался, пока не привезли на судно новую бухту троса. Настырности у него не отнимешь, но понятий о работе никаких! На первом же удачном замете разорался на весь эфир, всем сообщил: — и что пишет эхолот, и где косяк — показать себя задумал, и тут Малов опять не выдержал, выставил его из рубки. А тот, похоже, так ничего и не понял. «Что — говорит,— здесь такого, если я другие суда позвал?» Добренький за чужой спиной! В общем, надо постараться избавиться от него, на следующий рейс обязательно попросить в кадрах замену, это будет нетрудно, если... если его, Малова, самого не попросят... Похоже, что в порту будет не до Витюни. А этому юнцу опасаться нечего, молодой специалист, какой с него спрос! Все шишки достанутся капитану...

Старпом обстоятельно доложил Малову, каким курсом движется сейнер, кто идет справа, кто слева, какие были распоряжения с «Крыма», о том, что начальник экспедиции перешел на «Наяду» и когда полагает прибыть на борт «Диомеда». Здесь же в рубке вертелся и ворчал стармех Кузьмич. Малов не прислушивался к его бормотанию, и тогда Кузьмич стал причитать громче, что-то вроде того, что вот до

какой жизни доводят себя некоторые, что не надо было разрешать Сухову тогда переходить на борт «Крыма», что таким вещам не надо потакать в море, что все идет от распушенности...

Кузьмича Малов недолюбливал, да и не ко времени сейчас его причитания.

— Ты же, Кузьмич, всегда вроде приятелем был Сухову, а теперь открещиваешься? К кому Сухов по вечерам после вахты уходил? К тебе. О чем вы шептались там, в каюте твоей, кто это знает?

— Да я,— Кузьмич заморгал красноватыми набухшими веками,— я его сразу раскусил, чокнутый он, этот Сухов...

— Почему же раньше об этом не сказал, сразу, когда раскусил?

Кузьмич, не найдя, что ответить, передернул плечом, хмыкнул недовольно и направился к трапу.

Старпом, подождав, пока Кузьмич удалится из рубки, отвел капитана в сторону от рулевого и тихо сказал:

— Капитан, я проверил плотики, один из них разнайтован, рядом я нашел и эту карту и несколько ракет — вот здесь в рундуке все сейчас.

— Ясно,— сказал Малов.— Прошу об этом пока никому не говорить, после вахты сложите все в пакет и занесите мне в каюту.

— Вас понял,— четко ответил старпом.

«Вот и этот «гардемарин» докопался... Предупредить еще раз, чтобы не болтал? Но он не поймет ведь! Надо бы вызвать вместе обоих, Ефимчука и Баукина, что-то они не договаривают!» — подумал Малов.

В открытые лобовые иллюминаторы рубки было видно, что туман идет на убыль. Он уже не был таким плотным, как несколько часов назад. Справа и чуть впереди по курсу была видна плавная корма

спасательного буксира, слева росли очертания траулера. Тифоны методично буравили воздух, всхлипывали и вновь смолкали.

— Видимость — пять баллов, — сообщил старпом. — Полагаю — и дальше так пойдет. Это значительно облегчит дело, если мы спасаем, а не ищем беглеца, тогда...

Он не договорил и пристально посмотрел на капитана. Малов промолчал, потом еще раз связался по радио с капитанами, занятыми поисками. Ничего нового у них не произошло, но надеялись, что теперь, когда туман рассеивается, шансы найти Сухова увеличатся.

Матросы толпились вдоль борта, а боцман стоял на баке прямо у штевня, плотно прижав к глазам массивный черный бинокль. Рядом с ним облокотился на планшир Баукин.

Боцман оторвал от глаз бинокль, сказал, обращаясь к нему:

— Видимость полная, хочешь посмотреть?

Баукин потянулся было к биноклю, но почему-то раздумал и махнул безнадежно рукой.

— Что машешь! — сказал боцман. — Сразу видно — нет в тебе морской выдержки. Я, брат, и не такого навидался, сам два раза тонул, да в шторм, не на тихой воде, и горел на танкере — и ничего, живой остался. И море не отпугнуло. Воды бояться — в море не ходить! А Сухов — он старый мореман, считай, покрепче меня!

Баукин чуть просветлел лицом, взглянул на боцмана с надеждой, попросил:

— Ты смотри, смотри получше. У тебя, небось, глаз наметанный...

Все простил Баукин боцману — и шутки, и подначки. Гонял его «дракон» усердно, как и положено матроса гонять, такая у него, боцмана, служба, что

тут зло копить. Лишь бы смотрел сейчас в оба, лишь бы не прозевал... Остро переживал Баукин свою оплошность. Что бы ночью тогда поднять шум! А он, как последний дурень, посмотрел, послушал — и снова в койку, сны досматривать. А тут вон что случилось, и все, считай, по его вине. И капитан ведь ничему не поверил! Теперь не найдут Сухова — напрочно тогда грех на душе, и ребята заклюют, — как, мол, такое допустил. А что разберешь в тумане: ну, зашумел бы, а те, на палубе, оказалось бы, — просто спорят, мирно балакают... засмеяли бы тогда. И так все тычут: деревяня, куда суешься... и действительно — куда? На деньгу польстился — это уж точно, а где ее даром платят? Размечтался хату отцовскую перестроить, — а теперь случай этот все планы запросто перечеркнуть может. Рыбу выпустили, — какие тут деньги! Да и Ефимчук теперь кровным врагом станет: чего, мол, капитану наплеет, изведет ведь. Шеф, одно слово, — к нему доверие, капитан сам его на судно взял, а он, Баукин, кто? За него кому вступиться? И все же ведь не просто спорили ночью, ведь что-то здесь страшное произошло! Может, у Ефимчука расспросить? Пусть злится, — зато точно известно будет...

— Эй, Баукин! — оборвал его мысли боцман. — Чем без дела стоять, поди штормтрап проверь, чтобы все балясины были закреплены!

Баукин обрадовался какой-никакой, а команде. Все лучше, чем вот так мучиться. Не привык он к тому же, чтобы руки бездействовали.

Переспрашивать не стал, как в начале рейса. Разве поймешь сходу что такое, к примеру, балясины? Знал уже — просто деревянные перекладки, нечто вроде ступенек на трапе. Понятно: отыщут Сухова — сразу штормтрап за борт, чтобы уцепился, поднялся из воды человек.

Баукин развернул штормтрап, подтянул сначала крепления, потом отыскал треснувшую балясину, решил сбить ее. И все время, хотя и занятый делом, ощущал он, что кто-то наблюдает за ним, и от этого ощущения становилось Баукину как-то не по себе.

Капитан плавбазы «Крым» Аверьяныч часто, когда речь заходила о судовых женщинах, говорил:

— Если вы видите на палубе базы веселую, улыбающуюся женщину, которая не идет, а скользит, как катер на воздушной подушке, то непременно в какой-нибудь бригаде или на вахте вы отыщете члена экипажа, неспособного выполнять плановые производственные задания!

Нельзя сказать, что капитан был женоненавистником, что жизнь обошла его, нет, он недавно вполне удачно женился, но почему-то еще с первых рейсов павсегда уверился, что океан не для женщин, что им здесь не место. Он знал, что его начпрод Людмила Сергеевна влюблена в штурмана с «Диомеда». Все здесь было серьезно, потому что начпрод его — женщина строгая, обстоятельная и, что главное для начпрода, — идеально честная во всех расчетах и деловая, а потому никаких шуток по ее поводу сам не позволял, да и других одергивал. Однако, в таком варианте, когда один из влюбленных находится на другом судне, по его мнению, хорошего мало. Во-первых, тот сейнер, где находится влюбленный, постоянно надо или не надо лезет на швартовку; конечно, если с рыбой — то это выгодно, а вот снабжать его часто топливом, продуктами, бельем не очень-то приятно; во-вторых, даже при сдаче рыбы влюбленный с сейнера рвется на базу правдами и неправдами. Отказать в пересадке невозможно: официально ведь направляется товарищ к врачу, приходится подавать сетку. Мгновенно отметившись в

амбулатории, влюбленный как таран рвется в кормовую надстройку, где живут женщины. В итоге выгрузка заканчивается, а сейнер, сдавший улов, не отходит без члена своего экипажа, и приходится несколько раз напоминать по судовой трансляции, что время свидания истекло. Но сейчас, в данной конкретной ситуации, капитан не мог обижаться на своего начпрода. В те два подхода в «Диомеду» никого не надо было разыскивать. А любовь Людмилы Сергеевны не походила на случайный роман, здесь чувствовалось совсем другое...

Людмила Сергеевна не любила лишних разговоров, слыла молчуньей, и даже ее соседка по каюте, буфетчица Тоня, почти не знала никаких подробностей, хотя иногда вечерами пыталась завести разговор о Сухове. Только однажды, как раз за несколько дней до исчезновения Сухова, Людмила Сергеевна рассказала Тоне о своем знакомстве с ним. Случай вполне обычный, никакой особой романтики. Было это три года назад.

На плавбазе «Крым» подходили к концу запасы овощей и мяса, а главное, кончились сигареты. Тогда по распоряжению начальника экспедиции сейнер «Торопец» прервал лов и был направлен к транспортному рефрижератору «Гавана», который прибыл в район промысла из порта. Там «Торопец» принял необходимый груз и направился на швартовку к плавбазе. Людмилу Сергеевну пересадили на сейнер, чтобы получить все, проверить, принять по накладным и доставить на базу, где курильщики уже страдали от нехватки сигарет, а на камбузе едва выворачивались, приготавливая разные каши и пироги. На производственном совете досталось тогда за неразворотливость и капитану и Людмиле Сергеевне, поэтому, приняв все с «Гаваны», она нетерпеливо ждала, когда же наконец сейнер подойдет к базе. На ма-

леньком судне присутствие женщины на борту было событием, равным самому большому празднику. Команда состояла только из мужчин, болтались они в океане уже четвертый месяц, и многие видели женщину вблизи впервые в этом длительном рейсе, Людмилу Сергеевну пригласили к капитану, смешили, развлекали анекдотами — каждый старался, чтобы она обратила на него внимание. Ей запомнились и их ухаживания, и грубоватые, но веселые шутки, и та теснота в каюте капитана, где все стремились сделать ей приятное, пододвигали самодельные рыбные деликатесы — балыки, рулеты. Нашлись и две бутылки хорошего вина... Но больше всего ей запомнились глаза штурмана «Торопца» — Сухова, его молчание, его готовность вступить в любой момент за нее. Они еще не сказали друг другу ни слова, но между ними уже образовался невидимый никому мост, соединяющий их мысли, их движения, та тяга, которая возникает вдруг ниоткуда, с первого взгляда и все растет, все укрепляется с каждой минутой и которую уже ничто не может разрушить, хотя поначалу сердце активно противится ей и стараешься откинуть ее от себя всем своим прежним опытом. И уже к ночи, когда застольный разговор еще более оживился, а Сухову удалось пересесть поближе, вошел сменившийся с вахты механик, увидел в каюте женщину и, не веря своим глазам, крикнул: «Братцы, баба!»

И тогда Сухов медленно встал из-за стола, оттер его к переборке и притиснул плечом так, что механик побелел...

На швартовку к базе подошли под утро. С маленького сейнера интересно было наблюдать, как растет впереди огромный борт судна с надписью «Крым». Людмила Сергеевна и не думала никогда, что база ее такая исполинская, напротив, времена-

ми, особенно в шторм, судно казалось беззащитным, таким крошечным посреди разъярившихся валов. Отсюда же, с сейнера, где вода плещется рядом,— нагнулся с борта и можно зачерпнуть ладонью,— с сейнера, который резко подбрасывало зыбью, она смотрела на растущую громаду, на целый город огней, надвигающихся осторожно и медленно, и плавбаза казалась ей самым уютным и надежным местом в мире, но почему-то не очень хотелось покидать гостеприимный шаткий «Торопец». Были уже поданы троса, на базе цепляли сетку для продуктов, матросы подволакивали ящики к борту. Сухов стоял рядом с ней, и тут ее как будто осенило. Она и не собиралась продолжать знакомства, но внезапно, сама удивляясь так удачно найденному предлогу, сказала, ни к кому конкретно не обращаясь:

— Как же я справлюсь на сетке, там же у меня в ящиках банки с соком, их надо поддерживать.

— Я помогу,— сказал Сухов.

И когда подали сетку, они вдвоем ухватились за стропа. Штурман стоял совсем рядом, и его рука касалась ее плеча легко, осторожно, и в то же время она чувствовала, как он весь напряжен, как готов поддержать ее, и потому было совсем не страшно, когда палуба оторвалась, пошла куда-то вниз. На базе закричали: — «Бирай помалу!» — и сетка закачалась вверх. Людмила Сергеевна даже решилась глянуть туда, в пропасть, где между бортами вскипала, пенилась вода, скрипели, визжали сдавливаемые резиновые кранцы; глянула вниз и зажмурилась, чтобы не закружилась голова, а когда открыла глаза, увидела рядом лицо Сухова, его добрую светлую улыбку. Он что-то сказал, не расслышала, но кивнула, а в это время сетка опустилась на базу, опустилась плавно, и они спрыгнули почти одновременно. Сухов придержал ее за талию несколько долъ-



ше, чем этого требовалось для страховки, потому что они уже стояли на твердой просторной палубе, окруженные нетерпеливыми матросами базы, жаждащими узнать, что удалось достать на транспорте, что находится в многочисленных ящиках. Пока разгружали сетку — усилилась зыбь, а на «Торопце» оставались еще ящики с мясом. Едва их подали на базу, как очередная волна зыби так подняла сейнер, что казалось, он сейчас улетит в пространство, затем судно рванулось в сторону, кто-то закричал: «Берегись, полундра!» И с визгом лопнул прижимной конец. Потом, как выстрелили, — это разорвало кормовой. Теперь сейнер болтался на одном носовом. Волны зыби периодически и методично накатывались на борт, становились все более крутыми. На «Торопце» отдали носовой конец, и сейнер, подхваченный пятиметровыми валами, то устремлялся вверх, то исчезал из глаз, опускаясь между валами, и на том месте, где он недавно был, уже ничего нельзя было рассмотреть. Гигантский водяной вал настиг базу, с силой качнул ее, разбился о высокий борт, и на мгновение пространство вокруг замерло в ожидании очередного вала.

Было решено подождать, когда зыбь уляжется, и тогда идти на швартовку. Сухов остался на базе, и сначала Людмила Сергеевна потеряла его: он пошел в рубку что-то там выяснять и пропал. Она уже собиралась лечь отдыхать, но что-то все-таки заставило ее выйти на палубу. Она сразу увидела Сухова — он стоял у надстройки и курил. И первый шаг сделала она: «Что же вы так, в одиночестве, — пойдемте, я напою вас кофе».

Зыбь не утихала в течение суток. За это время они успели о многом поговорить, понять друг друга. Она узнала о его военном детстве, о нелегкой жизни в послевоенные годы, о том долгом пути, которым

он шел, чтобы стать штурманом-судоводителем, рассказал он и о срыве на этом пути.

Возникло ощущение, что они очень давно знают друг друга, и уже ночью, когда Сухов собрался идти в рубку просить место для ночлега, она не отпустила его. Их разбудили под утро, когда снова пришвартовался «Торопец», а зыбь исчезла также внезапно, как и появилась. В том рейсе встречи были частыми, и каждая все больше укрепляла их в мысли, что они не смогут жить друг без друга. Людмила Сергеевна вот уже лет десять жила одна: сын вырос и поступил в училище, и она, один раз ошибившись в выборе, не искала повои судьбы.

Кроме как об этой встрече ни о чем другом Людмила Сергеевна своей подруге по каюте не рассказывала. А с той встречи все только началось.

«Торопец» снялся с промысла на месяц раньше плавбазы. Сухов приходил в порт встречать базу, искал Людмилу, но она постаралась уйти с борта судна так, чтобы он не заметил ее. А потом, случайно увидев Сухова в порту, она не выдержала, кинулась к нему и вдруг заметила слезы в его глазах. Именно в этот момент и поняла, как он одинок. Его надо было заставить поверить в себя, ему нужен был человек рядом, который бы тоже нуждался в его поддержке. Она чувствовала, как с каждой их встречей Сухов все больше оживает, возвращается к жизни. Перед отходом в этот рейс он ходил в инспекцию, рассказывал ей об этом походе: сначала, как обычно, приняли его в штыки — крупная авария, говорить не о чем. Потом вытянул из них — нужна бумажка об окончании курсов. В отделе кадров управления отнеслись вроде бы и неплохо, даже в этот рейс пытались направить капитаном, но не было подходящего судна. Но он не очень верил их обещаниям: капитанов утверждали в главке, а без раз-

решения моринспекции там и рассматривать бы не стали его кандидатуру.

Рассказал ей о своем плане — устроиться на плав-базу любым, пусть самым последним штурманом; сослаться на сердце, оно иногда пошаливало. Пора уходить с малых судов! При таком повороте дел они смогли бы быть все время вместе, и в последнюю встречу он первым начал разговор о том, что надо быть вместе не только в море. Она не показала ему ни единым движением своей радости — пусть это будет его решением.

А перед самым отходом в этот, теперешний рейс, он опять показался ей каким-то сникшим. Оказыва-ется, и в управлении не все были его сторонниками и даже на плавбазу назначения не дали,— многим он стоял поперек горла своей прямоотой. «Хочешь, я сама схожу к начальнику базы, ты просто не можешь все спокойно объяснить!» — предложила она тогда. Он устало махнул рукой и ответил раздраженно: «Столько дуруломов — бюрократ на бюрократе, кому ты что докажешь... И не вздумай, я сам, вот после рейса...»

И как будто предчувствие какое-то кольнуло: она стала настойчиво убеждать его не ходить в рейс, по-ступить на курсы и за время учебы здесь, на берегу, все оформить в спокойной обстановке. Людмила зна-ла, что он подал на развод, случайно увидела у него как-то на столе бумаги. Он заметил ее взгляд, но ни-чего не сказал, а потому не могла она себе позво-лить настаивать на том, чтобы он остался на берегу. Вдруг подумает, что она не только о его делах забо-тится, а совсем по другому поводу...

На берегу у Сухова была своя семья, свой дом, и хотя она знала, что дом тот давно стал чужим для Сухова, ей это было неприятно: надоели слухи, раз-говоры в конторе, пересуды за спиной, встречи тай-

ком, хотя и таится уже было ни к чему — Сухов сам рассказал жене обо всем. Опрометчиво ли было это с его стороны, судить трудно,— в этом был Сухов. Он не умел выкручиваться, лгать, и в то же время жила в нем всегда какая-то неуверенность в себе, которую она пыталась вытравить из него, а это было не просто — висели над ним прежние неудачи, и с их грузом надо было что-то делать, чтобы он мог подняться, встать во весь рост, жить раскованно. Теперь, когда, казалось, все прояснилось и они решили не расставаться, теперь,— и в это было страшно поверить,— он исчез, и она не в силах ничего сделать, чтобы спасти его!

Людмила Сергеевна, выбежав из рубки, кинулась к радистам. Лохматый и веселый радиооператор Сания попытался ее успокоить, сказал, что все прекратили лов, что сейчас перешел на «Наяду» сам Аркадий Семенович, что «Наяда» идет к «Диомеду», но и в голосе Сани ей слышалась неуверенность. Она побежала вниз, чтобы упросить Шестинского взять ее на «Наяду», но было уже поздно, сейнер отходил от борта.

На базе из бункеров подавали в цех рыбу, принятую от «Наяды». Матросы возили снег, засыпали его в бункера, где он мгновенно смешивался с водой и серыми слоями рыбы. Снег из льдогенераторов был первозданно чистый. Матросы лепили снежки и швыряли друг в друга: был обычный день, жизнь продолжалась. Люди, месяцами работающие в тропиках, под непрерывно жарким надоевшим солнцем, лишенные зимы, радовались холодающим, крепко слепленным снежкам. Они были словно из другой какой-то жизни, и сейчас все это показалось Людмиле Сергеевне кошунством, ей очень захотелось накричать на этих пышущих здоровьем ребят. Она отвернулась, изо всех сил вцепилась в поручни и наклонилась за

борт. Там, внизу, над водой, стелилась дымка, и в прогалах этой дымки виднелась поверхность моря — не голубая и искрящаяся, какая обычно бывает в этих широтах, а темная. Такая вода встречается в лесных озерах, — темно-коричневая, с желтыми лилиями, страшная вязкая вода над готовым поглотить все живое дном. Если сейчас броситься вниз и плыть, плыть к нему... «Может быть, он рядом где-то и живет последние минуты», — подумалось ей. С детства она боялась воды... Ребяшня купалась тогда в огромных воронках, оставшихся с войны в тех местах, где когда-то рвались бомбы, и даже в такой воронке она умудрилась как-то захлебнуться. Как это страшно, когда вода врывается в тебя, ты кричишь, но каждый твой крик — это новый глоток! Там, в воронке, глинистый берег был совсем рядом, можно было дотянуться рукой, но рука соскальзывала... А здесь огромное бездонное пространство и туман. Нужна шлюпка, ах, как нужна шлюпка!..

Людмила Сергеевна пробежала вдоль борта, споткнулась о натянутый трос и, не чувствуя боли, взбежала по трапу. В капитанскую каюту она никогда не входила без вызова. Да и вообще случалось это очень редко. У капитана было слишком много забот, не оставляющих времени для бесед с начпродом, и обычно она докладывала ему о делах по телефону. Аверьяпыч, видимо, не ждал визитов: сидел в каюте в майке, открывающей пухлые короткие руки, покрытые веснушками, и листал кипу радиogramм. Вид у него был сонный.

«Как он может, вот так, по-домашнему, в майке, здесь? Небось еще и гордится своей капитанской выдержкой», — раздраженно подумала она.

— Аверьяныч,— сказала Людмила Сергеевна, стараясь говорить как можно спокойнее.— Что с ним будет? Я не могу больше, Аверьяныч! Спасите его!

Капитан сухо кашлянул и медленно поднял рыжеволосую руку, как бы отгораживаясь от нее:

— Ну что вы, успокойтесь! Он же не хлюпик какой-нибудь! Моряк! Продержитесь, я уверен!

— Спустите шлюпку. Я не знаю, что еще сделать, но шлюпку... А вдруг он рядом, здесь?!

Аверьяныч, не глядя на Людмилу Сергеевну, поднялся, накинул куртку, нагнул по-бычьи свою большую голову и стал смотреть в раскрытый иллюминатор.

И она, не зная, как убедить его, что еще сказать, и теряя всякую надежду на сочувствие человека, казавшегося ей раньше всемогущим и справедливым, выбежала из каюты.

С трудом сдерживая слезы, готовая разрыдаться, она столкнулась в коридоре с Саней, уткнулась ему в грудь, он обнял ее и сказал:

— Ну что ты мечешься, Сергеевна, пошли, дам тебе бинокль. Сейчас база тоже идет к «Диомеду», капитан только что приказал спускать катер — найдем!

— Давай шеф, покажи себя,— сказал Ефимчуку боцман.— Покажи свой класс — начальство большое к нам идет, так что учти, чтобы были твои люля-кебабы! Усек?

Боцман, здоровенный детина, обожавший камбуз, единственный на судне нашел общий язык с поваром и стал своим человеком в провизионке.

Повар рубил мясо. Равномерно опускался топор, точно находя промежутки между костями.

— Какое еще начальство? — спросил он с видимым равнодушием.

— Сам Шестинский. Говорят, расследовать будет, почему, что, да отчего. Да и командовать будет по-иском. А что уже искать, сколько прошло времени,

и все без толку, а вот раскопать это дело точно надо бы, что-то тут не так!

На мгновение топор застыл в руках Ефимчука и жмакнул по куску говядины в кость.

— Ну, я пошел,— махнул рукой боцман.— Надо «ледянку» принять.

«Ледянкой» называли легкую алюминиевую шлюпку — это Ефимчук знал. Уже на переходе он успел кое-что запомнить: например, как спускать шлюпку, как пользоваться плотом. Были учебные тревоги, на которых вначале он путался в мудреных названиях, но никто над ним не подсмеивался, а, напротив, охотно все объясняли. Ему нравились флотский порядок, точность во всем, и он клял себя, что раньше не устроился на рыбацкий траулер, много раньше, а проторчал столько лет в приморском санатории, хоть и отдаленном от больших городов, тихом, но зато с частой сменой заездов, с мельтешением людей, вырвавшихся отдохнуть. Им никакого дела не было до того, кто там им готовит в парах огромной кухни завтраки, обеды, ужины... Им был виден только результат, и вкусы у них были привередливые. Здесь же, на судне, никогда никаких жалоб — аппетит у всех хороший, все довольны... Слишком много людей за эти годы побывало в том санатории — в этом его главный просчет. И то, чего он ждал и боялся — произошло. Это было явление оттуда, ожившее привидение — в парке санатория, среди весенних, блестящих от дождя кустов, шел Паскин: белые седые волосы, холеное лицо, острый взгляд насмешливых черных глаз и оттопыренные губы. Ефимчук узнал его сразу — глубокий шрам пересекал высокий лоб Паскина, и других доказательств не требовалось. К тому же Паскин как-то поособому взглянул на него, посмотрел сначала вскользь, потом прикрыл глаза и снова обжег взгля-

дом все таких же ярких черных глаз. Ефимчук тотчас свернул в боковую аллею, а на следующий день внезапно занемог, и врач санатория, ничего не обнаружив, решил, что у него плохо с нервами. Ефимчук провалялся дома ровно столько времени, сколько отдыхал в санатории человек с белой гривой волос и шрамом на лбу. После отъезда Паскина Ефимчук решил уволиться, а свое выздоровление отметил походом в ресторан, что было не совсем обычно для уклада его жизни, основным правилом которой было как можно меньше вылезать из дома и не заводить никаких друзей-приятелей, любящих лезть в душу с расспросами. Ресторан был в другом городке, в поллучасе езды от санатория. Там Ефимчука никто не знал, но он, хотя и пришел рано, все равно сел за самый дальний столик, с расчетом, чтобы никто не польстился на свободное место рядом с ним. Однако получилось так, что в ресторане уже через час стало шумно и многолюдно — пришло в порт несколько судов, и за столиками мелькали загорелые руки, лица, синие куртки с шевронами. Поднялась веселая кутерьма. Оркестр исполнял на заказ подряд одну и ту же песню о моряке, который «вразвалочку сошел на берег». За его столик сел высокий плотный человек с водянистыми, но веселыми глазами, к которому моряки обращались уважительно. Со всех сторон то и дело слышалось: «Петр Петрович, а как вы считаете? Петр Петрович, разрешите...»

Часам к восьми моряки сдвинули столы, появились девушки. Все в зале завертелось, задергалось в современном танце. Сосед Ефимчука из-за стола не поднялся, и когда они остались сидеть одни, а все остальные танцевали на пяточке, освобожденном от столиков, Петр Петрович, оказавшийся капитаном рыболовного сейнера, улыбнулся и сказал: «Ну что, скучаем, отстаем от молодежи?»



Ефимчук согласился: мол, да, не те годы,— хотя был этот капитан много моложе его. Они разговорились, и впервые Ефимчук не стал отмалчиваться, а поддержал разговор.

Капитан жил еще заботами промысла, рассказал, как ловили скумбрию у Ирландии, о сдаче рыбы в каком-то африканском порту. Ефимчук слушал заинтересованно и в ответ на вопрос, как он живет здесь, на берегу, кем устроился, объяснил, что остался один после войны, годы упущены, работает поваром в санатории. Так и тянет лямку, ни богу свечка, ни черту кочерга. Жизнь — тоска одна, все надоело: люди приезжают на короткое время, бесятся, но ему это все противно. А годы все идут и идут...

— Старик,— сказал Петр Петрович,— не так живешь, старик!

Ефимчук согласился:

— Не так.

— Давай с нами в Атлантику! Радость у меня — новый сейнер получаю, а вот с поварами не везет. Решайся, будешь кормить не каких-то там бездельников, а трудяг. Глянь-ка на моих ребят: один к одному!

— Наверное, трудно к вам оформиться? — засомневался Ефимчук.

— Ну, ерунда. Если медкомиссию пройдешь — остальное беру на себя. Пойдем без захода, а потом посмотрят в кадрах, оформят все как положено. Так лады?

Они выпили за предстоящий рейс, а потом, когда оркестр кончил играть, Ефимчука перетащили к ним за соседний столик, и Петр Петрович представил его, добавив гордо:

— Это вам не какой-нибудь самоучка, это настоящий шеф-повар из санатория.

Вернувшись из ресторана, Ефимчук долго не мог

уснуть: ворочался на узком диване в своей душевной маленькой комнате, вставал, пил холодную воду. Забылся тяжелым сном лишь под утро, но как только за окном зафырчал газик, развозящий хлеб, тотчас встрепенулся и вскочил с постели. Так было с ним в последнее время каждую ночь — малейший шум и он уже на ногах. Спал он не раздеваясь. Сразу спрыгивал на пол, осматривался, как загнанный зверь, не веря, что здесь он по-прежнему один, что начинается новый обычный день и никто не стоит за дверью, никто не явился за ним. Он всегда теперь оставлял окно приоткрытым,— так, па всякий случай. Понимал, что в его годы убежать, выпрыгнув из окна второго этажа, невозможно. В его существовании и до встречи с Паскиным был один выход — затаиться, стать неприметным, жить так, чтобы комар носа не подточил.

Здесь, в Прибалтике, пока все сходило. Народ был пришлый, не коренной, понаехали со всех концов: кто из Белоруссии, кто из Сибири,— никто не знал чужого прошлого. Работает одинокий пожилой человек, дело свое знает, отдыхающие довольны — и ладно. С годами прошлое отодвигалось все дальше. Иногда казалось оно страшным, нереальным сном, войной, увиденной в кино, хотелось верить, что все это было не с ним. Он отгонял видения тех лет, но, чем больше он сопротивлялся этим видениям, тем чаще и настойчивее будоражили они его. Входили в полудреме ночей, наступали неожиданно: тени истощенных людей в порванных гимнастерках, вонючие бараки, грязь, в которой умирали раненые, и смерть со всех сторон, и постоянная невыносимая мысль: так вот и тебя, сходу, без предупреждения — пуля в затылок, а ведь еще почти и не жил! В двадцать три года расставаться с жизнью было страшно. Годы списали все! Где теперь те, совестливые, фанатики или

просто дураки, те, кто остался в длинных бараках, за проволокой? Их нет, давно нет.

Так казалось Ефимчуку, потому что шеф зондеркоманды Штейхер требовал немецкой аккуратности, и работали они не оставляя следов, не оставляя надежд для пленников. Но откуда Паскин? Неожданное воскресение из мертвых! И там, в лагере, он жил дольше, чем положено было человеку его нации. Ефимчук сразу приметил его, когда отбирали среди пленных наиболее крепких для работы на руднике. Этот Паскин попытался затесаться в их число, затаился, выдавал себя за молдаванина. Еще немного не догляди и скрылся, затерялся бы в темных штольнях. Что-то заподозривший Штейхер ткнул рукой в сторону Паскина. И он, Ефимчук, сразу же определил: «Юде, годе!» Ибо можно было провести любого, но не Ефимчука, детство которого прошло в Виннице, навидался он таких «молдаван». И с очередной партией Паскин встал у свежевырытого рва. Тогда Штейхер, облеченный в лагере самой высокой властью над миром, потому что казалось весь мир залит кровью, и приучал их к крови. Пулеметы молчали, и людям Ефимчука выдали металлические пруты. Удар по голове — и человек падает вниз окровавленный, со страшным воплем, а люди из следующей партии обреченных забрасывают землей корчащееся месиво тел. Откуда же явился теперь Паскин, превратившийся из доходяги, истощенного паренька в солидного пожилого человека, идущего по аллее без оглядки, размашистым шагом? Конечно, узнал... Этот взгляд его прямо в упор. Теперь наверняка дал уже знать куда следует и уже навоят справки. А может быть и пошли запросы в Ашхабад. Не надо было забываться там, на юге... Потянуло жить как и все. Маленькая бессловесная женщина — медсестра из тубдиспансера, была идеальной женой.

Три года прожили они на окраине города, снимая приличную квартиру, и за эти три года она догадалась почти обо всем. Как догадалась — понять трудно: может быть, проговаривался во сне, а может быть, заметила, что он ни с кем не переписывается, — мол, совершенно нет родственников, нет друзей, ни о ком не вспоминает. Или просто чутье любящей женщины? Пришлось устроить так, что налаживающаяся семейная жизнь развалилась, и срочно искать место подальше от Ашхабада. И здесь опять нависла опасность, но появился шанс покончить со страхом навсегда, — он об этом сразу подумал, когда еще сидел в ресторане. Только вот анкета. Нехитрые, вроде, вопросы: изменял ли фамилию, имя, отчество... участие в войне. Он несколько раз заходил в кадры, зажав в руке записку Петра Петровича, и всякий раз поворачивал назад, пока не столкнулся в коридоре с Маловым, и тот, узнав, что их повар еще не прописан по судну, сгреб его в охапку, затащил к инспектору, начал шуметь: мол, повар настоящий, позарез нужен, надо оформить, формальности после рейса — чего тут судить да рядить, люди за него какое еще спасибо скажут...

Ефимчук снял деньги со сберкнижки, попросил, чтобы дали сотенными, сложил, аккуратно завернул в полиэтилен. Собирался тщательно, продумывая каждую мелочь: раз захода в импорт не будет, рассчитывать надо только на свои силы. Когда вышли из канала, вздохнул свободнее, без сожаления глядя на уходящую вдаль, растворяющуюся кромку земли, с которой его кроме страха уже ничего не связывало. Через двое суток вышли в каналы. Шли Большим Бельтом. Рядом сновали яхты, паромы, суденышки с чужими флагами. Окажись он за бортом — может, и подобрали бы, но уверенности полной не было: сумеет ли доплыть, спасут ли те, на яхтах,

или свои опередят — и тогда все, конец... И Ефимчук решил не торопить событий, продолжал молча готовить судовые обеды, а спасительные берега Европы тем временем растаяли, растворились вдали.

Зато с первого же дня прихода на промысел он начал сборы, не спешил — рейс только начинался, и надо было выяснить, в каких местах удобнее покинуть судно. Кажется, все продумал, до последней детали, к тому же вокруг было полно иностранных судов — упустить такой шанс было бы просто глупо! Но черт дернул этого идиота-штурмана бродить ночью по судну! Нет, чтобы сидеть в рубке, как все нормальные вахтенные! Как-то сразу, с самого начала рейса, этот Сухов встал ему, Ефимчуку, как кость поперек глотки. На вид, считай, одногодки, ну пусть Сухов на пять-шесть лет моложе, все равно мог воевать, и всегда страшно, что завяжется разговор о войне. Пойдут воспоминания, и естественно, Сухов мог всегда влезть в такой разговор, спросить: «А вы в каких частях? Где?» Ответишь — и совпадет, и Сухов был там же. Начнутся расспросы типа: «А помнишь?» И все — попался. И потому, насколько мог, Ефимчук старался избегать разговоров о войне. И не только с Суховым, но и со всеми остальными. Да и не только о войне, любые расспросы были опасны. А разговоры завязывались часто, и каждый откровенно и подробно говорил о своей жизни, а ему, Ефимчуку, надо было молчать, молчать или выдумывать. На таком небольшом сейнере, где всего девятнадцать человек, невозможно отмолчаться, так или иначе вдруг оказываешься вовлеченным в общий разговор, особенно в кормовом кубрике, служившем одновременно и столовой и библиотекой, и кинозалом. А повар к этому кубрику привязан — здесь ведь его епархия: мало того, что сготовишь, надо еще и на столы подать. После ужина обычно

не уходят: задраивают иллюминаторы, разворачивают полотно на переборке — фильм и время сеанса одни для всех, а повару еще надо и прибраться, и котлы надраить, на следующий день продукты приготовить — и это на виду у всех. И вот надо было такому случиться, что отыскали фильм о концлагере — «Загон». Уйти незаметно не удалось, пришлось смотреть. А на экране буквально, как было, только ситуация выдуманная: двоих из заключенных бросили в железную клетку, сооруженную на плацу в центре лагеря, из них один — могучего сложения, коммунист, а другой — «доходяга», парикмахер. Каждого по отдельности предупредили, что ему, чтобы освободиться, необходимо убить своего противника. И начальство лагерное, довольное своей изобретательностью, потехи ради заключило пари на победителя.

Ефимчук, пристроившись на скамейке позади боцмана, смотрел как прикованный: неужели все это было, и не с кем-нибудь, а с ним... Он даже содрогнулся, не выдержал, голову опустил — и в это время вспыхнул свет, первая часть кончилась. Все сидели неподвижно, никто ни слова.

Капитан первым нарушил молчание:

— Вот что делали, гады!

— А у нас, в Белоруссии,— отозвался Кузьмич,— детей и тех не щадили, мать рассказывала... и находились суки из своих — в каратели шли...

— Был я мальчишкой, в отряде партизанском под Оршей, нагляделся,— сказал вдруг Сухов.

Ефимчук вздрогнул, как полоснуло: «под Оршей». Вот оно, совпадение! Это ведь их зондеркоманда ликвидировала там партизанский лагерь — подожгли со всех сторон торфяник, целых десять дней партизан поджаривали...

В это время застрекотал проектор, началась вторая часть. Ефимчук, стараясь ступать осторожно,

выбрался из кубрика. Опять вроде пронесло, но еще острее стало чувство страха, одиночества... Все враги, все! Надо спешить...

И вот вроде бы все рассчитал, выбрал момент самый подходящий — и так глупо провалился! Как теперь выкрутиться, как отвести от себя подозрения? А вдруг найдут все же Сухова?! Хотя — вряд ли, после такого удара по шее долго не поплаваешь... Нет, не с этой стороны главная опасность, важнее узнать, что успел рассмотреть Баукин. Надо было и его отправить за борт — на туман, дурак, понадеялся, не подумал, что Баукин, может, и не видел ничего, а вот слышать-то — слышал, это наверняка. Что он там наплел капитану? Теперь еще начальник экспедиции явится, начнутся выяснения... Теперь надо ждать, как все повернет капитан. Поймет ли, что не стоит раздувать кадило? Нет, надо действовать. Пока еще совсем не зажали в кольцо, не обложили со всех сторон, надо уходить, сегодня же. Дождаться, когда рядом будет иностранное судно — и за борт! Просто так он не дастся! У него еще есть шанс...

Ефимчук детально прикидывал свое поведение на сегодняшний день, методично выискивая выход, а руки его тем временем аккуратно нарезали мясо — надо быстрее разделаться с обедом и — на палубу, нельзя теперь уходить с верхней палубы... Если они вдруг найдут Сухова, надо срочно что-то предпринимать.

В большом котле грелась вода, Ефимчук вычистил сковородку, положил на нее мясо для бифштексов, вытер полотенцем руки и, сделав огонь поменьше, встал, чтобы пойти на палубу. В это время на камбуз просунулась голова боцмана: «Шеф, мигом к капитану!» «Ну вот, началось», — понял он и стер испарину со лба замусоленным полотенцем.

Шлюпка-ледянка, мягко скользившая по гладкой поверхности океана, осторожно приткнулась к борту «Диомеда». Матрос уперся веслом в клюз. Сверху крикнули:

— Кончики примите!

Шестинский привстал, поймал пеньковый конец и ловко завязал его за банку. С борта «Диомеда» свисал короткий штормтрап с длинной балясиной в середине. Аркадий Семенович попрощался с матросом, доставившим его, ухватил поперечины трапа, легко подтянулся и очутился на борту сейнера. Там его уже ждали Малов, так и не успевший еще раз переговорить с Ефимчуком, суеющийся старший механик Кузьмич и несколько матросов.

— Давайте сразу ко мне в каюту,— предложил Малов.

— Идемте в рубку. Да и не в моих правилах занимать капитанскую каюту. Вы мне что-нибудь попроще приготовьте,— ответил Шестинский.

В радиорубке Аркадий Семенович связался с сейнерами, переговорил с Аверьянычем, одобрил его действия и в который раз удивился. Ведь вот если бы он приказал ему идти в поиск,— начал бы отнекиваться и был бы прав: базе в тумане делать нечего, а так сам решил и все правильно. Теперь спустит два катера — очень существенная помощь. Из новостей самой интересной была принятая судном промразведки карта погоды. Синоптики по-прежнему обещали штиль, некоторое улучшение видимости днем, а к вечеру сгущение тумана. Значит, времени у них оставалось в обрез, часов до восемнадцати местного.

— Много суеты, — сказал он Малову, — сейчас одиннадцать тридцать, в нашем распоряжении чуть больше шести часов светлого времени. Не слишком ли быстро бегаем?



— Я об этом тоже думал. Нельзя далеко отходить от того места, где исчез Сухов,— согласился Малов.

— Вызовите, пожалуйста, «Наяду»! — приказал Аркадий Семенович радисту. — «Крым» тоже. Пусть кто-нибудь из них ляжет в дрейф именно там, где потеряли штурмана. А то пробежек много, а толку никакого.

Аркадий Семенович ни на минуту не терял надежды на удачный поиск, тем более сейчас, когда солнце поднялось в зенит и туман начал спадать. Потерять человека, опытного рыбака, в штить, в районе, где столько судов — оправдания этому не было бы никакого! На берегу сейчас не знают о возникшей ситуации почти ничего, но уже утром на стол начальника управления будет положена бумага с дислокацией судов и с прочерками в графе «Вылов». На общефлотском совете придется держать ответ. Не найдут Сухова — значит плохо организовал поиск, найдут — все равно виноват: запаниковал, сорвал весь флот с рыбы, упустили сардину. Скажут, все флотилии с уловом и только ваша одна в пролове. Но дело не в упреках, Аркадий Семенович был готов к любым разносам, только бы сейчас сообщили: такое-то судно спасло человека.

Теперь он уже точно вспомнил Сухова. Они ходили вместе в креветочную экспедицию лет десять назад, когда Аркадия Семеновича только-только перевели из промразведки в штаб промысловых экспедиций. Тогда можно было руководить: суда работали на одну базу, выловы были небольшие, но простоев не было. Приспособились работать тралами с двойными мешками, а потом именно Сухов предложил ловить сразу тремя малыми тралами — и все суда стали подвешивать эти малые тралы на выстрелы. Десять лет назад Сухов казался ему стариком — человеку уже сорок, это представлялось недостижимым

пределом... И вот теперь так глупо уйти из жизни! Жена, любовница — запутался верно, бедолага... И все равно не понятно. Не для Сухова этот выход. Что-то здесь не так!

Шестинский отошел от радиостанции, склонился вместе с Маловым над картой, мысленно еще раз представил пути судов; маловато их, конечно, но все же достаточно, чтобы прочесать весь промрайон вплоть до островов, расположенных на самом севере. Нужно срочно узнать более точную карту течений: если Сухов еще держится на воде — надо подсчитать, прикинуть, насколько и куда его отнесло. А теперь еще узнать бы причину...

— Вы опросили своих людей, Петр Петрович? Друзья, приятели у Сухова есть? Кто его видел в последний раз? — спросил Аркадий Семенович у Малова. — Мы с вами должны найти причину!

— Разве сейчас поймешь, в чем она, причина. Отыщем Сухова — узнаем, — ответил Петр Петрович после некоторого молчания.

Он старался не смотреть на Шестинского. Не хотелось выдавать своих сомнений: каждое слово потом может обернуться обвинением. Шестинский начнет докапываться, полезет с расспросами и будет только мешать...

Прошло уже около восьми часов с того момента, как хватились штурмана, скорее всего поиск их бесполезен: продержаться столько времени на воде не хватит сил и у молодого парня. Ничем уже не поможешь Сухову, а если тот сам захотел уйти из жизни, то вряд ли стал бороться с водой. Дело могут так раздуть — потом век не отмоешься! Все может случиться: и с промысла могут отозвать, и так с грязью смешают, что не только с капитанским мостиком придется расстаться, а и вообще с морем...

Шестинский заметил, что Малов мнетя и, не по-

нимая причины, пытаюсь нащупать, в чем же здесь дело, опять стал задавать вопросы:

— Припомните, у него был с кем-нибудь конфликт? Рассказывал он о своих семейных делах?

Малов молчал, и, видя, что капитан безуспешно шарит по карманам куртки в поисках сигареты, Шестинский протянул ему пачку «Опала».

— Он вообще-то не говорил,— начал Малов после долгого молчания,— но не для кого не было секретом, что у него здесь, на плавбазе, есть любовница. Может быть, я виноват, вовремя не одернул. Знал, что он собирается разводиться с женой. Мы, кстати, с ним соседи. В последний свой отпуск он в городе не был, уехал куда-то и перед прошлым рейсом почти не показывался дома. Слишком много у него было срывов, выдержать это трудно. И с работой тоже... Хотел ведь, чтобы судно дали. Характер, если помните, не сахар: ждет, понимаешь, чтобы ему на блюдечке все поднесли! Я ему как говорил: «Собери документы, снеси в инспекцию»,— а у него воз ни с места. Ну и сиди штурманом!

Малов говорил быстро, глубоко затягиваясь и выпуская дым сильными короткими выдохами.

— Я, конечно, знаю Сухова хуже, чем вы, но приходилось с ним работать. Не похоже все это на него, чтобы вот так закончить! — сказал Аркадий Семенович.

Малов согласно кивнул, но сам Шестинский, его вид, его тон начинали раздражать. И без того тошно. А еще говорят, что не лезет никуда, если того не требует обстановка. И чего на базе не сиделось! Начнет теперь по судну бродить, людей тормозить. Доберется и до Ефимчука, и до Баукина,— еще неизвестно, что ему Витюня наговорил. Тоже в сыщики играет... Надо как-то успокоить Шестинского, отвязаться от него, срочно переговорить еще раз с Ефим-

чуком и со старпомом... Хорошо было в прежние годы — вообще не было в море никаких особых начальников. Выбирался из капитанов самый опытный, он и командовал. Чего паниковать, на то и море... Не круизы совершаем,— стоило ли весь флот будоражить? Наверняка и на берег во все инстанции сообщил, и там уже суматоха, жди: вот-вот потоком хлынут ценные указания, только успевай отвечать!

И по радио говорит Шестинский уж слишком подробно — на весь эфир идет, зачем такие подробности всему флоту знать? Неужели не понимает! Зачем все эти разглагольствования? Если ты начальник, так приказал — и точка. Потом будешь объяснять, в конторе, а здесь море, не богадельня! И ведь не только ему, Малову, не поздоровится на берегу: будут разбираться — начальника экспедиции тоже не обойдут...

После долгих переговоров с начальником промрайона Шестинский, наконец, согласился спуститься в отведенную ему каюту.

— Проведите Аркадия Семеновича,— приказал Малов боцману,— да не забудьте сменить там постель.

Кабюта, отведенная Шестинскому, была небольшой. Судя по всему, она принадлежала кому-то из комсостава, и хозяина ее на время поселили в другую каюту. На вешалке болталась кожаная куртка, на умывальнике остались флакончик одеколona «Свежесть», щетка, мыло, разные пластмассовые коробочки, на полках стояли лоции. Боцман принес чистые отглаженные простыни, стал менять белье, но Шестинский остановил его:

— Не стоит вам хлопотать: возможно, мне и не понадобится. Спать пока я не собираюсь.

Боцман ушел. Аркадий Семенович снял рубашку и поставил под кран плечи. Тело уже впитало тепло

дня, становилось душно, а на мостике предстояло провести еще не один час, надо было прогнать сон, усталость.

Он взял чистое полотенце, стал растирать руки, спину, и в это время в дверь каюты постучали.

— Входите,— разрешил он.

Дверь каюты растворилась, и перед ним предстал молодой парень с роскошными усами, подтянутый, в полной морской форме. Это было не совсем обычно. В рыбацком флоте форма только для берега: явиться в управление, в бухгалтерию за расчетом, иной раз в ресторан, а здесь, в море — заношенный свитер, кожаная куртка, может быть, и дешевая дубленка — в зависимости от широты; да еще бывает так — повезет капитану с выловом в какой-нибудь рубаше, так он и будет таскать ее на промысле, пока та не истлеет.

— Разрешите обратиться? — сухо спросил юноша.

— Обращайтесь, старший помощник,— сказал Аркадий Семенович, определив его должность по числу шевронов на рукаве.

...Сухов не представлял, сколько прошло времени. Он чувствовал, как все тяжелее дается ему каждое новое движение рук. Мускулы буквально задеревенели, хотелось пить, мысли смешались, перестали быть четкими, и только в глубине сознания все время билось: выдержать, не терять надежды. Его несколько приободрило то, что пелена тумана стала теперь не сплошной, вверху посветлело, вокруг видна вода, хотя еще и на очень небольшое расстояние... Теперь вдвойне надо экономить силы. По-прежнему, вот уже сколько часов,— вокруг только вода, хорошо еще, что это теплая вода тропиков... От того, что солнце было скрыто за дымкой и не достигло поверхности океана, она казалась совсем темной. И пусто-

та вокруг — только отражение в черном глянце воды бегущих полос мглы, их крутящихся клубов, завихрений. Вчера казалось — самое страшное позади. И только пережив эту ночь, он понял, что страшнее всего потерять надежду. Надо держаться, держаться...

Руки должны обеспечить такое положение, чтобы можно было дышать, никуда не плыть, просто сохранять силы. Ночью он запаниковал и непростительно глупо растратил силы. Надо было сразу — просто держаться на воде. Раньше в критические моменты он не ошибался, а здесь, не думая, рванулся, куда-то поплыл, заметался в воде как рыба, ищущая выхода из сетей. Забыл основное правило: очутился за бортом — не суетись, береги силы, береги тепло, — держись на плаву, тебе все равно не догнать, не найти судна. Оттуда сами заметят тебя, подойдут, кинут спасательный круг, спустят штормтрап, подплывут на шлюпке.

Хорошо еще, удар Ефимчука пришелся чуть вскользь. Удар ребром тренированной ладони по самому уязвимому месту — шейной артерии. Даже нанесенный вскользь, потому что Сухов почти интуитивно сделал легкое движение плечом, удар мог стать роковым. Он очнулся в воде. Почти механически, не сообразуя движений, задержал воздух в легких, всплыл, рванулся к судну, вернее, в том направлении, где, как ему казалось, должно было быть судно. Вокруг ни огонька, ни одного ориентира — густая непроницаемая тьма. И даже когда забрезжил рассвет, он не приоткрыл завесу: сплошная темнота сменилась густой белизной. Белое молоко вокруг, мир, закутанный непроницаемым слоем мглы. Он пробовал кричать — бесполезно! Звук вяз в пространстве, натываясь на безответную ватную стену...

Только через час он услышал тающие вдали гуд-

ки судовых тифонов,— они прорвались к нему на какое-то мгновение. Он попытался плыть в их сторону, но спасительные гудки исчезли, растворились в тумане — и опять не стало никаких ориентиров. Еще раньше, до этих звуков, он неожиданно попал в мессиво снулой рыбы, в поток белых вздутых брюшек. Это была умирающая, задохнувшаяся сардина. И по гудкам тифонов, и особенно по этому всплывшему потоку рыбы он понял, что на «Диомеде» хватились его и ищут: рыба эта выпущена из кошелька его судна, они пожертвовали уловом! «Диомед» здесь, рядом, он крутится совсем близко! Мертвая рыба была вестником близкой помощи, спасения, но отняла столько сил...

Руки его вязли в скользкой липкой массе, чешуя набилась в волосы, лезла в глаза. Он с трудом, напрягая все силы, выбрался из этого расплывающегося желе, и туман поглотил то, что когда-то было подвижным косяком. Когда он кончил бороться с рыбой, а вернее тем, что несколько часов назад было рыбой,— бьющейся, упругой, верткой, а теперь вздувалось, заполнялось водой, чтобы медленно осесть на дно, когда он выбрался, оттолкнулся от мертвых белых слоев, гудки стихли — мир погрузился в плотное молчание, где каждое движение порождало звонкий всплеск и болью отдавалось в ушах.

Отчаяние охватило его, и хотелось — это желание было сладким и неотступным — прекратить всякие движения, дать отдохнуть напряженным мускулам, не хватать жадно сырой воздух, пропитанный туманом, скользнуть вниз, в глубину, в холодные слои, прозрачные, тихие и бесконечные. Желание это было неотступно как наваждение,— разом покончить со всеми мучениями. Но там, на борту «Диомеда», оставался Ефимчук, для которого гибель его, Сухова, означала жизнь, дальнейшее существование в ли-

чине классного повара, находящего путь к людям через желудок, и ребята на «Диомеде» еще будут благодарить этого гада, ни о чем не догадываясь, а он дождется подходящего момента — и уйдет туда, за границу. И еще оставалась в этой жизни на борту плавбазы «Крым» одинокая женщина, которая снимет в печали и которой уже невозможно начать все сначала. Сухов осторожно перевернулся на спину: так держаться на воде было легче, — можно лишь слегка шевелить ладонями и перебирать ногами. Правда, наблюдать горизонт труднее — видно только небо вверху, голубые поляны среди белого снега, прогалины света.

К жажде и усталости прибавилась еще одна беда: сжало грудь слева, где сердце. Это колотье уже несколько лет беспрестанно давало о себе знать. Каждая медкомиссия на берегу могла стать последней, особенно с того времени, как в рыбацкой поликлинике стали делать кардиограммы под нагрузкой. Приборы обманывать становилось все труднее, хотя он задолго готовился к встрече с ними: старался больше бывать на свежем воздухе, отбросить все неприятности, забыть о них.

Теперь вода помогала сердцу: смачивала грудь, защищала от духоты. Но солнце все отчетливее пробивалось сквозь рваные полосы тумана, и жара могла превратиться в очередную пытку. Но это еще было впереди, а сейчас видимость должна была помочь тем, кто ищет его в океане — иголку в стоге сена, песчинку в огромном взмыве береговой дюны, с чем еще можно сравнить себя?.. И все-таки глупо сдаваться, надо продержаться во что бы то ни стало. За плечами у него была долгая жизнь, и он знал, что человек может вынести все, что нет предела его силе, если есть цель, ради которой он должен превозмочь себя. Он убедился в этом совсем молодым



парнишкой, когда в партизанском лагере, зажатые в кольцо карателями, обреченные на смерть от голода, огня, пули,— все-таки выстояли, сумели собрать силы, и на рассвете вот в таком же плотном тумане сжались в кулак,— прорвались, уцелели. Голодные и истощенные, увязая по горло в трясине, казалось, непроходимого болота, совершили почти невозможное и никого не бросили, не оставили на стоянке, никого...

Был и другой путь выжить, это было так просто — один шаг, и ты уже в чужой крови, и ты властен над жизнью другого. Этот шаг делали такие, как Ефимчук. У тех, с кем столкнула его жизнь в партизанском лагере, даже мысли такой не было — спасти свою шкуру ценой предательства.

Наверное, с тех лет и привык Сухов к тому, что человек, если он хочет остаться человеком, не имеет права ловчить и изворачиваться. И стоило ли ему перекраивать свою натуру? Если жизнь ставит на грань, за которой может оборваться нить, но обойти которую — значит отступить и сдаться — выход может быть только один — бороться! Конечно, есть и такие люди, которые стараются жить на грани подлости: ни во что не влезать, существовать лишь для себя, стоять от всего в стороне. А чего добиваются они? Страх пребывает с ними, постоянный страх за свою жизнь, постоянное ожидание расплаты — и в этом ожидании заключена их обреченность. Никогда нельзя предавать себя. Он, Сухов, не раз бывал на самом краю жизни. И понял — только от самого себя зависит: поддаться обстоятельствам или выйти победителем из борьбы с ними...

Хотелось пить, соленая теплая вода на миг смягчала губы, а потом эта соль, оставшаяся во рту, разъедала нутро, усиливала жажду. Руки и ноги почти не слушались, их как будто облили гипсом, мыш-

цы и сосуды стянуло, сдавило, и тысячи иголок вонзались в сердце. Выдерживать все это, казалось, уже не осталось никаких сил. Он подумал о том, что все, что было с ним в жизни, сейчас уйдет, закончится вместе с ним, вместе с тем мгновением, когда вода хлынет внутрь и не будет уже возможности всплыть, вытолкнуть соленую влагу из легких, вдохнуть чистый воздух! Неужели это последние мгновения? Но почему именно теперь, какая нелепость...

Взяли отличный улов, конечно, вне сомнения, сдавать рыбу предстояло на «Крым». И как прекрасно было в эту ночь стоять на крыле рубки и сквозь пока еще редкий туман смотреть на далекие огни базы, лежащей в дрейфе справа по борту, и знать, быть уверенным, что там его ждут, очень ждут... И вдруг тень метнувшаяся на ют, шуршание, возня. И эта его привычка действовать сходу — зачем было так спешить! Куда бы он делся, этот гад! Спугнул только! Надо было подняться в рубку, дать сигнал аврала — и все на ногах... А если бы он не успел? Ведь туман... Мог ведь скрыться, мог уйти, подлец! И почему не раскусил его раньше? Где же твое хваленое чутье, Сухов? Не надо было рваться в рейс, осел бы на берегу, в конторе... Снова резко кольнуло сердце. Он постарался сделать как можно более глубокий вдох. Уже развиднелось вокруг, и вода посветлела. Видно стало, как юркие рыбешки проносятся мимо, расплывчатые медузы тают, вздымаются из воды, как будто дышат, рыбы уже не остерегаются его — чувствуют, как слабы его движения, с каким трудом он держится на воде и сипло дышит приоткрытым ртом... Внезапно он почти отключился и, не удержавшись, как-то боком на мгновение погрузился в воду, глотнул соленой воды, охнул, оглядывая в последний раз пространство вокруг, и не поверил своим глазам — серая растущая тень скользила сле-

ва! Он разглядел иллюминаторы на борту, надстройку на баке и отчетливую надпись под ней: «Наяда». Откуда только взялись силы — он рванулся вперед, пошел саженками, разгребая воду, захлебываясь, на секунду приостановился, вытолкнулся из воды, хотел крикнуть: «Помогите, здесь я! Сюда!» Но из гортани вырвалось нечто нечленораздельное, сиплое: а-а-а. Тень борта быстро уменьшалась, хотя сейнер наверняка шел малым ходом — каких-нибудь пять узлов, но ему, Сухову, казалось, что судно отдаляется неизменно быстро... Вот уже и надпись на борту стала неразличимой, вот уже не видно надстройки... Куда же они, куда?.. Сухов попытался сильнее отталкиваться от воды резким гребком, но руки не слушались его, а силуэт судна все уменьшался, уходил от него в дымку тумана, таял на глазах, пока совсем не растворился в дали. Просто, может, воображение нарисовало этот манящий остров тепла, спокойствия, остров спасения? Теперь — конец, можно подводить итоги, уже все! Он мысленно простился с друзьями и решил думать только о Людмиле. Наверное, мечется растерянно по палубе плавбазы! Это ее отчаяние передавалось ему. Только бы выдержала она, только нашла бы в себе силы пережить все! Он вспомнил последний их разговор на плавбазе, долгое прощание и ее слова: «Ты для меня свет в окне, и не представляю, как я жила до нашей встречи»... А какие ласковые, теплые руки у нее, какой завораживающий голос: «Милый, милый, нет силы такой, чтобы разлучить нас...» Говорит и вдруг стихает, и какая-то тревога охватывает ее. Может быть, она предчувствовала, что должно что-то случиться, недаром говорят, что у женщин есть какая-то своя, особая интуиция. Она все время боялась потерять его. Для нее это тоже было последней вспышкой, последней надеждой. Он сам рассказал обо всем жене, чтобы

упредить доброхотов, сам. Жена тогда не поверила: «Не выдумывай, кому ты нужен, ты уже ни на что не способен, посмотри на себя». «Я хочу сына,— сказал ей тогда он, Сухов,— я хочу, чтобы кто-то остался на земле после меня!» «А чем я виновата, я, я-то как!» — ответила жена и заплакала.

Он не переносил женских слез. Морская вода как слезы. Если бы она была чуть преснее, один глоток спас бы его сейчас... дышать нет сил, и боль слева, проклятая сдавливающая тяжесть. Круги перед глазами. Держаться, во что бы то ни стало держаться! Ведь не одна «Наяда»! Не одна!

Солнце прорвалось сквозь туман и перестало быть союзником. Теперь оно несло не только свет, но и зной, ослепляющую жару тропиков...

— Разрешите, я сяду? — спросил старший помощник у Шестинского. Аркадий Семенович кивнул, хотя визит был не совсем ко времени.

— Только покороче, что у вас?

— Я хотел ввести вас в курс дела, полагаю, капитан о чем-то умалчивает,— сказал старпом и замаялся, видимо, понял, что выглядит это не очень красиво, вот так сразу оговаривать капитана, и подумал, что Шестинский сейчас оборвет его.

— Ну, ну, продолжайте, постарайтесь говорить только по сути, у меня совершенно нет времени,— сказал Шестинский и натянул куртку, показывая тем самым, что он незамедлительно должен покинуть каюту.

— Видите ли, я полагаю, что Сухов не просто упал за борт. Я долгое время наблюдал за поваром,— он у нас какой-то странный человек, на мой взгляд... Он о чем-то беседовал с капитаном, я не в курсе дела, но матрос Баукин утверждает, что повар ночью был с Суховым на палубе и они кричали друг на

друга. Вообще-то Сухов и раньше недолюбливал повара, считали, что Сухов придирается к Ефимчуку, но главное не в этом, а в том, что спасательный плот был разнайтован и там лежал запас ракет,— я докладывал капитану. Я думаю, надо срочно разобраться, просто так Сухов не мог исчезнуть. Вот и все, пожалуй. Могу изложить это в письменном рапорте.

Старший помощник замолчал, и лицо его налилось краской, покраснела даже шея, и это сильно подчеркивал воротничок ослепительно белой рубашки.

«Кто он,— подумал Шестинский,— начинающий карьерист, метящий в капитаны, на место Малова, или просто мальчик с богатым воображением? Зачем Малову что-то скрывать. И все-таки какие отношения у него были с Суховым? Что здесь на самом деле произошло?»

— Мне не нужен письменный рапорт,— Шестинский приподнялся из-за стола,— вы сказали, что сообщили обо всем капитану?

Старший помощник молча кивнул.

— Ладно, я сейчас же вызову Ефимчука,— сказал Аркадий Семенович.

— И еще, по-моему, надо связаться с иностранцами. Здесь ведь рядом работают и болгары, и японцы, — как-то не совсем уверенно высказал свое предложение старший помощник.

— Вы и Сухова тоже подозреваете? — спросил Шестинский.

— Ни одно из обстоятельств нельзя исключать...

— Хорошо, идите, я сейчас...

Старпом резко поднялся, ловко повернулся на каблуках и, вероятно, хотел также четко выйти, но тут судно качнуло зыбью, зазвенел в подставке графин, и все звуки заглушил вой тифона.

Шестинский вслед за старпомом выскочил из каюты.

На палубе никакой суеты, все на местах. Тифон врубили для Сухова, если тот где-то рядом и еще держится.

Шестинский видел, как старпом не спеша поднялся в рубку. У борта стояли матросы, почти вся команда. Кто же из них Ефимчук? И кто дал право этому юнцу подозревать всех? Хотя кое к чему надо прислушаться, во всяком случае, и с иностранцами надо связаться... А главное, срочно расспросить Ефимчука, без Малова, самому...

Ефимчук пристроился на запасных сетях, сложенных за рубкой: отсюда хорошо видно все, что происходит на палубе, открывается обзор и по правому борту, и за кормой. Более удачное место трудно было отыскать. Именно здесь он был в наибольшей безопасности. Сидеть, запершись на камбузе, покорно ждать исхода событий было явно глупо. Не все еще потеряно. Вот только туман некстати слишком быстро рассеивается, но одно успокаивает — времени прошло предостаточно. Какой бы опытный пловец ни был Сухов, ему не продержаться так долго, да и где им отыскать здесь человека! Это ж океан, а не лужа... Даже суда, идущие вдалеке, кажутся маленькими пятнами. А если каким-то чудом найдут, спасут, — он, Ефимчук, сразу заметит это отсюда, сверху; единственный выход тогда — опередить всех, крикнуть что-нибудь, вроде «ах ты, сука, сбежать захотел» — и пырнуть ножом... Пусть потом разбираются... Сухов — единственный свидетель, другие, в том числе и Баукин, ничего не смогут доказать. Напрасно только Малову сказал, что пытался остановить Сухова, надо было все отрицать. А с другой стороны — капитану ведь тоже выгодно промолчать, не губить же самого себя! Надо еще раз с ним поговорить, убедить его, что не стоит в этом деле копать-

ся... И совсем некстати начальник экспедиции явился. Нет, рано еще хоронить Ефимчука, он сам еще кое-кого похоронит, чтобы не путались под ногами. Если Сухова не спасут, остается Баукин, тоже штучка. Знать бы, что он сумел разглядеть в темноте этой ночью. Как бы там ни было, его надо или убедить, что именно Сухов хотел удрать, или отправить вслед за Суховым. Жаль, но сегодня уже нельзя этого сделать, слишком подозрительно: два утопленника, один за другим. По приходу в порт все тогда перевернут, до каждого докопаются, придется скрываться сразу, не ожидая расчета, сменить документы, махнуть на самый глухой прииск, только бы жить, только бы выкарабкаться... Баукин жаден до денег — на этом надо сыграть и сделать его своим союзником. Тогда все, тогда и Сухов не страшен...

Ефимчук приподнялся с сетей, он стоял теперь на коленях и всматривался в спины матросов, столпившихся у фальшборта. Баукин тоже был среди них: рыжеватые волосы, бритый затылок. «Ждут,— зло подумал Ефимчук,— надеются... Надо было бы тоже стоять среди них, хотя, нет, не стоит мозолить глаза Малову... мало ли что вздумается капитану, поговорить надо один на один, не иначе».

Ефимчук дождался, когда Баукин отошел к надстройке, осторожно высунулся из-за портала мачты и окликнул матроса. Баукин сразу обернулся, недоумевающе посмотрел, потом шагнул к порталу, — теперь их уже никто не мог заметить, и Ефимчук крикнул:

— Эй, Баукин, поговорить надо!

— О чем? — недовольно буркнул Баукин.

— Да ты подойди, присядь сюда, да ты что,— Ефимчук старался говорить как можно мягче.

Баукин подошел ближе, в его движениях чувствовалась настороженность. Надо было не испугать

его, как-то аккуратно вовлечь в разговор, добиться, чтобы сам рассказал, что он видел, что знает...

Неожиданно Баукин начал первым:

— Ты что затаился, думаешь, не докопаются до тебя...

— До меня? Почему? — произнес с удивлением Ефимчук. — Ты что это выдумал, малый? Я первый о Сухове капитану рассказал, это уж потом ты. Не веришь? Могу доказать! Ты только не распространяйся, это между нами: штурман этот давно, видать, смыться хотел, не раскололи мы его сразу. Теперь весь заработок наш плакал из-за этого гада!

— Смыться? — с недоумением переспросил Баукин. — Он-то на вахте был, а ты чего на палубу выполз ночью, что ты там забыл?

— Картошка там у меня, в ящиках, что, не знаешь? Идем покажу...

— А зачем она тебе ночью? — возразил Баукин. — И нашел место картошку держать...

— А куда я ее дену, провизионка вся забита!

— Давай-ка пойдем к капитану и там разберемся, — неожиданно предложил Баукин.

Такого поворота Ефимчук никак не ожидал, надо было во что бы то ни стало остановить Баукина.

— Тебе нужны доказательства? Мне ты не веришь! Пошли в каюту, я тебе кое-что покажу. Сразу все поймешь, и кто такой твой Сухов, узнаешь!

Баукин помялся, но все же после некоторого раздумья двинулся за Ефимчуком.

В каюте повара Баукина сразу как-то поразила пустота. Чем было вызвано это впечатление он в первый момент не понял и догадался только когда осмотрелся и привык к полумраку: стены голые. Обычно у всех в каютах на переборках фотографии, здесь же — ничего: ни фотографий, ни цветных картинок из журналов. Пусто. Вот у него, Баукина,



прямо над койкой — Алена с дочкой,— большая фотка, сосед сделал, не хуже, чем настоящий фотограф, а рядом фото — дом отцовский. Посмотришь на него, на тополя, виднеющиеся за крышей, на пристройку с резными ставнями — и сразу все оживает, припоминается, и будто не в море ты, а там, на скамейке, что на фото не видна. Да и у соседа тоже на переборке сразу пять фотографий, а здесь, у Ефимчука, странно как-то: каюта вроде бы и без хозяина.

Ефимчук между тем вынул из-под матраса полиэтиленовый пакет, бросил на стол и крикнул:

— Вот смотри, смотри — что это!

В пакете были деньги, толстая пачка сотенных.

— Видишь,— продолжал Ефимчук,— видишь, что отобрал у Сухова! Какие могут быть еще доказательства?! Здесь ровнехонько десять тысяч. Давай разделим пополам — и точка. За хороший рейс столько не отхватишь. Разделим — и молчок! Какое наше дело? Пусть начальники разбираются, им за это деньги платят! А наше дело не соваться. Правильно я рассуждаю?

Баукин испуганно отстранился от стола, но продолжал смотреть на пакет. Ефимчук высыпал из него деньги: купюры были новые, одна к одной.

— Смотри,— видя колебания матроса, настаивал Ефимчук,— ты на меня тень бросаешь, а я могу тебя тоже под монастырь подвести: ты-то сам зачем полез ночью на палубу, а может, ты сообщник Сухова?

Ефимчук разделил пачку надвое, не считая, резко поднялся и, подойдя вплотную к Баукину, сунул купюры в карман его куртки.

— Ну вот и порядок, вот и порядок,— повторил он несколько раз.

Баукин, ошеломленный происходящим, не нашел сразу, что сказать. Встал и попятился к выходу.

— Значит, договорились,— заключил Ефимчук.

Баукин кивнул.

Когда он вышел, Ефимчук в приоткрытую дверь продолжал наблюдать за ним. Баукин прошел по узкому коридору, споткнулся о комингс, оглянулся, потом убыстрил шаги, но, не сворачивая, двигался дальше. «Значит, идет к себе,— понял Ефимчук.— Значит, удалось, все в порядке. Спрячет деньги и будет молчать как миленький — кто от такой суммы откажется!» И, чтобы окончательно убедиться, что Баукин сейчас спустился по небольшому трапу, ведущему к его каюте, Ефимчук вышел в коридор и, подождав, пока Баукин скроется из виду, быстро подскочил к трапу, а затем скользнул вниз.

Баукина нигде не было. Ефимчук рванулся к каюте — заперта: так быстро успел уйти? Нет, скорее всего и не заходил... Неужели сразу в рубку к капитану, неужели он, Ефимчук, опять ошибся, не рассчитал что-то? Нет, не может быть! Он поднялся на палубу, высунулся из тамбура: наверху, в рубке, вахтенный о чем-то беседовал с тралмастером, говорили спокойно. Ефимчук посмотрел вдоль борта и справа за лебедкой увидел Баукина. Матрос быстро шел кому-то навстречу, так и есть — капитану... вот они сошлись, значит — конец? Неужели нет больше выхода? Ефимчук, быстро перебирая ногами ступени крутого трапа, ринулся в машинное отделение...

В рубке вахтенный — третий помощник, тоже совсем молодой парень, еще моложе старпома, что-то напряженно выслушивал по телефону. «Набрали сосунков,— сердито подумал Шестинский,— вот они и играют здесь в казаков-разбойников».

— Где капитан? Доложите, как идет поиск, что нового! — потребовал Шестинский у вахтенного.

Третий помощник не обратил внимания на его вопросы.

— Срочно вызовите мне капитана,— приказал Шестинский.

— Капитан в машине,— ответил вахтенный и уже в телефон крикнул: — Да знаю я, лаз туда идет из румпельного, знаю, ясно, Петр Петрович!

Шестинский выбежал из рубки, спустился по вертикальному трапу, пробежал по коридору — дверь в машинное отделение была открыта. Внизу, на площадке, он увидел Малова, старшего механика Кузьмича, боцмана и еще нескольких человек. Все они были чем-то взволнованы. Главные двигатели не рождали обычного грохота, застыл без движения коленчатый вал, замерли поршни, только слева у переборки тарахтел аварийный движок. «Не хватало еще остаться без главных, потерять ход, и именно сейчас, когда так дорого время! — зло подумал Шестинский. — И чего торчать в машине Малову, и без него разберутся. Надо выяснить все с этим непонятным поваром да возвращаться на базу».

По маслянистой рифленке пайол Шестинский подбежал к людям, собравшимся у входа в рефотделение.

— Да подаст он воду наконец, или нет! — кричал Кузьмич.— Распустили людей, я же говорил.

— Я газосваркой в пять минут могу переборку вырезать,— предложил моторист с худощавым лицом и острым носом, похожим на клюв.

— Я тебе дам переборку курочить — так доставим! — остановил его Кузьмич.

Малов, заметив Шестинского, отделился от споривших и, подойдя к нему, постарался отвести подальше от злополучной переборки.

— Что у вас за бардак на судне? Нельзя на минуту уйти из рубки! Вы должны вести поиск, а вместо этого толпитесь в машине. Безобразия, — раздраженно выдохнул Шестинский.— И потом, что вы

скрываете от меня? Надо срочно вызвать этого вашего повара и разобраться в обстоятельствах исчезновения Сухова. Если вы сами не смогли этого сделать как положено, то позвольте мне заняться!

— Теперь поздно,— мрачно остановил его Малов.

Из сбивчивого торопливого объяснения Малова Шестинский узнал о всех подозрениях капитана и о том, что произошло за тот короткий промежуток времени, на который он покинул рубку. Оказывается, Ефимчук заперся в рефотделении и задраил переборки. Что он задумал, никто не знал.

— Не выпустил бы аммиак, будет тогда,— заключил Малов.

— Он там дел натворить может, это точно,— добавил подошедший Кузьмич.— И не выкуришь его, таракана, задраился!

— Я думаю, это он с перепугу! Кишка тонка! Дадим воду — сам выскочит! Да скорее же — врубайте насосы! — приказал Малов.

— Петр Петрович! — перебил их моторист.— Шланги с палубы подали, там Вагиф, я насосы включаю, не беспокойтесь!

— Вот из-за одного подонка как расхлебываемся! И кто он такой — может, вообще рецидивист! — крикнул Кузьмич.

Среди моряков не чувствовалось ни растерянности, ни суеты. Они были уверены, что никакие фокусы Ефимчуку не помогут.

Малов распоряжался четко и спокойно, но именно это спокойствие вызывало раздражение у Шестинского. Неужели капитан не понимает, что именно он не разобрался своевременно и тем самым прикрыл Ефимчука. А ведь были у него серьезные сигналы... Отбросил он их по простоте душевной или не только по простоте? После доклада старпома надо было немедленно взять Ефимчука, запереть, поставить охра-

ну. Это ведь вполне в его власти! Так нет, ничего не предпринял, пока Баукин не явился к нему с пачкой денег! И чем бы ни кончились события — теперь скандала на весь флот не избежать...

В машине горели только лампочки аварийного освещения, было тускло, и Кузьмич, побежавший наверх, споткнулся о трубопровод. С грохотом лязгнула пайола, сверху что-то закричали. Моторист стал подтаскивать баллоны с кислородом. В машину спустились Вагиф и старпом. Они начали открывать аварийный лаз, ведущий в рефотделение, — оказалось, что Ефимчук прикрыл его неплотно, задвижка поддавалась. Теперь надо было как-то отвлечь повара и проникнуть в моторный отсек через лаз. Шестинский согласился — так будет проще. Моторист схватил запасной поршень и стал бить им по переборке.

— Да не поймет он, — крикнул Кузьмич, — стучи хоть до посинения! И на главные двигатели воду перекрыл, вот незадача!

— Давайте я поговорю с ним! — предложил Шестинский.

— Если он еще возьмет трубку, — сказал Малов. — Мы уже пробовали.

После недолгого молчания в трубке послышалось: «Да, что еще надо?»

— Слушай внимательно, Ефимчук! Говорит начальник экспедиции. Всякое упрямство бесполезно, здесь двадцать опытных моряков, ты один против всех! Здесь не самолет, пугать некого! Добровольная сдача — вот единственный выход для тебя. Как понял? — Шестинский ждал ответа. В трубке что-то сипело, стучало. Он на мгновение оторвался от телефона и увидел, что ни Малова, ни Вагифа в машине нет. Только один Кузьмич пыхтел рядом, откручивал клинкет на водяной магистрали, чтобы подать

воду на главные двигатели. Да еще моторист спустился вниз на помощь стармеху.

— Где же все? — спросил Шестинский.

— Там,— Кузьмич показал рукой на подволок.— Через аварийный полезли!

Шестинский передал трубку Кузьмичу, приказал ему не отпускать моториста, так как не исключено, что когда Ефимчук заметит ребят, то попытается удрать через машину,— и побежал наверх, через коридоры на юг, к аварийному входу. Матросы толпились около лаза, заглядывали внутрь. Он растолкал их и ввинтил полнеющее тело в узкий темный овал. Придерживаясь за скоб-трап, Шестинский не спустился, а съехал вниз, одерябав ладони. Клинетная дверь была открыта, он пролез внутрь, выпрямился и увидел мечущихся людей за конденсатором. Что-то кричал Малов и размахивал своими длинными руками.

— Ах ты подонок! Ах ты абрек недоношенный! — перекрывали всех возгласы Вагифа.

— Спасите, я не виноват,— визжал Ефимчук.

— Стойте,— закричал Шестинский, бросаясь к Малову. — Что вы делаете?!

Разгоряченный Малов ничего не слышал. Шестинский встал между ним и Ефимчуком.

— Ефимчука отвести наверх, глаз с него не спускать, — приказал он. — А вы, Малов, стойте здесь, успокойтесь! — Шестинский плечом потеснил Малова, отодвигая его от Ефимчука.

И когда Ефимчука потащили по вертикальному трапу, Шестинский придвинулся к Малову почти вплотную и сказал:

— Я отстраняю вас от руководства судном, дела сдадите старпому, письменное подтверждение берега получите завтра, и учтите, если не спасем Сухова, будут другие меры!

Туман развеялся, последние его клубы поднялись высоко в небо и там расплзались под лучами тропического солнца. Поверхность моря заиграла светящимися бликами. Плавбаза «Крым», медленно раздвигая форштевнем зеркальную гладь, приближалась к району поисков. С выступа носовой надстройки Людмила Сергеевна видела, как плавно гаснут вдали волны, сливаются друг с другом, и след, широкий и белый, означающий движение базы, там, за кормой, загибаясь, тянется к горизонту. Отсюда сверху ей было видно движение на палубе, слышны команды капитана, стоящего палубой выше, на мостике. Теперь, когда туман спал, она воспрянула духом, и то, что сейчас поиском занимается база, означало, что и она вместе с базой движется к тому злосчастному месту, где Сухов исчез с «Диомеда».

— Стоп — машина! — крикнул наверху капитан.

База прошла чуть вправо по инерции и замерла, сгладилась поверхность воды, стерся след за кормой.

— Ботя,— крикнул капитан, он всегда называл так боцмана,— ботя, готовь шлюпки!

На широкой палубе забегали матросы в оранжевых нагрудниках, заскрипели шлюпбалки. Боцман по трапу поднялся в шлюпку, медленно отодвигающуюся от борта. Шлюпка замерла в воздухе на невидимых таях. С борта спустили штормтрап, у которого уже собрались матросы.

— Все катера готовь, ну что за народ! Ботя, все, а не только третий номер! — крикнул капитан в мегафон и забубнил что-то уже неразличимое.

Людмила Сергеевна оторвала взгляд от шлюпок и снова с надеждой начала всматриваться вдаль, в поверхность океана. Вдруг слева по носу базы у самого горизонта низко над водой она разглядела чаек. Черные точки кружились на одном месте.

— Посмотри Аверьяныч,— крикнул наверху ра-

диет,— видишь, чайки вдали... Кружатся на одном месте!

Значит, тоже заметили!

— Просто так птицы не будут кружить, дай-ка бинокль посильней,— сказал капитан.

Людмила Сергеевна почувствовала, как все внутри у нее напрягается, а вдруг... она даже боялась подумать, чтобы не спугнуть догадку. Просто стоять и ждать она не могла, мгновение — один полет трапа — и взлет на мостик. Вахтенный, даже не ожидая ее просьбы, протянул бинокль. Линзы приблизили чаек, но больше ничего рассмотреть было нельзя.

— Разрешите мне, Аверьянович, ради бога, разрешите на шлюпку...— она придвинулась почти вплотную к капитану.

— Ботя,— крикнул капитан,— а ну затормози!

Катер замер на таях, едва касаясь воды.

Людмила Сергеевна помчалась вдоль борта к штурмтрапу. Там, внизу, на шлюпке ждали не только ее, где-то замешкался доктор. Снизу махнул рукой боцман: скорее, скорее!

Людмила Сергеевна закрыла глаза и перешагнула через фальшборт. Кто-то поддержал ее, перегнувшись через планшир, и она уже смелее нашарила ногой следующую перекладину. Внизу ее подхватили, усадили на банку. Затарахтел мотор. Прыгнул сверху длинный и неуклюжий доктор. Катер рванулся, взял с места скорость и взвил веер брызг. Борт базы отодвинулся, стал уменьшаться. Боцман высунулся, навис с биноклем прямо над водой, чайки, испуганные приближением катера, поднялись, запарили вверх.

— Вижу! — Закричал боцман. — Вижу!

Теперь уже и без бинокля все увидели черную точку впереди. Катер накренился, подворачивая к ней. Ближе, ближе.



— Сережа! — не выдержала Людмила Сергеевна.

В воду полетел спасательный круг, завертелся в воздухе, плюхнулся, не долетев до черного бугорка, то всплывающего, то исчезающего с поверхности воды.

— Лево руля, скорее, он тонет! — крикнул боцман.

Одним движением он скинул куртку и тут же прыгнул в воду. На катере сбросили обороты мотора, и он медленно заскользил за боцманом. А тот, отфыркиваясь, уверенно вскидывал руки и уже был рядом с едва держащимся на поверхности человеком. Вот он обнял его в воде и потащил к борту катера. Несколько рук потянулись им навстречу, доктор свесился к самой воде. Сухова аккуратно втащили в катер, боцман подтянулся на руках и, шумно отдуваясь, перевалился через борт.

Черты лица у Сухова заострились, само лицо было белое, страшное, глаза сузились. Людмила Сергеевна бросилась к нему. Боцман оттолкнул ее. «Доктор! — крикнул он. — Дыхание давай!» Теперь доктор заслонил от нее Сухова, стал массажировать ему грудь, вытягивал руки, через небольшие промежутки времени нагибался к лицу, вдувал воздух в рот. Людмила Сергеевна протиснулась ближе.

— Воздух! Ему нужен воздух! — крикнул доктор. — Не заслоняйте!

— Сережа, очнись, это я! — Людмила Сергеевна наклонилась совсем близко к его лицу.

Стеклянные застывшие зрачки на мгновение вдруг ожили, он вздрогнул, застонал и с трудом прохрипел:

— Ефимчук, запомни, Мила...

Лицо его дернулось, он силился договорить еще что-то. Доктор прижал ухо к его груди, потом судорожно стал растирать ее, массировать.

— Пульс, следите кто-нибудь за пульсом! — приказал он.

Людмила Сергеевна обвила пальцами запястье свисавшей беспомощно руки. Сначала пальцы не ощущали ничего, кроме холода и тяжести, потом легкий толчок, едва различимый, потом еще и еще!

— К базе, надо успеть, быстрее же! — взмолилась она.

— Успокойся, самое страшное позади, — сказал доктор.

На катере затарахтел движок, но база и сама приближалась к ним, ее спасительный огромный борт был совсем рядом, и там одновременно со штормтрапом уже спускали носилки.

## ОБ АВТОРЕ И ЕГО КНИГАХ

Сначала были рассказы. Более двадцати, опубликованных в областных газетах, буклетах, коллективных сборниках. Это были первые шаги в литературе молодого докмейстера Олега Глушкина, выпускника Ленинградского кораблестроительного института. Он органично вошел в среду молодых калининградских литераторов, имея за плечами хорошую школу объединения при «Лениздате», руководимого известным писателем Геннадием Гором. Но еще лучшим учителем была жизнь рабочего коллектива кораблестроителей, ремонтников, портовиков, где нашел начинающий писатель и сюжеты своих первых рассказов, и героя, с которым и сейчас, через много лет, не торопится расставаться — чудаковатого правдолюбца Лешку Вислина, очень «неудобного» для разного рода приспособленцев и проныр.

Портовый рабочий Вислин открывает ту галерею героев, которых привел с собой в литературу Олег Борисович Глушкин. Это не романтические «морские волки», покорители морей, герои «Алых парусов». Автор с самого начала как бы выбирает своим материалом прозу экзотики, принципиально пишет о море «без подсинивания». Его герои работают на палубах, в трюмах и на капитанских мостиках рыболовных сейнеров и траулеров, трудятся в доках

и различных береговых службах. И о чем бы еще ни писал Олег Глушкин, в глазах читателей и сразу приметивших его критиков он начинается в литературе именно как писатель-маринист.

В 1967 году в Калининградском книжном издательстве выходит сборник «Восходящий поток» — это дебют двух местных литераторов: О. Глушкина и А. Солоницына. Дебют удачен, но для первого автора это уже пройденный этап — жизненный и литературный опыт требуют вылиться в новую, более сложную и зрелую форму. Так рождается повесть «Пятый док». Ей недаром предпослан подзаголовок: «Записки докмейстера». В ней — выстраданное, передуманное и пережитое. Может быть поэтому повести суждена долгая и трудная дорога к читателю. Док — это не просто ремонтная площадка. Здесь формируются и человеческие качества. Ищет свою дорогу в сложных отношениях с окружающими людьми молодой докмейстер Борис Андреевич, от лица которого ведется рассказ. В течение нескольких дней, когда поднимают в док и ремонтируют траулер «Загорск», разворачивается конфликт молодого специалиста с начальником цеха Тепниным и главным инженером Курагиным — конфликт между теми, кто хочет работать честно, с полной отдачей и ответственностью, как Борис и парторг Виктор Сигов, и приспособленцами, ловчилами, умеющими «скостить план», «выйти на премию», уйти от риска ответственных решений. Здесь впервые появляется тема, которой суждено стать стержневой для большинства произведений О. Б. Глушкина — тема нравственного выбора, при котором правильное решение дается всегда непросто, всегда в борьбе не только с внешними препятствиями и обстоятельствами, но и, прежде всего, с самим собой.

Повесть «Пятый док», так же, как и следующее произведение «Всего один рейс» была представлена читателям журналом «Нева». Работа с его редакторами стала для молодого литератора хорошей школой. Сыграло свою роль и то обстоятельство, что, перейдя на работу в рыбную промышленность, О. Б. Глушкин совершает несколько рейсов на рыбацких траулерах, ведет в море дневниковые записи, накапливая необходимый запас наблюдений.

В 1979 году по рекомендации совещания молодых писателей-маринистов Калининградское книжное издательство выпускает в свет книгу повестей и рассказов О. Б. Глушкина «Антей» уходит на рассвете». Самым крупным и по объему, и по авторскому замыслу произведением становится в этом сборнике повесть «Взаимодействие». Конфликт здесь не искусственный, он не выдуман автором, а взят из жизни. В его основе — разность интересов экипажей промысловых судов и плавбаз. Первые заинтересованы в наибольшем улове, а вторые — в ритмичной приемке рыбы наивысшей кондиции, пригодной для выпуска продукции, пользующейся у торговли и населения наибольшим спросом. Именно на этой основе столкнулись два характера: капитана-директора плавбазы Токарева и капитана-флагмана Ломакина. Под пером писателя производственный конфликт становится драмой личностей. Поражение терпит Ломакин. Умелый энергичный капитан попал в плен собственного честолюбия, оно подвело его, отторгло от важного начинания — связать воедино интересы промысловиков и переработчиков. Повесть «Взаимодействие» удачно вписалась в литературу о море как глубиной конфликта, так и правдой характеров героев. Стало ясно, что годы, разделяющие «Пятый док» и «Взаимодействие», были для автора годами творческого роста, раздумий,

напряженной работы над словом. Более точными стали пейзажные зарисовки, индивидуальнее речь персонажей, глубже характеры.

Но сборник показывает и возможности для дальнейшего роста писателя. Лучшее тому свидетельство — повесть, давшая название книге. Бывший капитан траулера «Антей» Антон Петрович Москалев спешит утром на работу в дипломную группу морского рыбного порта. Временно оставшийся на берегу после посадки судна на мель опытный промысловик не только трудно ищет новое место работы, но и по-новому оценивает окружающих, пытается вписаться в незнакомый и трудный для него береговой ритм. Так начинается повесть «Антей» уходит на рассвете». Москалев интересен в своем общении с моряками, работниками базы, руководством. Это крупный, самобытный характер, и нам далеко не безразлично, как сложится дальнейшая судьба капитана. Немаловажное значение имеет то, почему, собственно, он снят с должности. Автор мельком говорит о допущенной по отношению к Москалеву несправедливости и проходит мимо этой детали как мимо чего-то второстепенного, оставляя читателя гадать, был ли промах помощников капитана действительно случайностью или все-таки просчетом в работе самого капитана с плавсоставом. Неувязки сюжета, неоправданная порой скороговорка — это все еще остается подводными камнями на творческом пути молодого мариниста. И все-таки книга состоялась, и вместе с нею входит в круг его героев еще один литературный тип, которому суждено отныне, развиваясь и варьируясь, жить в произведениях Олега Глушкина. Это молодой человек, у которого жизнь только начинается, герой рассказа «Трюмный», восемнадцатилетний матрос Матвей Тимчук.

В 1983 году в издательстве «Современник» в серии «Первая книга в столице» выходит сборник Олега Глушкина «Морское притяжение». В него включены повести «Всего один рейс» и «Пятый док», рассказы «Трюмный», «Или я, или Вислин». Несколько повестей публикуются в альманахе «Океан». Вместе с признанием приходит и опасность поверить в «неисчерпаемость» морской тематики, издательскую «проходимость» рыбацкой производственной темы. Но для писателя это значило бы остановиться, начать варьировать самого себя. Поиск дальнейших творческих путей мог лежать или в новом повороте темы «человек и море», или в ином уровне осмысления происходящих в рамках этой тематики конфликтов. И, наконец, в расширении самих тематических рамок, в решительном выходе за пределы маринистики. Время показало, что писатель успешно использует все эти три возможности дальнейшего творческого поиска и роста.

Решительным поворотом морской темы стала для Олега Глушкина работа над исторической повестью «На благо российского флота». Ее главный герой — капитан-лейтенант К. П. Торсон, мореплаватель, внесший немалый вклад в становление русского флота, кораблестроение, адъютант морского министра... и участник Северного тайного общества декабристов. М. А. Бестужев писал в своих воспоминаниях, что Торсон был человеком идеальной честности, рыцарем без страха и упрека. Но долгое время он оставался как бы в тени других известных героев 1825 года. Дело усугублялось тем, что архив К. П. Торсона утерян, не сохранилось даже его портретов. Понадобилась настоящая поисковая и исследовательская работа, не говоря уже об умении вжиться в историческую эпоху, воссоздать правду характеров, взаимоотношений, чтобы на страницах

повести ожил образ «баярда идеальной чистоты», одного из героев «первого этапа русской революции».

И вот новая книга Олега Глушкина, которую издательство и автор выносят на суд читателей. Надо сказать, что в ней он, конечно, подтверждает свою верность маринистике. И вместе с тем, это отнюдь не варианты уже высказанного прежде. Автору удастся выйти на новый, нравственный, уровень проблем и конфликтов, которые выпадают на долю его героев. Не внешние события, а большая внутренняя работа определяет повороты их судеб. Внутреннюю перестройку переживают и герой рассказа «Кантователь» Андрей Стахов, и Василий Харузов из повести «Барьер». Заново решает свою судьбу Катя, которая долгое время мирилась со своим двойственным положением, чтобы не портить карьеру любимому человеку (рассказ «Возвращение»).

Шире становятся в книге рамки жизненного материала, который ложится в основу новых произведений писателя. Сложный вопрос о том, как состояться человеку, как отыскать свое подлинное жизненное предназначение, решают герои рассказа «Свет и тень». Драматична и неоднозначна проблема памяти в сложном современном мире, где нашими деловыми партнерами нередко становятся те, кто когда-то прошел по советской земле с огнем и мечом. Налаживание этих отношений — одно из условий стабилизации равновесия в мире, но как быть с памятью сердца? Об этом мучительно размышляет герой рассказа «Стрельца».

Думается, что читатели этой книги встретят во многом нового для себя и по-иному интересного писателя. Хочется, чтобы он заручился их доверием и симпатиями.

*Н. Волгина.*



## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>КАНТОВАТЕЛЬ 3</b>
<b>СВЕТ И ТЕНЬ 21</b>
<b>ОСТАВЛЕННЫЙ БЕРЕГ 46</b>
<b>СТАЖЕР 74</b>
<b>СТАРЫЕ ЛЕНТЫ 90</b>
<b>ЗАБОТЫ ЛЕШИ ВИСЛИНА 114</b>
<b>ПРОТЕКЦИЯ 161</b>
<b>БАРЬЕР 174</b>
<b>ВОЗВРАЩЕНИЕ 249</b>
<b>СТРЕЛЬНА 272</b>
<b>ВРЕМЯ ПОИСКА НЕ ОГРАНИЧЕНО 306</b>
<b>ОБ АВТОРЕ И ЕГО КНИГАХ 378</b>

**Олег Борисович Глушкин**

### **БАРЬЕР**

#### **Рассказы. Повести**

Редактор Н. Н. Глушенкова. Художественный редактор С. И. Соболев. Технический редактор М. С. Гайдук ова. Корректор О. Н. Тимошенко.

ИБ № 700

Сдано в набор 26.01.89. Подписано в печать 12.05.89. КУ 04162. Формат бумаги 70X 100'Узг. Бумага для бланков. Гарнитура обыч. новая. Печать высокая. Уел. печ. л. 15,60. Уел. кр.-отг. 241,2 т. Уч.-изд. л. 16,17. Тираж 15 000. Заказ 677.

Цена 1 р. 10 к.

Калининградское книжное издательство, 236000, Калининград, Советский проспект, 13.

Типография издательства «Калининградская правда», 236000, Калининград, ул. Карла Маркса, 18.







1 р. 10 к.